

Новый
Журнал

121

THE NEW
REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of August 12, 1970: Section 3685. Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—[Sept. 30, 75.]
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)
The New Review Inc.—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	Actual number of copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filling date
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	290	195
2. Mail Subscriptions	1169	1256
C. Total paid circulation	1459	1451
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	20	20
E. Total distribution (Sum of C and D)	1479	1471
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	121	129
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать четвертый год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор), Л. Ржевский

Секретарь редакции: Зоя Юрьева

NEW REVIEW, December 1975

Quarterly No. 121

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N.Y.

О ГЛАВЛЕНИЕ

<i>Редакция</i> — Приветствие акад. А. Д. Сахарову	5
<i>В. Шаламов</i> — Тайга золотая	6
<i>Н. Моршен</i> — Кусты над рекой	11
<i>Ю. Кротков</i> — Стеклянный глаз	12
<i>И. Елагин</i> — Стихи	20
<i>А. Нелюбов</i> — Памятник Михаилу Ильичу	22
<i>А. Волохонский</i> — Стихи	24
<i>Анна Герц</i> — К вольной воле заповедные пути	25
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	71
<i>Р. Плетнев</i> — О злом суемудрии А. Терца	72
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	80
<i>А. Величковский</i> — Стихи	81
<i>Н. Зернов</i> — Основоположник и завершитель соцреализма	82
<i>Дм. Кленовский</i> — Стихи	91
<i>С. Голлербах</i> — Заметки художника	93
<i>Михаил Волин</i> — Стихи	107
<i>Ю. Зорин</i> — Художник, который молчит	108
<i>Ю. Иоффе</i> — Стихи	120
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	121

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>С. Крыжановский</i> — О перлюстрации до революции	122
<i>З. Гиппиус: Profession de foi</i>	127
<i>О. Чернова</i> — Холодная зима (Москва, 1919-1920)	144
<i>Т. Розанова</i> — Воспоминания о В. В. Розанове	163
<i>К. Кромиади</i> — Формирование РОА на фронте	179
<i>В. Алексеев</i> — Московские проповедники	200
<i>Н. Озеров</i> — В Аскании Нова	214

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Д. Сахаров</i> — Проблемы разоружения	223
<i>Ф. Силницкий</i> — Существует ли «доктрина Брежнева»?	231
<i>С. Левицкий</i> — О смысле раскаяния	241
<i>А. Шварц</i> — Две судьбы	248
<i>А. Толстая</i> — О радости смерти	270
<i>Р. Гуль</i> — Всё ли было благополучно в Датском Королевстве?	274

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: <i>Н. Первушин</i> — Гоголь и Достоевский. <i>Б. С.</i> — Кто автор «Катехизиса революционера»? Письма в редакцию	279
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ: <i>Е. Климов</i> . — И. Грабарь. Письма. <i>П. Лапин-кен</i> — Цюй Юань. Ли Сао, в перев. В. Перелешина. <i>И. Одоевцева</i> — З. Шаховская. Отражения. <i>Б. Нарциссов</i> — Т. Фесенко. Пропуск в былое. <i>В. Перелешин</i> — Португальская поэзия. <i>Е. Климов</i> — Женский портрет в русск. искусстве. Портретная миниатюра. <i>Ю. Иваск</i> — Цюй Юань. Ли Сао в перев. В. Перелешина. В. Перелешин. с горы Нево. <i>Р. Плетнев</i> — О споре Первушкина и Седура. Об. А. Ф. Лосеве. <i>М. Дубинин</i> — Дополнения к статье о Пушкине. — Книги для отзыва	283
--	-----

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

«Новый Журнал» от всего сердца приветствует награждение академика Андрея Дмитриевича Сахарова Нобелевской премией мира 1975 года. Мы думаем, что никогда еще выбор премии мира не был сделан столь удачно, как в случае Андрея Дмитриевича — великого ученого и великого борца за права человека и за мир во всем мире. В этой книге мы перепечатываем (с любезного разрешения изд-ва «Хроника») главу — «Проблемы разоружения» — из недавно вышедшей книги А. Д. Сахарова «О стране и мире». Ниже — цитаты из этой замечательной книги. РЕД.

«Под знаком веры в исключительную общемировую цель прошли десятилетия величайшего насилия, не замеченного западными либералами, одними — по наивности, другими — по равнодушию, третьими — по цинизму». (О стране и мире, стр. 11).

«До сих пор социализм всюду неизбежно означал однопартийную систему, власть алчной и неспособной бюрократии, экспроприацию всей частной собственности, террор ЧК или ее синонимов, разрушение производительных сил и последующее их восстановление и развитие ценой непомерных жертв народа, насилие над свободой совести и убеждений». (О стране и мире, стр. 64).

«Я глубоко убежден, что бездумное, легкомысленное следование лево-либеральной моде чревато величайшими опасностями. Одна из международных опасностей существующих тенденций — это потеря единства Запада и ясного понимания неисчезающей глобальной угрозы со стороны тоталитарных стран. Запад не должен ни в коем случае допускать ослабления своих позиций перед лицом тоталитаризма». (О стране и мире, стр. 62).

«Только имея все права человек свободен». (О стране и мире, стр. 40).



Академик А. Д. Сахаров

ТАЙГА ЗОЛОТАЯ

«Малая зона» — это пересылка, «Большая зона» — лагерь горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки — по-зимнему похожие на скворешни. В «Малой зоне» еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд — ведь там живут проезжие, «транзитка», от которых можно ждать всякой беды.

Малая зона — один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пяти сот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи.

Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри — белый пар, на соснах лед. При входе — огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным светом — подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со спичками в руках и хриплым простуженным голосом выкрикивают фамилии. Вызванные застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог — и исчезают навсегда. Там ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков — заключенных везут на прииск, в совхозы, на дорожные участки.

Я тоже лежу здесь — недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь — меня оттуда сбрасывают вниз — там место для тех, кто посильнее, и прежде всего — для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз. Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченност пространства — тюремная камера, арестантский

вагон, барабанная теснота продиктовала — «приемы» захвата, укуса, перелома. Но сейчас нет сил для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада — двадцать человек. Обычная норма для одной автомашины стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек — в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что «закон» я знал в совершенстве.

Человек с «крагами» — «представитель», который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос — точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

— Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу.

«Представитель» колеблется — на прииске, дома ему говорили, чтобы он отобрал только «работяг», других прииску не надо. За этим он и приехал сам.

«Представитель» разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость — он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

— Иди, сволочь, — говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот невольно рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

На меня положено тело, я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный бледной мальчик с отрощенными ногтями на мизинце возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста:

— Скажи Валюше, — говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, — что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

— Валюша спрашивает, кто они?

— Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла. Голос сверху сказал:

— Веди их.

Я подвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один — в «вольной москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

— Кто тут харбинский? — сказал голос.

— Это я, — почтительно ответил человек в бекеше.

— Валюша велит спеть что-нибудь.

— На русском? Французском? Итальянском? Английском? — спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

— Валюша сказал: на русском.

— А конвой? Можно негромко?

— Ничто, ничто... Во всю валяй, как в Харбине.

Певец отошел и спел куплеты торреадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.

Тяжелое ворчание, и голос сверху:

— Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

Шуми, золотая, шуми, золотая,
 Моя золотая тайга,
 Ой, вейтесь, дороги, и одна и другая
 В раздольные наши края.

Голос сверху:

— Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

— Ну, а теперь, — сказал голос, — снимай-ка свою москвичку. Вот тебе сменка! — Сверху сбросили телогрейку.

Певец молча снял москвичку и надел телогрейку.

— Иди теперь — сказал голос сверху, — Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барабанном тумане.

Я подвинулся, глубже склонился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шопота:

— В тридцать седьмом в Уланбаторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу китайская столовая. Заходим. Смотрим меню: китайские пельмени. Я — сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Китаец-хозяин смеется: много будет, и рот растягивает до ушей. Ну, по десятку? Хохотет: много будет. Ну, по паре! Пожал плечами, ушел на кухню, тащит — каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы пол-пельмения на двоих съели и ушли.

— А вот я... — Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова.

Пробуждаюсь от запаха дыма. Где-то сверху, в воровском царстве курят. Кто-то слез с махорочной цыгаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот: — В райкоме у нас в Северном этих окурков Боже мой, Боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ру-

галась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурок, чикарик, бычок...

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это — нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

— Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать. Я молчу.

— А в совхоз? В Теплый совхоз, чорт бы тебя побрал, сам бы поехал.

— Нет.

— А на дорожную? Метлы вязать, подумай.

— Знаю, — говорю я, — сегодня метлы вязать, а завтра тачку в руки.

— Чего же ты хочешь?

— В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.

•
B. Шаламов

КУСТЫ НАД РЕКОЙ

Река течет за косогор,
С собой уносит разный сор,
Нефтеотходы, масло, клей
И прочие дела людей.

Сквозь эту дрянь отражена
Кустов зеленая стена —
Они в нее глядятся все
В мечтах о собственной красе.

И то сказать: на вкус и цвет
Ни здесь ни там пророка нет,
И всяк своей красе судья —
Моя не хуже, чем твоя!

Для дикаря кольцо в носу
Являет высшую красу,

Клянется критик в красоте
Всех тру-ля-ля и те-те-те,

Прекрасен с мужней стороны
Живот беременной жены,

Гроссмейстер весь дрожит, грозя
Корректной жертвою ферзя,

А математик $a + b$
За образец берет себе.

Верлен уверен, что слова
Должны чуть-чуть недоговаривать...

А я точней точу свои,
Точь-в-точь как точечки над i.

Николай Моршен

СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ

Да нет, одним хлебом мир не накормишь. Кх-кх. Это Христова утопия. Чего там шебуршиться? Жизнь меняют фундаментальные социальные реформы. Не милостыню надо давать, а бедность упразднить как таковую.

Жил я с этим уверенно, спокойно, до самого последнего времени, так сказать. А тут вдруг червячек завелся. Соображаете? Откуда бы ему? Сомнения появились. Начал пересматривать формулировки. Да так ли? А что если фундаментальные реформы сами со себе — мертвая буква? А что если вся суть жизненных явлений в «мелочах», в том, например, как обойтись с родным братом или с первым-встречным. Не-ет, к чертовой бабушке, тут уже пахнет мистикой...

Кх-кх. Старею наверное. И не то, чтобы годы, хотя за шестой десяток перевалил. Нет. Червяк. Червяк, зараза. Он. Жена, Серафима Павловна, говорит: да сплин у тебя. Может быть и сплю. Вот сплю плохо. Со стонами, ворочаюсь во все стороны. Серафима Павловна ворчит. И курить стал по две пачки на день, кашляю, хриплю. Кх-кх. Всякая пакость пошла. Нервы расшатываются.

А с чего? С чего? Да ведь всю свою зрелую жизнь, повторяю, понимал я что главное и что — пустяки, тряпка-трава, так сказать. Умел, говорю, отличать большое от малого. И наука мне в этом помогала. Подкован я наукой на все сто процентов. Марксизмом-ленинизмом. Я его, миленького, со школьной скамьи усвоил. Философия. Мировоззрение. Теперь это моя профессия. Веду курс Марксизма-ленинизма в МГУ. Докторское звание имею. Диссертацию защитил на тему «Анти-Дюринг и его значение в современном социалистическом движении». Подкован, говорю. Подкован. Публичные лекции в Политехническом читаю. Утвержден МГК КПСС. А как же? Не всякого туда пустят. Просвещаю массы трудящихся.

Да и в чем, собственно, сомневаться, если иметь в виду базис? Я же за советскую власть и за коммунизм. Советская власть меня в люди вывела. Вот, квартира — четыре комнаты, любой американский дин позавидует. И бар, вот, построил, по американскому образцу. И коктейли пью теперь заместо водки. А библиотека — 2000 томов. Это тебе не тьфу. И две пальмы в кабинете по углам. И все удобства: машина в гараже, кот по имени Мусик, ванная с хвойным раствором, халат. Чего там шебуршиться? Жена у меня фармацевт, тоже звание имеет, и в Кремлевке работает. Раз в неделю ходим мы с ней в Большой, на балет. И драму посещаем, да и в киношку, от случая к случаю, заглядываем. Надо же культурный уровень поддерживать. Сын у меня взрослый, Андрейка, в закрытом городе, ракеты строит. Вот второй год дома не был, но письма пишет. От случая к случаю. Должно влюбился там в какую-нибудь Дусю. Соображаете? Живу я размеренно, благополучно, все по полочкам разложено. Чего же еще?

Чего? Регулярно мы с Серафимой Павловной по Волге катаемся. Летом. До Астрахани и обратно, в Москву. И теплоход у нас есть свой. Выбрали по имени. Иван Павлов. Дизель. В Чехословакии был построен. А броню на билеты я получаю в Хоз. Управлении ЦК КПСС. Там меня знают. Вот две книги выпустил. А академик Клачко намекает на то, что пора, мол, становиться члено-корреспондентом. Планирую.

А может быть это все у меня от зубов вставных. Протезы пришлось мне заиметь прошлой зимой. Соображаете? Все время чувствую в себе инородное тело.

Да нет, нет, червяк завелся. Червяк. Червячек. Иначе не объяснишь, зараза. Вот никак не могу найти у классиков цитаты насчет соотношения величин. Может быть это чисто моральная проблема? Что важно, а что нет?

Я прежде как думал? Повторяю: главное в больших социальных реформах, частности сами потом преобразуются. Соответственно, конечно. Так я прежде думал. А теперь под ложечкой сосет: так ли? Да преобразуются ли? Как это они, сами-то...

Да ладно уж, не буду темнить. Чего там в кошки мышки играть, да еще с собственной персоной. Я же философ. И коммунист. Надо смотреть на вещи принципиально.

Диалектика. «Вещь в себе». Совсем по Канту.

Началось все эта катавасия моя, внутренняя, так сказать, все это с червяком, с червячком, то есть, на моей последней лекции в Политехническом. На публичной. И народу собралось — ничего себе, человек двести-триста. И читал я хорошо. С подъемом. Ну, как всегда, о коммунистическом строительстве. Раза два глотнул воды из графина. Аплодировали под конец. А потом пришло время для вопросов и ответов. И вот один из вопросов, письменных, был таков: (Вообразите!) «Можно ли, по Марксу, одним хлебом накормить весь мир?», а другой вопрос был таков: «А вы, товарищ профессор, бывали когда-либо в Елоховской церкви на службе?».

Понимаете? Кх-кх. Явный подвох. Провокация. Все вопросы ничего, нормальные, а эти два — вражеский выпад. И без подписи. Анонимки, так сказать. Что делать? Я послушался голоса своей партийной совести и просто скрыл их, зная, что авторы не станут кричать из зала и требовать ответа. А что отвечать-то? Христова это иллюзия — накормить одним хлебом весь мир. Забота о человеке, так сказать. Идиотство.

Словом, скрыл я эти два вопроса, а бумажки просто разорвал на мелкие клочки. И со злобой. Разозлили они меня. Разозлили, говорю.

Вот в ту ночь и начал я стонать и ворочаться. Уж больно ярость во мне кипела. «А вы, товарищ профессор, бывали когда-либо в Елоховской церкви?». Да на кой она мне черт сдалась? Был ли? Не был. Не был. И не пойду.

Нет, пошел. На следующий же день. Пошел. Серафиме Павловне ничего не сказал. Зачем же ёну тревожить безо всяко-го на то повода.

Ну и вот, между нами, по партийному: удивило меня все это. Народу было в Елоховской, хоть отбавляй. Толпа. Просто толпа. И молодежи полно. Черт его знает, что наши антирелигиозники смотрят! Вот ведь история: на улице — троллейбусы

и «Волги», и милиция советская, а как в церковь войдешь — все, ничего этого нет, — другой мир. На сто лет назад время отходит. Бывает же так, а? Просто даже не поверил я себе. Думал — увижу одинокого попа и одинокую старушечию, со свечами в руках. А тут — нате вам.

Зашел я, значит, в церковь, протиснулся в серединку и стою. Сначала вроде голову опустив, боюсь поднять — поймут, что я не ихний, еще вышвырнут, поймут, что партийный, поймут, что в Бога-то не верующий.

Стую, значит. Ну пение, конечно, хор. И все эти дьякона там и поддьячие тоже поют. И ладаном пахнет, конечно. Вот помню это слово — ладан. Еще говорят: «Черт ладаном мазан», кажется так. А может и не так...

Потом поднял голову и стал лица вокруг рассматривать. И тут сразу уперся я в этого типа. Собственно, он в меня уперся. Вернее будет. Справа от меня он находился. Тип-то этот. И почему-то он смотрел не в сторону амвона (и это слово, вот, помню), а, повернувшись боком, смотрел прямо на меня. А губы его шептали что-то, наверное молитву, что-либо, наверное, из Библии, а из чего же, не из «Капитала» же, Маркса. И был этот тип небольшого роста, щупленький, в старом бобриковом пальтишке и в маленькой клетчатой кепке. Увидел я его и сразу подумал: «Обломок империи», до-потопный экземпляр, его в кино надо снимать в фильмах об люмпенпролетариях. Руки он засунул глубоко в карманы. А лицо его было скверно побрито и скулы выпячивались, обтянутые желтоватой кожей. Нет, он явно был не из пьющих, но нос у него был мокрый, а губы сухие и синие.

Все бы ничего, стерпел бы я, если бы не правый глаз. Вот где загвоздка была, вот где червяк таился, червячек то есть. Соображаете? Надо же. Правый глаз у него был стеклянный. Вот чего. Стеклянный, то есть искусственный, протез. И был этот протез подобран скверно. Не по яблоку, явно не по яблоку. И потому ходил он у него в разные стороны. То смотрел вниз, то вверх, то вправо, то влево. Один глаз смотрел нормально, прямо перед собой, а другой — вроде бы плавал.

Да и слезился очень, может быть не промывал он его последние дни, может быть не снимал на ночь, как полагается.

Я в стеклянных глазах немного разбираюсь... У брата моего родного был такой, стеклянный, с раннего детства. Схватил он дизентерию, она дала осложнение на глаза, пришлось один оперировать. Это я помню.

И вот глядел я на этого типа, вернее на его плавающий искусственный глаз и оторваться от него не мог. Чего-то было в нем. Червяк в нем был. Червяк...

Вспомнил я своего брата, Сергея. Вспомнил и защемило у меня где-то в груди. Забыл я про все, и про Марксизм-ленинизм, и про бар с коктейлями, и про КПСС, и про персональную ставку в МГУ, про все забыл, даже про кота Мусика.

Умер мой брат года два назад, в Курске. В полном одиночестве умер. И где-то там похоронен. И, может быть, умирая, проклял меня. Мы же рассорились с ним до того. За год до его смерти.

А из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за стеклянного глаза. Кх-кх. Из-за стеклянного. Из-за протеза.

Чего мне скрывать, никогда у нас с братом не было, так сказать, близких отношений. Он пошел другой дорогой в жизни. Стал портным, людей чуждался. Короче, был чудаком. Может все это из-за глаза. Семьи у него не было. Последние годы болел, прозябал и никогда помощи у меня не просил. Но почти регулярно, раз в год, приезжал в Москву подбирать новый протез, новый стеклянный глаз. Все ему казалось, что предыдущий косит или смотрит вниз, или слишком мал. Вот странно ведь, Сергей в жизни был не привередлив, довольствовался малым, забитый был, пришибленный, всего боялся и всего избегал, а в отношении стеклянного глаза своего был очень чувствительным.

И застенчив он был очень. Да в портняжном деле тоже самое. Собственно, он мог быть закройщиком, а работал швейным мастером, за швейной машиной сидел, сгорбясь в три погибели. Да, мы с ним были как от разных матерей.

В прежние годы, приезжая в Москву, он останавливался у

меня. На день-два. И всегда просил меня пойти с ним в глазную больницу, ну, ту, что у площади Маяковского. Одному ему было как-то неудобно и чувствовал он себя один с доктором стеснительно. А когда я при нем был, легче ему было. Ну я не отказывал. Ходил. Хотя, по правде сказать, никакого толку в этом не было. Но терпел. Брат все же.

А потом Серафима Павловна взбеленилась, сказала мне решительным тоном, а она дама суровая, между нами, что не хочет, чтобы Сергей останавливался у нас, потому что у него, де, воняют ноги и что он, де, харкает в ванной прямо в раковину. (А куда ж еще харкать, зараза?) И пришлось мне намекнуть Сергею на нетерпимость Серафимы Павловны. Он понял, ничего не сказал. И после того, когда приезжал в Москву, останавливался в гостницах. В дешевеньких. Где-то у Матросской тишины. И я тайком от Серафимы Павловны платил за него. И опять же просил он меня пойти с ним вместе в глазную, чтобы выбрать новый протез, стеклянный глаз вроде.

Вот тогда-то, во время посещений этой больницы, я и поднаторел в этом деле. Знаю как все это делается. И процедура, вообще, простая. Выкладывает перед вами врач десятки плоских ящиков, в которых лежат, в клеточках, самые различные искусственные глаза. Сразу и не поверишь. Ведь все они, разных цветов, форм, величин, смотрят на тебя. И все вроде человеческие глаза. Очень похожи на нормальные. Только что жизни в них нет.

Тут вот и начинается примерка, как обувь примерять эти глаза надо. Врач, специалист, он сразу определяет который маленький и который большой, тоже как размеры обуви. Примерит Сергей глаз, посмотрит в круглое зеркало, а потом на меня, с вопросом — ну как? а я что же могу сказать в ответ, мнусь, говорю — ничего, мол, смотрится. А врач ему следующий подсовывает. Мол, примеряй, примеряй, я ведь на государственной службе, время не жалко. Хотя в коридоре пациентов с десяток, другой. Я забыл заметить, что на прием к этому врачу Сергей записывался заранее, еще из Курска. А иногда я ему в этом помогал.

Так вот, повторяю, очень он уж был чувствителен в этой области, так сказать, вел себя как красная девица. Но я его понимал, вот у меня зубной протез, а и то чувствую я в себе инородное тело и от того противно мне. Ой как противно. Я уж сказал об этом. Соображаете?

А только, за год до смерти Сергея, когда он последний раз приехал в Москву, я отказался идти с ним в глазную больницу. Сослался на занятость, хотя он до того в письме заранее сообщил мне когда, в котором часу, то есть, и в который день у него должен быть прием. Он стал просить меня отложить дела и почти расплакался по телефону. Я не выдержал да и выпалил ему прямо, без обиняков:

— Надоело мне таскаться с тобой по глазным делам. Ты не маленький. И не красная девица.

Так и сказал: «красная девица».

Кх-кх. Не очень приятно мне это вспоминать. Серега помолчал в ответ, потом сказал и сказал достаточно твердо, я даже не узнал его голоса, так он изменился:

— Ты не брат мне. Ты партийная сволочь!

И повесил трубку. «Партийная сволочь». На том все и кончилось. Умер он через год, похоронен где-то там... Кх-кх, кх-кх...

Вышел я из Елоховской церкви и медленно пошел в сторону метро. У станции ко мне вдруг приблизился молодой парень, белобрысый, в потертой стеганке. Он стеснительно улыбнулся и сказал:

— Дядя, одолжите на метро... я издержался вот...

Одолжить на метро. Как же это одолжить, когда я этого молодца вижу в первый и в последний раз. Врет, сукин сын. Пьянчужка. На четвертинку сколачивает. Знаю я их. Так подумал я и резко ответил:

— Отстань, нету.

Потом я спустился по эскалатору вниз, на платформу.

А ночь я опять ворочался и стонал. И опять Серафима Павловна ворчала. А что делать? Что делать с этим поганым червяком, с червячком то есть? Как его вывести? Скипидаром

что ли? Ведь вздор все это. Чистой воды чепуха. Диалектикой тут и не пахнет. Все из области гегельянства и кантианства. «Вещь в себе» вроде. А какая же я «вещь в себе»? Все мое принадлежит народу и КПСС. Я не идеалист и не христианин. Помоги ближнему... Нет, я коммунист. Я за большие социальные реформы. Не-ет, одним хлебом весь мир не накормишь.

А стеклянный глаз — мелочь, пустяк, тряпин-трава.

И все же: как соотнести большое, эпохальное, с малым, человеческим? Философский вопрос, черт! Как на него ответить по Марксу и Ленину?

А что если на нашем шарике есть всякие другие ценности, ну скажем, кроме социальных реформ и, скажем, научного социализма, а? Кх-кх. Нет, ничего другого на нашем шарике нет, никаких других ценностей нет. Баста. Наплевать и забыть, как говорил Чапаев.

Дай-ка лучше я выпью коктейльчик, составленный по рецепту профессора Добролюбова (он его назвал «Эмпирея», зараза). Перед обедом не вредно. Моя Серафимушка, свет Павловна, нынче готовит кулебяку и уточку с яблоками.

Пообедаем, а потом, как всегда, для пищеварения, полистаю Энгельса. Я его «Анти-Дюринг» почти наизусть знаю...

Чего там шебуршиться? А?

Эх, только вот глаз тот, стеклянный, проклятущий, все не идет из моей памяти, ну тот, что у того типа был, в кепочке, у лумпена, у небритого-то, ну тот, что вроде бы плавал, то глядя влево, то вправо, а то вниз, а то в небо, а то вдруг вздрагивал вроде бы и мельтешил на одном месте. Не идет он из моей памяти, слезящийся, мертвый...

Тьфу, черт!

Ю. Кротков



Мы в самолете из бумажных кружек
Пьем кофе, заедая чем-то сдобным.
Мы в облаках ныряем неуклюжих
По пропастям и выступам сугробным.

Я слышу, как мои соседи слева
Судачат о законах пенсионных.
Ни на копейку не волнует небо
Людей непоправимо приземленных.

А я когда-то рвался в эмпиреи,
В загадочность заоблачного мира.
А может быть они меня мудрее —
Вот эти два солидных пассажира.

Мне, может быть, пора уже смиренно
Приняться за мое земное дело
И позабыть о том, как вдохновенно
За самолетом облако летело.

А раз уж самолет пришелся к слову,
То если к самолету присмотреться,
Легко поверить Ильфу и Петрову,
Что это только транспортное средство.

Пора покончить с болтовней мистичной
И позабыть про вечные загадки,
А если думать, то о методичной,
Спокойной, своевременной посадке.

А рядом в блеске золотистых лезвий
Горит закат огромною иконой,
А я сижу такой смиренно-трезвый,
Такой погасший, скучный, умудренный.



Сергею Бонгарту

Я скажу языком неподложенным,
Да и слов не хочу я возвышенных.
Называть тебя мало художником —
Поджигатель ты и злоумышленник!

Потому что не кистью, не краскою, —
Головешками воспламененными
Петуха подпускаешь ты красного,
А зовешь его «Вазой с пионами».

А на этот пейзаж посмотрите-ка —
Что за пламя в осенних кустарниках!
Приглашать сюда надо не критика —
Вызывать сюда надо пожарников!

Медь какого-то чайника старого,
А такое сверкание чертово!
Это ты поразбрасывал зарева
На свое полотно натюрмортово!

На холсте, как в драконовом логове
Полыхает пунцово, гранатово, —
Это ты со своими поджогами
Начудил у сарая дощатого.

И не ты ли — все тюбики по боку —
И собравши всю силу огромную,
По закатному беглому облаку
Саданул зажигательной бомбою?

Вон и поле с коровою рыжею,
Как с костром на дороге разложенным...
Оттого-то и смысла не вижу я
Называть тебя просто художником.

А захочется стать мне законником
И названьем блеснуть обстоятельным —
Назову тебя огнепоклонником,
Поджигателем, бомбометателем!

Иван Елагин

ПАМЯТНИК МИХАИЛУ ИЛЬЧУ

Он уже умер и я могу назвать его настоящее имя. Звали его Михаил Ильич Вороноватый. Познакомил меня с ним мой приятель Мишка в начале 50 годов. Обитал Михаил Ильич в какой-то деревне за пределами 100 километровой зоны, так как для бывших репрессированных прописка в Москве и ее пригородах была запрещена.

Это был сутуловатый худой человек с приятным лицом и густой, окладистой бородой. Тогда это было непривычно и обращало на себя внимание. Благодаря бороде он казался стариком, хотя ему было всего года 42-43. Когда я его впервые увидел, то он мне сразу кого-то напомнил, я не мог только в первый момент вспомнить кого. Ну да, конечно же, Карла Маркса! Только у того на всех портретах выражение лица было благостное, мудрое, олимпийское, а у Михаила Ильича глаза были как у замученного и больного животного.

Он был в годы войны инженером, начальником какого-то цеха. Женщина с которой он жил, а потом разошелся, написала в отместку донос, что у него «пораженческие настроения» и он получил не помню уже сколько: не то 10, не то 15 лет. Следователи переломали ему ребра и пробили голову, требуя выдать соучастников антисоветской «организации», которых Михаил Ильич, естественно, не знал.

В лагере, объяснил он мне, он начал отпускать бороду. С ней он выглядел старше и патриархальнее и это спасало его, в какой то мере, от блатных. Они звали его «батей» и редко обижали. В последние годы у него начались припадки и его в конце концов сактировали по болезни.

Через каких-то знакомых по лагерю он разыскал Мишкину мать, которая помогала бывшим заключенным, чем могла, больше, конечно, добрым словом. Она потом просила меня: «Саша, поговорите с ним, он такой несчастный, полон страха,

попробуйте успокоить его». Но я был тогда молод и не то, чтобы жесток, но недостаточно жалел людей. Со стыдом вспоминаю, что мало уделил внимания бедняге. Он постоянно жил в ожидании нового ареста, всех боялся, трясясь от ужаса при виде милиционера. Хотел Михаил Ильич получить инвалидность, которая по его расчетам, могла бы спасти его. Кроме того пенсия дала бы ему хотя бы немного денег, которых у него не было вовсе. На инженерную должность не брали, а физически он работать не мог, хотя и не раз пытался. Инвалидности однако ему не дали, не было документов о трудовом стаже — их изъяли при аресте. Копии же он боялся затребовать: а вдруг из-за этого о нем вспомнят «там».

Впоследствии я видел его еще несколько раз. В годы массовой реабилитации его так же простили и даже дали комнатку недалеко от Большой Пироговки. Я был у него там несколько раз. Комната была маленькая, темная и проходная, но Михаил Ильич был доволен. Он стал спокойнее и даже начал улыбаться, показывая беззубый рот: «Теперь я полноправный гражданин, вот только зубы вставлю и жениться можно». Он рассказал мне, что стал подрабатывать в кино: его берут на массовки, когда надо изображать собрания революционеров в исторических фильмах.

Но самое смешное произошло в конце жизни Михаила Ильича. Известный советский скульптор Кербель, лауреат сталинской премии, взял его в качестве модели для памятника Марксу, который был затем торжественно установлен в центре Москвы, на площади Революции, напротив Большого театра.

Скульптор творил согласно канонам социалистического реализма и бюст получился очень похож на Михаила Ильича — только лоб великоват. Теперь Михаил Ильич, в гранитном обличье основоположника научного коммунизма, безмятежно глядит на прохожих. Нынче он уже никого не боится. Если будете в Москве — взгляните на него.

А. Нелюбов

ИЗ ЦИКЛА «КРУШЕНИЕ ОЧАРОВАНИЙ»



Криво криво загибаясь боком боком
Луч гуляет по пространствам кособоким

Ходят звезды по пространственному хлеву
Спектры бабочкой летают влево влево

По пустотам по канавам по откосам
Время парус надувает косо косо

Пухнет пухнет дорогой пузырь небесный
Видно что-то тесно звездам, что-то тесно

Но пыхтят пыхтят мыслительные поршни
Подставляйте только руки и пригоршни

Ливень, ливень хлещет прямо в руки в руки
От щедрот Ея Величества Науки

Только Время на дорогах кosoоко
Да поля колышет рыжая осока.

ЕНТИНУ

Он был известен в избранном кругу
Где приобрел значительную ссуду
Он полагал что выдержит игру
На основаны пылкой веры в чудо

И снисходя к наивности его
Предвидя брешь среди его понятий
К нему приставлен дивный педагог
Пригодный для сомнительных занятий

Его бы ждал блистательный прием
Он мог сидеть на самом лучшем ложе
Но он в игре остался при своем
Уразумев чтоставил на свое же.

A. Волохонский

К ВОЛЬНОЙ ВОЛИ ЗАПОВЕДНЫЕ ПУТИ

IV

От метро до нянькиного дома — минут десять ходьбы, если хорошим шагом, но сегодня, с сумкой и чемоданом в руках, дорога показалась мне длиною в вечность. Вечность была сухая, слепящая, раскаленная и безнадежная, как адское пекло. А над всем этим красовался плакат: «Коммунизм неизбежен!» Солнце палило вовсю, горячий ветер дышал в лицо пылью. По обе стороны тянулись грязносерые бетонные коробки, и от их тупого однообразия, от жесткой бездушной оголенности плоскостей и прямоугольников, на которых нечем глазу зацепиться, все представлялось еще более безнадежным и словно нереальным. Никак не могу привыкнуть к этим новым районам! На меня прямо оторопь находит, я теряюсь и тоскую, как человек, заброшенный на чужую планету, или девочка из детской сказки, заблудившаяся в заколдованным королевстве зеркальных отражений, и странные, совершенно нелепые мысли являются мне. Уже подходя к нянькиному дому, я услышала мирное стрекозиное журчание далекого самолета и подумала, что летчик, пролетающий над этим кварталом, может очень спокойно, недрогнувшей рукой нажать какую-то там кнопку и сбросить бомбу, потому что немыслимо представить, чтобы здесь жили люди: таким нечеловеческим и ненастоящим выглядит этот геометрический кошмар.

И чего только не померещится!.. Кругом шла обычная, нормальная жизнь. На пустыре с задорными воинственными криками носились мальчишки. Чистенькая старушка поливала из шланга чахлую клумбу. Из подъезда вышла женщина с хорошенькой, словно картинка, девочкой на руках. Малышка была румяная, с золотисто-розовыми персиковыми щечками,

не то что наши заморенные арбатские дети, у которых даже из-под загара проступает нездоровая бледность.

Но там, но там, на нашем милом Арбате, в заповедной стране, зажатой между небоскребами Калининского проспекта и Москвой-рекой, где рядом с прекрасными, задумчивыми дворянскими особняками высятся импозантные, затейливо украшенные многоэтажные дома начала века, которые словно кичатся друг перед другом своей основательностью и особенной статью, там, в тихом кружении переулочков, проложенных будто бы невзначай, неумышленно и естественно, как течет река, как растет трава, еще теплится живая душа города. Только разве ее удержишь, поймаешь силками? Уже наступают, теснят со всех сторон чужаки — прямоугольные башни-близнецы, и особняки русских аристократов заняты райкомами, учреждениями, посольствами, а вокруг них, за фасадами хранящими благородный след истории, — убогий быт коммунальных квартир, скученность, дрязги, ядовитое кипение мелких страостей... И, наверно, только здесь, в уродливых бетонных коробках, нагоняющих на меня смертную тоску, бывшие жители Арбата узнали, что такое дом, и что им душа Москвы, если квартира со всеми удобствами и без соседей... Няньке, конечно, труднее: непривычно в одиночестве, но все-таки и она приоровилась, прижилась на новом месте, даже вошла во вкус и, управлявшись со своим нехитрым хозяйством, любит посиживать на балконе «как барыня». Я глянула наверх — няньки не было, но балконная дверь распахнута настежь: значит, дома. Уходя, нянька все запирает: то ли воров боится, то ли сквозняков. Ветры тут гуляют как в степи. «Дом на семи ветрах», говорит нянька. Этажом ниже, просунув сквозь прутья балконной ограды длинные ножки, загорала какая-то девчушка. Копна темнорусых волос, узкое личико, худенькие плечи... Да ведь это Анютка! Приехала!

— Анютка! — крикнула я.

Девочка вздрогнула всем телом, скосила в мою сторону огромный зелено-желтый глаз и, дернув плечиком, отвернулась... Что на нее нашло? Сердится? Но за что, почему? Или

я опозналась? Да нет, конечно, это Аньютка, и балкон ее, наискосок от нянькиного. Ничего не понимаю. Обычно, увидев меня, она срывалась с места, будто подхваченная ветром, и легкой, детской припрыжкой, пританцовывая и чуть припадая на правую ножку, мчалась ко мне.

— Аньютка! — еще раз позвала я.

Никакого ответа...

Нянька так мне обрадовалась, так рассиялась всеми своими морщинками, что мне стало совестно: придется сейчас сказать, почему я о ней вспомнила. Но нянька и сама сразу же догадалась, что на этот раз я не спроста пожаловала, она меня насквозь видит, а, впрочем, Алька уверяет, что просто у меня лицо такое — любой дурак может читать как по открытой книге. Хотела бы я знать, что сам-то он вычитал в этой книге...

— Никак, случилось что, Надюша? — робко спросила нянька. Ах, какая привычная, покорная готовность к беде была в ее взгляде! Бедная моя нянька, это у нее в крови. Это у нас у всех в крови...

— Сейчас расскажу, нянечка, вот дай только отдошусь немного. Пока ничего страшного... для нас.

— Кваску хочешь, Надюша? Сама делала.

— Целый день мечтаю о квасе, нянечка.

Я взяла чемодан и пошла за нянькой в кухню, скинула босоножки и села, подобрав ноги, на сундучок. Сундучок этот я с детства люблю, и квас был тоже особенный. На минуточку вся моя нынешняя жизнь показалась мне бездарным чужим сном, в который я затесалась по ошибке.

— Помнишь Борика Иоффе? Такой худющий высокий мальчик, он все Сашке помогал по математике.

— Ну как же, как же, такой культурный паренек, в очках, а шея ху-у-уденькая как у цыпленочка.

— Вот-вот, он самый. Его сегодня утром арестовали.

— Господи, да что же он мог натворить?

— Ах, нянечка, ничего он не натворил, как ты могла подумать! За самиздат его посадили, понимаешь? Дал почитать какой-нибудь сволочи...

Нянька испуганно посмотрела на меня, нахмурилась, соображая, кинула быстрый взгляд на чемодан и тихо спросила:

— Что ж, Надя, теперь опять всех сажать будут?

— Вряд ли. Нет. Просто Борька очень неосторожно действовал. Доверчивый слишком. Но обыск у нас, конечно, может быть, вот я и собрала весь наш «самосад» на всякий случай и... Но если ты против.

Нянька даже руками замахала: не болтай, мол, ерунду. Она деловито оглядела кухню, задернула занавеску, принесла из передней сумку и прикрикнула на меня — совсем как, было, в детстве:

— А ты, давай, пособи мне, Надежда. Сейчас мы приберем все это добро подальше от греха.

Я засмеялась, вскочила и бросилась целовать няньку.

— Нянька, ты просто чудо, ей-Богу, Ниловна!... Космодемьянская Родина не забудет...

— Да уж пусть лучше забудет, — вздохнула нянька.

— Я думала, ты меня ругать станешь...

— А мне что, лишь бы тебя не тронули. В тюрьме-то страшно, Надя, не приведи Бог.

— Меня не возьмут, нянька, ты не бойся. Честное слово. Вот Алька может загреметь...

Нянька глянула на меня как-то очень уж внимательно, хотела что-то спросить, но только вздохнула. Мы сложили рукописи в сундучок, а машинку я убрала на антресоли.

— Это ты правильно придумала, Надюша, у меня никто не догадается искать.

— Нянечка, ты только не обижайся, — нерешительно начала я. — Но если вдруг, мало ли что бывает... если вдруг к тебе придут, ты скажи, что это я принесла тебе свои бумаги, потому что у нас тесно, а ты и знать не знаешь, о чем там написано. Так и говори, тебе ничего не сделают.

— Совсем сдурели вы все как я посмотрю. Что же я, доносчица какая?... Да ты что, никак плакать собралась? — перепугалась нянька. — Перестань, Надя, что же это, в самом деле!

Со мной и впрямь творилось что-то неладное, совсем развинтилась.

— Ну, не плачь, не плачь, дурочка моя ненаглядная... Никто ко мне не придет. Да успокойся ты, слышишь?

Она присела рядом со мной на сундучок, неловко обхватила руками (нянька не привыкла обниматься, не признает нежностей), и я, прижавшись к ее родному плечу, успокоилась.

— Просто нервы у меня не в порядке, няничка, устала. Да и все как-то нескладно. Ты не сердись, а?

— Ладно уж, будет. Погоди, у меня кое-что для тебя припасено.

Она проворно вскочила, открыла дверцу шкафчика и торжественно достала большую коробку шоколадных конфет.

— Бери, бери, твои любимые.

— Шикарно живешь, няничка. С чего это ты так разошлась?

— Где мне на мою пенсию шиковатъ! Кавалер преподнес, Надежда Федоровна. Очень интересный молодой человек. Глебом зовут.

— Какой Глеб?

— Павлович. Ну, твой Глеб, какой же еще? Чего краснешь? Не разучилась еще, скажи, пожалуйста. Не красней, доченька, где любовь — там Бог.

— Ах, нянька, как ты это славно сказала.

— Это не я, а в народе так говорят... На прошлой неделе был. Я уж звонить тебе ходила, да с этими автоматами одна морока.

— Зачем это он вдруг к тебе пожаловал?

— Да уж не затем, что ты... Рядом, говорит был, Марья Ниловна, вот и заглянул. На рынок свозил меня, я молодой картошки и укропчику взяла.

— Да погоди ты о картошке, не томи. Ты о деле, нянька.

— Дело у него понятно, какое: о тебе хотел узнать. Тоскует очень.

— С чего ж это видно?

— Ну, видно — и все. Расспрашивал, как живешь, как выглядишь, весела ли.

— А ты что?

— Как есть, так и сказала. Какое, говорю, у нее веселье? На работе — больные, после работы — по магазинам, да обед готовить, да постирать, прибраться, но это бы ничего, если б дом был как дом, а то колготня, шум, народ толчится, как на вокзале или в таборе.

— А он что?

— Что ж, говорит, она ведь к тому табору не цепями прикована, сама не хочет уйти, стало быть, ей так лучше. Про Лександра спросил, работает ли?

Лучше, вот именно... Мне как-то Маришка сказала —. Глеб тогда уже развелся с женой и купил квартиру в почти готовом кооперативном доме, он сумел очень быстро все это провернуть, и я оглянувшись не успела, как он вручил мне ключи от нашей квартиры, но вместо ожидаемой радости почувствовала лишь смятение и страх, я ужасно растерялась и все оттягивала под разными предлогами объяснение с Алькой (впрочем, вовсе не требовалось специально выдумывать предлоги, у Альки были очередные неприятности в школе, на этот раз из-за лекции о Мандельштаме. Успех был потрясающий, пришли все старшие классы и из других школ тоже, а потом — скандал, комиссия из РОНО, обвинения в безыдейности и прочее, и было неизвестно, чем все это кончится) и Глеб уже терял терпение, но усилием воли сдерживался, а я в отчаянии металась между ними и не могла решить, что же мне делать, — и вот Маришка, с которой я без конца советовалась, сказала: «Да брось ты трепыхаться, Надька, все равно ведь не оставишь Александра. Ты у нас настоящая русская баба, а значит, выбираешь худший вариант».

— Почему ж ты так уверена, что Алька хуже? Мне казалось, у вас такая нежная дружба...

— Ишь ты, обиделась за своего Алика, — усмехнулась Марина. — Хорош, хорош, успокойся, только не для семейного употребления. По мне, признаться, он не хуже Глеба, но жизнь

с ним, ясное дело, хуже. И спорить даже не о чем: там — прочное положение, обеспеченность, прекрасная квартира, «Волга» — словом, как говорили в старину, выгодная партия, все равно что выйти за генерала, но главное, главное — вместо старого противного генерала — тридцатипятилетний доктор наук, умница, обаятельный мужчина, в которого ты вдобавок влюблена как кошка... Да, радость моя, просто неловко на вас смотреть, когда вы вместе, даже младенец сообразит, что надо срочно оставить вас наедине, чтобы вы могли заняться тем единственным делом, которое вас интересует.

— Иди ты на фиг, ну что ты придираешься...

— Можешь считать, что из зависти. Но вернемся к проблеме выбора, кисанька. Что у нас на другой чаше весов? Благородная бедность плюс вагон неприятностей и никаких перспектив на будущее, кроме разве новых неприятностей. Этим тебя Алька обеспечит, не сомневайся. Допустим, с миным рай и в шалаше, да что там шалаш? — даже в коммунальной квартире с соседями-стукачами — а этот ваш Сергеев точно стукач, поверь моему чутью, — но если уж милый-то не мил, что ж тогда еще держит нас в шалаше?

— Но, Маришка, нельзя же так!

— Почему нельзя? А ты попробуй хоть раз додумать все до конца. Что бы сделала на твоем месте любая нормальная женщина? Взяла бы за руку сына и бежала к любимому человеку, благо тот со всей почтительностью поднес ей ключи от нового рая. Так нет, тебе совестно, что рай на этот раз не в шалаше — экое ведь невезенье — что у любимого оклад 400 ре, что он крепко стоит на ногах... У тебя, Надька, ярко выраженный комплекс шалаша, я в тебе это давно заметила... Любой бездельник, у которого за душой ни гроша, заранее представляется тебе более порядочным и респектабельным, чем человек, имеющий счет в сберкассе. Думаешь, я не заметила, какими глазами ты смотрела на мою каракулевую шубу, словно это не шуба, а классовый барьер. А когда я купила «Шанель» за 50 рублей, ты была просто шокирована, признайся. А что я вкалываю как...

— Ну и глупо вкалывать ради «Шанели», — не выдержала я. — Тоже мне — доблесть! Но вообще, Маришка, я всегда восхищаюсь твоей трудоспособностью и тем, какой у тебя красивый дом, и как ты одеваешься. И ты не думай, я тоже хочу замшевое пальто. И брючный костюм...

— Ну да, платонически...

— Нет уж, не всовывай меня в свою схему. Комплекс шалаша! Это ты сама придумала? Да я, если хочешь знать, обожаю машину, я до того люблю машину, что даже запах бензина меня волнует, и никакая дурацкая «Шанель»...

— О, это очень серьезное заявление! — сказала Марина.

— Ладно, я готова признать, что с материальным благополучием ты бы в конце концов примирилась. Но беда в том, что Глеб — человек благополучной судьбы, удачник, что он сильный, и следовательно, его можно не жалеть, он-то все выдержит. А Алька — впечатлительный, ранимый. Как же! Тонкая нервная организация, человек настроения и порыва, он способен, пожалуй, и на подвиг, но и любую глупость может выкинуть, загулять, запить, впасть в отчаяние, словом, он нуждается в поддержке и утешении. Его надо спасать, а уж перед этим, дорогая, ни одна русская женщина не устоит.

— Ах, няничка, совсем я без него пропадаю. Порой кажется, все бы на свете отдала, только бы разочек взглянуть. Хоть краюшком глаза...

— Шла бы за него, Надюша, горя б не знала. С таким — как за каменной стеной. И человек хороший. И гулять бы от тебя не стал, не то что твой шелапут. Ребеночка родила бы. Хочешь, небось?..

Я только вздохнула. Нянька все про меня знает. Я мечтала о малыше с тех пор, как Сашка подрос, даже на чужих детишках спокойно смотреть не могу: так и хочется взять на руки, потискать, хотя бы прикоснуться... Руки тоскуют... Но Алька, конечно, и слышать не хотел: «при нашей-то жизни»... Впрочем, в последний раз он во всем готов был уступить мне, но тогда уж я сама не захотела.

— Ешь конфеты, — сказала нянька. — Для тебя берегла...
И собой хороши, ну, всем взял.

— Так уж и хорош! Просто симпатичный.

— Ты лучше на себя посмотри, на кого похожа стала.
И платье это ты лет семь таскаешь, не меньше...

— У меня новое есть, честное пионерское. А у Альки
одна пара брюк, да и те на заду светятся.

— Не устроился еще на работу?

— Нет, не берут никуда. Но ты не думай, он частными
уроками зарабатывает.

— Рубль заработает, три пропьет. Ах, Надюша, чего уж
ты передо мной его покрываешь? Насмотрелась я, как вы жи-
вете. Весь дом на себе тащишь, а Алик на гитаре песни поет.
Хвост распустит и гостей развлекает, это он умеет. Я и сама,
бывало, заслушаюсь, красиво разливается. А уж ты, Надя,
первые годы словно по облакам ходила и ничегошеньки у себя
под носом не замечала...

— Десять лет, — сказала я, — десять лет, а теперь... Но
ведь было же, нянька, в нем что-то особенное, отчего все
люди тянулись к нему. Да и сейчас еще ученики смотрят на
него влюбленными глазами, готовы на руках носить...

— Ребятам не трудно пыль в глаза пустить. Нет уж, Надя,
я тебе верно говорю: пирог ни с чем.

— Ох, не любишь ты его, нянька!

— А за что мне его любить? Я не девка.

— Но ты же сама всегда говорила, что Алька добрый.
Этого-то у него не отнимешь.

— Заладила — добрый! А много ли тебе перепало от его
хваленой доброты? О себе-то уж я и не говорю — не зайдет
никогда. А я ему и жену, и сына вырастила. У него, вишь, до
своих рук не доходят, все о чужих печется. Да и то больше
на словах, разговаривать-то он мастак.

— Неправда, нянька, он последнюю рубашку с себя счи-
мет...

— Может, и снимет, да только на людях, чтобы все видели.

— Оставим это, нянька, — оборвала я ее. — Лучше

скажи, что такое с Аньюткой. Я ее окликнула, а она только племенными передернула и отвернулась. Можешь ты объяснить мне эту загадку?

— Так ведь опять начнешь злиться... Все Лександр, добрая душа! Нельзя же так, не кукла — поиграл и бросил...

— Она же в Крыму была! Алька ей письма писал.

— Хватилась, уже месяца два как в Москве.

— Да что ж ты мне раньше не сказала?

— А много ли я тебя вижу? Ты ведь как? Все бегом-бегом, вспыхах, я и растеряюсь на радостях. Спохвачусь — а тебя уж и след простишь. Старая я, доченька. Голова ровно решето — ничего не держит. Старая... Веришь ли, Аньютка у меня как заноза в сердце сидит, нет-нет да и кольнет, а поди ж ты, упустила сказать. Да я, признаешься, думала, что Лександр тебе говошил.

— Нет, не говорил...

Странно все же... Впрочем, в последнее время он до того замотался... Но я тоже хороша — совсем забыла об Аньютке, а девченка такая, что никак нельзя оставлять без присмотра. Отца у нее нет, мать, наверно, сама не знает, кто он: что ни день, новый мужик, и все на глазах у Аньютки. Совсем пропавшая баба, запойная. Упившись, валяется в ногах у дочери или лезет на нее с кулаками. Нянька случайно наткнулась на Аньютку в подъезде: сидит на подоконнике, скрючившись и подобрав острые коленки, на всех огрызается, скалит острые белые зубки: не подходи — укусит. Но нянька все же подошла. А через некоторое время привела Аньютку к нам, вернее к Альке. Аньютка стихи писала, и вот нянька уговарила ее показать знающему человеку, он, мол, скажет, есть ли у нее талант. Но это был, конечно, предлог, няньке, главное, хотелось, чтоб Аньютка попала в нормальный человеческий дом, она надеялась, что Алька пригреет ее, и не ошиблась. Стихи были плохонькие, беспомощные, хотя что-то в них угадывалось настоящее, какая-то искра божья, Аньютка вообще способная, в последнее время увлеклась живописью. Ей было лет тринацать, когда она у нас появилась: тощая, бледная, со скуластой, почти

треугольной мордочкой, на которой затравленно и злобно горели огромные зеленожелтые глаза — настоящий волчонок. В общем, это был трудный случай, но Алька и не с такими справлялся, у него на это талант, а впрочем, Анютку, при всей ее колючести, можно было, как говорится, взять голыми руками: перед добротой она терялась... Да, скоро этот волчонок бегал за Алькой ласковым веселым щеночком, и только в пятнистых зелено-желтых глазах порой вспыхивал прежний недобрый, темный огонь — самолюбива она была сверх меры, болезненно, и от обид, даже самых пустячных, мгновенно заходилась, и лезла на рожон. От своей хромоты (в детстве Анютка переболела полиомиелитом) она страдала отчаянно, это была ее постоянная мука, и сколько я ее ни убеждала, что ничего почти не заметно, девочка ни на миг не забывала о своем изъяне и считала себя уродкой. Так что когда после долгих хлопот мы раздобыли ей путевку в санаторий на весь учебный год, она умчалась в Крым совершенно счастливая (шутка ли, вырваться из ненавистного дома!), полная неистовых надежд, сгоряча не ощущив даже боли расставания с Алькой, на которого буквально молилась, и только в Евпатории, поостыv и оглядевшись, затосковала — неистово и безудержно, как и все, что она делала.

— Может, Алька не знает, что она вернулась?

— Да Господь с тобой, Анютка ему в первый же день позвонила, хотела тут же приехать, но он был занят. Поговорил, правда, с ней по-хорошему, она ничего, сникла, конечно, малость, но скрепилась,

— Что, Алька так и не повидался с ней?

— В том-то и горе, Надя. Ему, вишь, все недосуг. Анютка еще несколько раз позвонила, да и плюнула. «Обойдусь, говорит, только зачем он мне все врал, зачем красивые слова писал? Я же ему не навязывалась, правда? Учил верить людям, а сам? Кто его за язык тянул?» жалко девчонку, Надя, она в него как в бога верила.

— Зря ты мне раньше не сказала, нянька. Я бы Альку

взяла в оборот. Нет, что-то с ним неладное творится... Зайду-ка я, пожалуй, к Аньотке, попробую успокоить.

— И не суйся, Надюша. У нее все на Лександре заклинилось. Ты даже не представляешь... Я тебе еще главного не сказала. Третьего дня встретила ее во дворе: сидит в обнимку с каким-то парнем и курит. Увидела меня и этак нагло ухмыльнулась. «Да ты никак выпила, Аньотка», — спрашиваю. «Ну, выпила, точно, а что?.. Мне мать на радостях поднесла. Может, моему благодетелю пожалуетесь? Валяйте». Вижу, говорить с ней бесполезно, повернулась и пошла, а она мне вдогонку: «Дерьмо он, ваш Александр Моисеевич. Так и передайте»... Эх, Надя, пропадет ни за грош, пропадет девченка...

Да, по материнской дорожке покатится, тоскливо подумала я. И ведь если б не Алька, у Аньотки, возможно, хватило бы сил самой выкарабкаться, уж очень она ненавидит мать. Да она бы из одной ненависти не допустила себя до этого, из чувства противоречия. А теперь — что ж? Теперь она от обиды, назло Альке что угодно может выкинуть. Нарочно погубит себя, втопчет в грязь — с наслаждением, с мстительной радостью: вот, мол, вам! Такая уж натура. Ах, деточка, не ему ведь, а себе ты сломаешь жизнь!

— Ладно, нянечка, Альку я, конечно, приведу в чувство, не беспокойся. Прибежит как миленький. Если только его не посадят...

— Молчи, Надя, еще накличешь беду.

— Э, нянька молчи не молчи... Все мы под КГБ ходим. Побегу домой. А то душа не на месте.

— Иди, иди, доченька. Думаешь, я не понимаю?

V

Что же это получается, Алька, — спросила я, сбегая по лестнице, — и тебя совсем не мучает совесть? Но Алька молчал, и, кажется, вполне невозмутимо: мне никак не удавалось представить выражение раскаяния на его лице. Он молчал, потому что я не умела угадать его ответ, а я ведь знала Альку наизусть, во всяком случае привыкла так считать; мы всегда

понимали друг друга с полуслова, даже без слов, но сейчас я не улавливала, не чувствовала его: никакого отклика, только глухое как стена молчание, и наткнувшись на эту стену, я даже с шагу сбилась. А, может, я споткнулась потому, что почувствовала на себе чей-то недобрый взгляд, ожегший меня меж лопаток: Анютка! На балконе никого не было, но в соседнем окне чуть заметно трепетала цветастая занавеска. Я и не видя видела, как она стоит там, затаившись, и сверлит меня горячим, яростным взглядом, от которого, кажется, вот-вот вспыхнут и задымятся ситцевые цветочки... У девочек и мальчиков, которых рисовала Анютка, были такие же глаза — пронзительные и неистовые, опаленные темным огнем ненависти и боли. Алька повесил над письменным столом Анюткину Сонечку Мармеладову, но я не выдержала и сняла: смотреть на нее было мучительно и неловко, как на открытую рану. Но Алька!.. Как же он смел! Спаситель!.. Мордой об стол за это полагается, сердито сказала я ему — и одновременно: Господи, только бы с ним ничего не случилось!..

Автомат у нянькиного дома не работал, и я побежала к метро. Тут тоже почти все телефоны были испорчены, и пока я достоялась в очереди к единственному исправному автомату, я совсем изнервничалась. Дома у нас никто не отвечал. Господи, только бы с ним ничего не случилось!.. На душе было муторно, словно я в чем-то провинилась: может, Алька сидит сейчас в Лефортове, а я тут кляну его на все корки...

Парень, стоявший у будки, постучал по стеклу и укоризненно показал на часы. «Еще минуточку!» — взмолилась я. Надо позвонить Грише, как же я раньше не догадалась, он наверняка в курсе. У Радиных тоже никто не отвечал. Я набрала Маришкин номер. Алька обычно звонивает ей из города, «отмечается».

— Вроде все в порядке, — сказала Маришка. — Мы с ним часа полтора назад разговаривали.

Слава Богу! У меня отлегло от сердца.

— И где только его черти носят! — я с размаху брякнула трубку.

— Что, муж пропал? — спросил парень. — Да вы не огорчайтесь, он мизинца вашего не стоит, — и распахнул передо мной дверцу.

— Может, вместе поищем? — крикнул он мне вслед.

Пошляк, лениво подумала я. Но чем-то он неуловимо похож на Альку. Та же интонация шутливого, непринужденного сообщничества в обращении с посторонними. Этот тон действовал безотказно на самых осатаневших продавщиц, кассирш, официанток и прочих представительниц советского сервиса, Альке как-то сходу удавалось укротить их. Кругом обычно ворчали: «увидела мужчину, так сразу растаяла», но дело было вовсе не в его мужском обаянии. Во всяком случае, не только в этом: просто в отличие от всех нас, не глядя на совавших деньги и чеки, он видел каждого, с кем имел дело (мы обычно и не видим, не даем себе труда замечать, а Алька видел лицо, глаза, женщину, словом, человека, и удивленная продавщица, встретив его внимательный, веселый, чуть нахальный взгляд, на какое-то мгновение вспоминала, что она и в самом деле человек). Да, в этом главный секрет Алькиного успеха и, наверно, потому в нашем доме с утра до вечера толчется народ и всем Алька нужен. Меня всегда поражал его неуемный, ненасытный интерес к людям, нерасчетливая щедрость, с какой он выкладывался перед всяким встречным-поперечным. Зато уж и любили его. Алька к каждому мог подобрать ключик, любого умел приручить, и даже Сережка, от которого он увел меня, не устоял перед ним. Я тогда ужасно радовалась их дружбе, гордилась своими мальчиками. Впрочем, все обстояло не так просто, как мне поначалу представлялось, во всяком случае, для Сережки, хотя отношения были самые искренние: кажется, он решил доказать себе и другим, что ничуть не хуже Альки. Ей-Богу, Сережка должен быть благодарен мне за то, что я предпочла ему Альку: еще неизвестно, чего бы он добился в жизни, не будь этой дружбы-соперничества. А обогнать Альку было совсем нетрудно — и не потому, что Сережка талантливее, хотя теперь-то все так считают, просто он сидел и работал, пока Алька разговоры разговаривал, пил, гулял и бес-

печно тратил себя на общение с людьми, что полуשותя-полувсеръез считает своей основной профессией... Трепач, сердито подумала я, а Аньютка?.. «Пирог ни с чем», вспомнила я безжалостные нянькины слова. Ах, какой ни есть, куда я теперь от него денусь? Того и гляди посадят...

На Таганке у перехода на кольцевую я снова кинулась к автомату и торопливо набрала наш номер. Безнадежно: длинные гудки. Собственно говоря, это еще не основание для беспокойства, Алька обычно целыми днями гоняет по городу. Дела у него такого рода, что телефоном лучше не пользоваться: может, и правда, прослушивают, кто их знает? — вот и приходится о любом пустяке лично договариваться.

Я втиснулась в вагон и только собралась было притулиться со своим чемоданом в уголок, как какой-то солдатик пружинисто вскочил и уступил мне место. Ох, и видик у меня, должно быть, если уж мне место уступают. Солдатик густо покраснел, когда я ему улыбнулась, и стал сосредоточенно изучать план метро, висевший на стенке. Смешной мальчик, стесняется... Лица кругом были хмурые, отчужденные, как обычно, раньше это удивляло меня (ну почему они все такие мрачные, неприветливые, и никто никогда не улыбнется друг другу, разве какой-нибудь пьяный, для которого все люди братья?), а теперь привыкла, притерпелась, как и ко всему остальному. Но Алька всегда пытается... Погоди, что-то я не додумала, что-то важное про нас с Алькой. «Пирог ни с чем» — вот на чем мы остановились. Нет, не то. Ниточка ускользала. Ты думала о том, что теперь вы навек связаны, потому что раз его могут посадить... Да, вот оно... Но это не правда, не правда, не ври хоть себе! Это не вся правда, скажем так. Признавайся уж до конца, чего там... Два года назад, когда Глеб переехал в свою («нашу») новую квартиру, о тюрьме еще речи не было, это потом дело приняло такой оборот. Просто Алька, несмотря ни на что, мне ближе, понятнее, роднее. Да, мы тогда чуть было не рассорились с Глебом окончательно.

— Ну, подожди, милый, — сказала я, обгладывая куриную ножку, (я прибежала с работы голодная, и Глеб первым делом

усадил меня обедать, ему вообще доставляет удовольствие смотреть, как я ем, есть в нем этот первобытный инстинкт, как у пещерного человека, который приносил своей женщины окровавленную добычу и радовался, что может ее накормить), — потерпи еще немного, вот, Бог даст, наладятся у него дела... — сказала я в стотысячный раз) я все время это твердила, но сама уже чувствовала, что не оставлю Альку, хотя часто, о как часто! устав от нашей нищей, нервной, нелепой жизни, от Алькиного легкомыслия и безалаберности, мечтала об устойчивости и надежности нормального человеческого существования, о настоящем доме, о настоящем мужчине, который был вот он — только протяни руку, и порой мне совсем невмоготу становилось, потому что Алька самым бессовестным образом свалил на меня все житейские заботы — я уж не говорю о том, что он путался направо и налево, это меня уже не трогало, только противно, что он постоянно лжет и, главное, еще требует от меня любви, — но я не могла ему простить, что его нисколько не волнует, чем я завтра буду кормить Сашку: выкручивайся, Надежда, как знаешь, — и все-таки я не решалась расстаться с ним. И не потому только, что его надо «спасать», как считает Маришка, — мне казалось, что и мое спасение в нем).

— У него никогда ничего не наладится, — не выдержал Глеб. — Пойми, никогда. Это вечное мальчишество и фанфаронство, которыми ты так восхищаешься, и полная неспособность взвесить последствия своих поступков!.. Ну, зачем, скажи, ему понадобилась эта лекция о Мандельштаме? Уж если он такой прекрасный педагог, если даже в советской школе, где нашим несчастным детям забивают ложью мозги, он умеет говорить правду и воспитывает способность мыслить, — что может быть важнее? — как же он смел рисковать? Как мог не подумать — я не говорю, о тебе, о сыне, — для человека с принципами это, конечно, не имеет значения! — Но о ребятах, которых так любит? Покрасоваться ему хотелось! Нет, это уж такой человек: безответственный, инфантильный, неприспособленный к делу, к жизни...

- Просто он не может и не хочет приспосабливаться.
- Очень удобная формула для оправдания неудачников,
- жестко отрезал Глеб.

Слово упало как камень. Он, наверно, давно держал его за пазухой, мой интеллигентный, воспитанный, корректный Глеб. У меня в глазах потемнело от гнева. Неудачник! Как все просто... Мир делился надвое: на одной стороне были такие как Глеб — настоящие мужчины, сильные, с трезвым умом и железной волей, люди дела, знающие, чего они хотят, и неуклонно идущие к цели, победители. На другой — чудаки, беспочвенные мечтатели, нелепые и неумелые, живущие сердцем, жалкие дон-кихоты, не признающие правил жизненной игры, простаки, дурачки, баламуты, мальчишки, которых жизнь бьет по башке (и поделом: разве умный человек станет лбом прошибать стену?), словом, люди второго сорта, обреченные на поражение, на прозябанье, на ничтожество, вечные, прирожденные неудачники, такие как мой муж Алька и... я, как мы. Лучше б Глеб молчал: я была на другой стороне. Все мое прошлое встало между нами, все взбунтовалось против него. Может быть, одним из самых трудных наших завоеваний было ненапускное равнодушие к успеху, карьере, положению, к злорадному или сочувственному шепотку за Алькиной спиной: «подумать только, подавал такие надежды, и что ж? — всего лишь школьный учитель, без денег, без будущего — несостоявшийся человек». Алька как ни в чем не бывало посмеивался, и я вместе с ним, у нас были особые мерки, и я знала, какая нужна сила и свобода духа, чтобы идти своим путем. Впрочем, и советская власть помогла нам освободиться: Алька кончил университет в 52-ом, в разгар космополитской кампании, и пятый пункт напрочь закрыл ему дорогу в аспирантуру несмотря на блестящий диплом, фронтовые ранения и ордена... А Сережку Татаринова приняли, и он ходил мрачный и не решался смотреть Альке в глаза; мы подтрунивали над ним и утешали...

— Ты ошибаешься, Глеб, — сказала я, — даже если Алька и в самом деле неудачник. В нашей стране только неудачники

могут сохранить себя, оставаться чистыми, и в оправдании нуждаются не они, а преуспевающие люди вроде тебя, потому что...

— Ну да, все вы свято убеждены, что пробиться могут лишь те, которые вступили в сговор с советской властью, так сказать, продали душу дьяволу. И почему-то вы забываете, что есть целая категория специалистов и ученых, без которых эта власть при всем своем желании не может обойтись и, следовательно, вынуждена создавать им приличные условия и более или менее сносно оплачивать их труд.

— Вот именно. А господа незаменимые специалисты по мере своих сил обслуживают систему и укрепляют ее. Ах, меня тошнит от твоего благополучия, от твоей сытости! Тошнит!.. У фашистов тоже была особая категория «полезных евреев», которым создавали приличные условия, в то время как остальных уничтожали... Чем же тут, собственно, гордиться?

— Но, Надя, я не могу без дела, — неуверенно сказал Глеб. Конечно, он растерялся не столько от моих возражений, сколько от откровенной враждебности тона. — И нельзя же, в конце концов, все сводить к этому. Так ты, чего доброго, скажешь, что и хлеб не надо печь и людей лечить... Потому что это тоже «укрепляет систему».

— Положим, ракеты не хлеб. А лечить людей — при любой власти благородное дело... Но я ведь и не говорю, что не надо. Делай себе ракеты или другие игрушки, без которых не может обойтись наше родное государство, только не строй, пожалуйста, иллюзий насчет чистых рук.

— Конечно, логически рассуждая, все мы, живя в этой стране, так или иначе...

— Не все, — прервала я его. — Я не говорю уж о Сахарове или Григоренко... Лично мне известны другие: мой муж или Сережка, или Радин, которые хоть пытаются что-то сделать.

Глеб поморщился.

— Как тот игрушечный солдатик: «Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, забыв, что он бумажный»...

Бесполезно было спорить с ним: Глеб давным-давно все обдумал, взвесил и пришел к выводу, что советский строй вполне соответствует историческим традициям России и что нет такой силы, которая способна его поколебать («каждый народ достоин своего правительства», любил он повторять), а решив, что ничего нельзя изменить, перестал мучиться на этот счет и совершенно искренне успокоился в сознании своей правоты. И даже усвоил этакий иронический тон по отношению к тем, кто пробует «прошибить лбом стену». Это еще у Достоевского говорится, что для «деятелей» в стене есть что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное.

Был, правда, момент, когда и в Глебе что-то зашевелилось, — сразу после суда над Синявским и Даниэлем, с которого, собственно, и началось робкое и краткое пробуждение общественной жизни, получившее громкое название — «демократическое движение». Глеб дотошно выспрашивал меня обо всем и даже, видимо, жалел, что я не могу познакомить его с Алькой, — но ему нужна была конструктивная идея, теория, программа: «Какую конкретно альтернативу они предлагаю, ты знаешь?» Я, разумеется, понятия не имела, об этом тогда никто и не думал, просто радовались, что люди перестали бояться, и делали, что могли, но Глебу это казалось несерьезным, и он очень скоро утратил интерес к нашей «самодеятельности».

Ну и пусть бы, пожалуйста, я даже готова признать, что по-своему он прав, это уж такой человеческий тип: он органически не способен участвовать в деле, которое считает безнадежным. Такая позиция, во всяком случае, честнее и последовательнее Сережкиной. И уж Глеб никогда бы не предал товарища, это для него так же невозможно, как залезть в чужой карман и украсть кошелек или ударить женщину. Но меня бесило его уверенное сознание собственного превосходства и то снисходительное сожаление, с которым он относился к Альке и ко всем нашим.

— Если уж набрал в рот воды, то по крайней мере не оплевывай других...

— Наденька, — печально сказал Глеб: он, видно, твердо решил не обращать внимания на мои выпады, хотя чувствовалось, что это стоило ему некоторых усилий, — Наденька, ты ведь умница, как ты не понимаешь, что нет ничего безнадежнее затеи очеловечить советскую власть? Единственное, что мы можем, — это не пускать ее в свою душу, стараться не замечать, ограничить до минимума контакты с ней. Я бы, например, ни за что не вступил в партию, даже если бы пришлось уйти с работы, а эти твои герои... Знаю, знаю, Александр на фронте вступил, это простительно, но Татаринов какого черта полез?

Сережка был «хрущевского призыва», в то время многие считали, что в партию должны идти порядочные люди, чтобы обновить ее и «восстановить ленинские нормы».

— Но я же говорила тебе, он в 56-ом вступил, после ХХ съезда.

— В 56-ом была Венгрия! Как-нибудь можно было сообщить, что... — Глеб не закончил фразы и посмотрел на меня горестно и удивленно. Он поднялся из-за стола (мы так и остались сидеть на кухне, за неубранным, заставленным грязной посудой столом), и подошел ко мне.

— Надя, Наденька, — воскликнул он, — подумай только, что с нами творится! Я так тебя люблю, что когда на работе или во время какого-нибудь разговора невзначай вспомню тебя, твое лицо, твой голос, то просто теряю способность сопротивляться и только хочу, чтобы ты была рядом.

— Я тоже милый, я тоже.

Я уткнулась лицом в его грудь и замерла, вдыхая родной теплый запах. О чем мы спорим, зачем?.. Это был мой мужчина, и стоило мне прикоснуться к нему, как все, разделявшее нас, отступало и таяло.

— Подумай, — сказал Глеб, — мы вместе и у нас есть, наконец, свой дом, где никто не властен нам помешать, и что же? Что же? Мы битый час рассуждаем о советской власти!.. Бред какой-то... Забыть, забыть...

Я притянула его к себе, отыскала губами его губы и закрыла глаза, мгновенно пьянея от его близости.

Это был самый лучший способ забыться и забыть обо всех проклятых вопросах, и будь благословенна жизнь, подарившая нам эту великую радость, эту счастливую, никогда не обманывающую нас возможность забвения и бегства. Но когда мы возвращались оттуда, каждый к своей жизни, которая шла своим чередом и, кажется, только ждала нашего возвращения, чтобы пуще прежнего опутать заботами и обязанностями (так после отпуска уже на вокзале с тоской вспоминаешь о куче всяких дел, неумолимо накапливавшихся дома, пока ты беспечно грелась на солнышке и купалась в море), и я пыталась представить себе, как бы я жила с Глебом, если б осталась с ним насовсем, у меня начинало скрести на душе.

«Как за каменной стеной», это нянька верно сказала, она и сама не подозревает, до чего верно. Глеб — словно заброшенный, он умеет отгородиться ото всего, что непосредственно не касается его, и спокойно, невозмутимо, с чистой совестью жить себе в этом отгороженном, благополучном, упорядоченном мире, заниматься как ни в чем не бывало наукой, «делать дело», а на досуге с удовольствием почитывать Орвелла и Солженицына, рассуждать о Бердяеве или Маркузе, собирать картины «подпольных» художников и непременно три раза в неделю играть в теннис — что бы там, за стеной, ни случилось. Мне было просто непонятно, как это он может. По-моему, тут конечно, было что-то в корне неправильное и бесчестное, несмотря на всю его порядочность. Может, я и смирилась бы в конце концов, если б не знала, что бывает иначе, если б между нами не стоял постоянно другой человек — мой муж. Я была отравлена Алькой, и не могла простить Глебу его глухоту и душевную неуязвимость, его равнодушие к нашей несчастной, покорной, отступившей от водки и лжи родине, потому что — логика логикой и какие там теории не выстраивай, но у человека не может не болеть душа, если на глазах у него изо дня в день топчут все сколько-нибудь талантливое и живое, всякую смелую, вольную или просто искреннюю мысль,

всякое слово правды... Человеческая душа устроена неразумно, и ее нельзя уговорить не мучиться, даже если вся мировая наука докажет как дважды два четыре, что нашей беде ничем нельзя помочь, и — как знать? — может быть, в этой неразумной и неистребимой способности страдать и сострадать — наша единственная надежда и оправдание, последний шанс спасения, оставленный нам судьбой...

VI

— Ты что, б...! Ты что, б...!

— Да я ж ничего, братцы..

Ближе к вечеру я обычно обхожу стороной Алкаш-сквер, но сегодня я слишком торопилась, чтобы сделать крюк. И вот — пожалуйста. У скамейки, где несколько часов назад мирно нежилась в первой радости подпития Васькина компания, тесно сгрудились какие-то парни. Кажется, это были другие. За плотной стеной спин нельзя было разглядеть, что там происходит, но дело явно пахло дракой. Поеживаясь, я шагнула вперед и торопливо пошла по дорожке, стараясь держаться от них подальше. Впрочем, им было не до меня.

— Ты что, б... — тупо и равнодушно, на одной ноте бубнил первый голос, а второй, звеня и срывааясь, вторил: «Братцы! Ребята! и вдруг.. хряст! — тупой звук удара о тело и задыхающийся, удивленный крик: «За что?» Я инстинктивно втянула голову в плечи и замедлила шаг. Господи, но я же не могу ему помочь... Во дворе никого не было, да и был бы кто, разве станут вмешиваться?.. А сиплый, срывающийся голос тянул из меня душу: «За что?» — хряст, и снова, все так же удивленно: «За что?»...

Войдя в квартиру, я сразу почувствовала неладное: в коридоре околачивался какой-то незнакомый тип очень сомнительного вида. Он бесцеремонно оглядел меня, задержался взглядом на чемодане и, не говоря ни слова, посторонился. Я с размаху толкнула нашу дверь и едва не сшибла дебелую крашеную блондинку, заступившую мне дорогу.

Девица была явная дешевка, такую Алька не приведет даже пьяный. Я опустила на пол чемодан — все-таки я молодец, что успела провернуть эту операцию! — и легонько отодвинула девицу. Ну, держись, Надя, теперь уж ничего другого не остается, как держать фасон...

У этажерки стоял подтянутый, стройный молодой человек в штатском, с довольно приятным, почти интеллигентным лицом и небрежно перебирал книги. Алька сидел на диване, лениво развалившись по своей привычке (он из всех положений предпочитает горизонтальное), курил и наблюдал за ним с вполне индифферентным видом. При моем появлении он весь подался вперед и мягкая, ободряющая улыбка осветила его лицо. «Ничего, родной, — ответила я ему взглядом, — не беспокойся за меня», а вслух спросила:

— Что здесь, собственно, происходит?

— Ничего интересного, деточка, обычный шмон.

— Здравствуйте, — сказал молодой человек.

— По какому поводу?

— На предмет изъятия литературы антисоветского содержания, — ответил Алька.

— Да познакомьте же нас, Александр Моисеевич, — сказал молодой человек.

Алька на минутку даже потерял дар речи, сраженный этой светской интонацией, и с интересом воззрился на него.

— О! — удивленно воскликнул он и сделал было попытку подняться с дивана, но передумал, — что же это я, в самом деле, манкирую своими хозяйственными обязанностями? Миль пардон. Моя супруга Надежда Федоровна Аксанова. Наш... э-э... нечаянный гость, капитан госбезопасности... э-э... кажется, Вревкин?

Алька развлекался, изображая любезного хозяина, и произнес все это самым непринужденным тоном, разве что немножко переигрывал.

— Гвоздарев Владимир Ильич, — представился капитан и вежливо склонил голову. — Прошу извинить, Надежда Федоровна, но придется произвести личный осмотр...

— То есть как это?

На мне было только платье, и уж не собирается ли он...
Алька вскочил.

Капитан окинул меня наметанным взглядом:

— Карманов нет?... Значит, была какая-то сумочка или...

— Они с чемоданом пришли, — крикнула девица. — Вот пожалуйста.

— Вы разрешите?

— Все равно ведь откроете, даже если не разрешу. Чемодан не заперт, не церемоньтесь.

Капитан быстро пересек комнату, открыл чемодан и вытащил пустую сумку. Мы с Алькой быстро переглянулись и поспешили отвести друг от друга глаза. Капитан мгновенно все понял, да и любой бы понял, конечно. Лицо у него перекосилось, но он тут же овладел собой и сказал с натянутой усмешкой:

— Проворная у вас супруга, Александр Моисеевич... Успела-таки вынести, а? То-то я смотрю, чисто в доме. Петр Сергеевич, как там у тебя?

— Ничего нет, — откликнулся из-за шкафа бодрый голос. — Я уж почти все осмотрел.

— Вы ведь, кажется, работаете, Надежда Федоровна?

— Да, в больнице. Я врач.

— Когда же у вас кончается рабочий день?

— В два. А что?

Капитан взглянул на часы.

— Вы уже заходили домой?

— Да, — нерешительно ответила я. Лучше, пожалуй, не врать, все равно Кирилловна видела меня.

— Так куда же вы ходили с чемоданом?

— В прачечную, — машинально сказала я и осеклась: белье все еще валялось на полу. Вот дура, это ж надо!

Алька чуть не застонал, а капитан снисходительно улыбнулся.

— Это что, допрос? — резко спросил Алька. С того мо-

мента, как следователь заинтересовался мной, Алька стал ужасно нервничать, даже в лице переменился.

— Ну что за формальности, Александр Моисеевич, — поморщился капитан. — Начитались все вольпинской памятки... Ладно, потом поговорим, если вы так настаиваете. Сейчас протокол напишу и поедем.

Только этого не хватало! И ведь сама напросилась, идиотка: будто нельзя было придумать заранее какой-нибудь правдоподобный вздор. Я попыталась вспомнить вольпинскую памятку, но у меня все из головы выскочило. Я и раньше, впрочем, мало что впитала из нее, слишком уж учено составлена, для специалистов. И с Алькой теперь советоваться поздно. Но мне, положим, вряд ли угрожает что нибудь серьезное, надо только ни в чем не признаваться — и все, это главное, и вообще поменьше говорить, доказать все равно они ничего не могут, проморгали, голубчики. А вот что будет с Алькой? Может, у них уже ордер на арест заготовлен?

Капитан сидел за столом и сосредоточенно писал протокол, время от времени негромко переговариваясь со своим помощником, Алька угрюмо курил и, встретив мой взгляд, беспомощно, виновато улыбнулся. Сердце у меня дрогнуло от жалости и щемящей, давно забытой нежности. Я подсела к нему и украдкой погладила по руке. Он благодарно сжал мне пальцы.

— Не могу себе простить, что тебя...

— Что ты, Алька, я-то выкручусь, мне за тебя...

— Я бы попросил вас не шептаться, — сказал капитан.

Он кончил писать и протянул Альке протокол.

— Да, машинку нам придется взять.

— Как это взять? — возмутилась я.

— Временно. На экспертизу.

Бери, подумала я, машинка-то чистая.

— Ну как, все в порядке? — спросил капитан Альку. Тот молча подписал протокол и вернул Гвоздареву.

— Понятые, распишитесь, — крикнул его помощник.

Девица и тип, до того торчавший в коридоре, подмахнули свои подписи.

Капитан встал из-за стола и четко, словно с удовольствием выговаривая каждое слово, произнес:

— Прошу извинить за беспокойство.

Эк их вышколили! Ну и ну! Я чуть было не рассмеялась, Алька тоже едва сдержался и, скривив морду, пробурчал:

— Благодарю за внимание.

— Простите? — не понял Гвоздарев и, не дождавшись ответа, изящным, небрежным жестом указал на дверь:

— Прошу.

— Надежде Федоровне тоже? — спросил Алька.

— Да уж придется побеспокоить и Надежду Федоровну.

— Зачем? — не удержалась я.

— Я ведь уже сказал, поговорить надо, уточнить кое-какие детали.

— Это надолго? — спросила я. Алька насупился. Наверно, он считал, что я веду себя недостаточно мужественно. А, может быть, боялся за меня. Я и правда не была готова к такому обороту и до последней минуты не верила, что все это всерьез, и теперь не то чтобы струсила, но страшно растерялась.

— Это от вас зависит, — сказал капитан.

Ну разумеется!

— Просто я ужасно голодная. С утра ничего не ела.

— Очень сожалею, но... — в голосе капитана послышались легкие нотки раздражения. — Впрочем, я могу и подождать несколько минут, если это вас устроит. А то ведь, небось, на весь мир растрезвоните, что мы нарочно морим голодом перед допросами, — повернулся он к Альке.

— Вот и прекрасно, — сказала я и пошла на кухню.

— Свиридова, пройдите с Надеждой Федоровной, — распорядился капитан. Девица поспешно бросилась за мной.

— Алька, тебе сделать бутерброд? — крикнула я.

— Валяй, деточка.

Под бдительным наблюдением Свиридовой я отрезала несколько ломтей хлеба, намазала маслом — в холодильнике больше ничего не оказалось — и уже собралась было идти в комнату, как Кирилловна, до того молча возившаяся у плиты,

с несвойственной ей прытью кинулась к своему столику, пошарила в его глубинах и достала большую банку с огурцами, аккуратно прикрыtą бумажным чепчиком.

— Съешь огурчик, Надежда, не побрезгуй. Малосольный.

Ай да Кирилловна! Вот уж от кого не ожидала сочувствия. Неприятная старуха, въедливая, сварливая, и все ворчит, что от наших гостей никакого «спокою» нет, и требует, чтобы я лишний раз пол в коридоре мыла.

— Вкусно, просто чудо!

Я взяла бутерброды и, хрустя огурцом, пошла в комнату. Капитан с помощником и понятыми уже дожидались в коридоре. Алька запер дверь, я сунула ему пологурца и кусок хлеба, и мы двинулись к выходу.

В переулочке около нашего дома стояла «Волга». Светлокрасная. Смешно сказать, но это несколько успокоило меня: хорошая примета.

— Прошу, — сказал Гвоздарев.

Мы с Алькой уселись сзади, капитан — рядом со мной. Он удобно откинулся на спинку и небрежно распорядился:

— На Лубянку.

— Так куда же вы отнесли самиздат?

— О Господи, я ведь уже сто раз вам объясняла. Никакого самиздата у меня не было. Обыкновенные книжки — Тютчев, Блок, Симонов и те де. Я решила их продать, пошла в букинистический на Арбат. А потом в прачечную за бельем, но оказалось, что еще не готово. Сколько же можно повторять!..

Допрос продолжался уже часа полтора. Нас с Алькой разлучили, едва мы прибыли на место: его повел куда-то Гвоздарев, а меня оставили одну в коридоре. Я уселась на продавленный кожаный диван, жалобно заскрипевший подо мной (немало здесь, видать, перебывало народу) и стала ждать. Потом явился этот тип, представился и вежливо попросил следовать за ним. Лицо у него было простодушное, курносое, деревенское, костюм сидел на нем мешковато, не то что на Гвоздареве,

и фамилия Ягодкин очень подходила к нему. Мы шли по пустым, тихим, пропахшим пылью коридорам и я с некоторым удивлением подумала, что все здесь выглядит так же, как в любом советском учреждении после окончания рабочего дня — только вот лестничные пролеты затянуты сеткой. Во избежание самоубийств. Говорят, это у них заведено с тех пор как Савинков бросился в лестничную шахту... А в остальном — будничное, нормальное убожество казенного дома (правда, это была не та знаменитая, страшная Лубянка, о которой мы читали у Солженицына и слышали столько жутких рассказов: нас привезли на Малую Лубянку, в московское отделение КГБ). И комната, куда ввел меня следователь, ничем не отличалась от обычного служебного кабинета средней руки, тут пахло пылью и скучой мирного канцелярского захолустья, и мне снова показалось, что все это невсеръез, не понастоящему. Тем более что и допрос был заведомо несерьезный, словно мы играли от некого делать в какую-то странную, никому не нужную игру, заранее условившись «черное и белое не называть», «да» не говорить, и оба мы отлично знали, что я вру и что иначе и не может быть. Думаю, он очень удивился бы, если бы я сказала правду — искренность была слишком дорогим удовольствием, с первым неосторожным «да» игра прекращалась и начиналось «дело». Нет, самиздат я не читала, никогда даже не видела, и никаких антисоветских книг у нас в доме не водится и у наших друзей тоже; Борик Иоффе очень милый мальчик, отзывчивый, порядочный, интеллигентный; о политике мы с ним никогда не разговаривали и я вообще не интересуюсь политикой; какие у него взгляды? — лояльные; в «Хронике» он, разумеется не сотрудничает, да и как, простите, он мог бы сотрудничать, у этой редакции, кажется, нет вывески.

Так мы лениво и вяло переливали из пустого в порожнее, вполне довольные друг другом (я, во всяком случае, отошла и успокоилась), пока не явился Гвоздарев.

—Куда вы отнесли самиздат? — сходу спросил он.

Я уже успела к тому времени все придумать, но моя изворотливость не произвела на него ни малейшего впечатле-

ния. Он снисходительно выслушал мои объяснения, уселся поудобнее в кресло и невозмутимо задал тот же вопрос глядя на меня в упор. «Смотри себе пожалуйста, — подумала я, — все равно ведь не скажу правду», но мой голос прозвучал неуверенно, когда я повторила насчет букинистического магазина и прачечной. Не умею я врать, а вот так, глаза в глаза, особенно трудно. Капитан усмехнулся и снова задал тот же вопрос. Наверно, это у них прием такой — долбить без конца одно и то же.

— Я ведь уже говорила, — ответила я и повторила все сначала.

— Да бросьте вы, право, эти глупости, — почти добродушно отмахнулся Гвоздарев. — Все ведь ясно. Белье, которое вы вытряхнули из чемодана, валялось на полу, а нижний ящик стола был совсем пустой. Видел бы ты эту картину, Анатолий, — повернулся он к Ягодкину. — Конспираторы, тоже. В таком деле, Надежда Федоровна, надо поаккуратнее, учтите на будущее. Понимаю, понимаю, торопились очень, еще бы не понять... Ну так куда же вы пошли с чемоданом?

— Сперва в букинистический, — тупо повторила я и отвела от него взгляд. Прямо передо мной, в нескольких шагах от стола, было окно, выходившее во двор, обнесенный глухой стеной. Нет, лучше не смотреть: тоскливо... — Потом в прачечную. Сколько можно! Ничего другого вы от меня не услышите, а если не верите...

— Уж не взывайте, не верю, — словно с сожалением сказал капитан. Он явно любовался собой и вообще чувствовалось, что эта игра доставляет ему удовольствие. — Ну взять хотя бы эту версию насчет букинистического. Вы человек неопытный, сразу видно. Ведь проверить все это ровным счетом ничего не стоит. Если вы продали книги, то в магазине сохранилась копия квитанции и притом на вашу фамилию. Так что если...

— Представьте себе, что книги я продала с рук. Такой вариант вас устраивает? — обозлилась я. — И притом я вообще не обязана доказывать, что продала книги, и объяснять,

куда я ходила. Может, и не в магазин, а к любовнику, мало ли какие у меня секреты. Все это не имеет никакого отношения к госбезопасности и к делу Иоффе, по которому меня допрашивают. Это вы должны доказать, что у нас есть или был самиздат. А все эти соображения по поводу пустого ящика и чемодана — чистая беллетристика.

— Заблуждаетесь, Надежда Федоровна, — лениво сказал Гвоздарев. — Так уж и быть, открою перед вами карты, раз вы такая несговорчивая. Не хотел огорчать вас, право, не хотел, разочаровываться в друзьях очень тяжело, по себе знаю, но... — он выдержал паузу как актер перед эффектной репликой, и сказал:

— У нас есть показания Иоффе о том, что еще вчера поздно вечером, когда он заходил к вам на квартиру, провожая... как бы это поделикатней выразиться?... слегка подгулявшего Александра Моисеевича... Дело житейское, не смущайтесь, Надежда Федоровна, — быстро вставил он (черт, морда у меня чересчур откровенная!) — да, так Иоффе показал, что видел в нижнем ящике письменного стола несколько экземпляров «Хроники», ну и прочее там... Что, очную ставку устраивать?

Ах ты, болван, ничтожество, подонок! Так я тебе и поверила. Правда, Алька в самом деле вчера изрядно перебрал и Борька его чуть ли не на себе приволок, значит, за ними следили, вот и все. А в остальном — на пушку берет. Разве Борька продаст? В Борьке я была уверена как в себе, нет, больше, чем в себе, потому что я не поручусь, что выдержала бы, если б меня били, или если бы я знала, что могут бить, при одной мысли об этом меня охватывает животный страх (еще девченкой я мучилась вопросом, выдержку ли пытку — как Зоя: в те годы, разумеется, мои палачи рисовались мне в фашистских мундирах — и с отчаянием, презирай себя за слабость, думала о беззащитности и уязвимости своего тела; я была убеждена, что человеком имеет право называться только тот, кто способен вынести невыносимое. Теперь-то я знаю, что это негодная мерка и нельзя судить людей, не

устоявших перед нечеловеческим испытанием, это под силу лишь святым и героям, но Борька принадлежит как раз к этой породе). А я... что ж? Слава Богу, у нас теперь не бывают, и я могу не бояться этого милого капитана, который, дай ему волю, ох как бы еще развернулся!..

— Устраивайте очную ставку, — сказала я, — мне будет очень приятно повидать Бориса.

Гвоздарев кинул на меня быстрый взгляд и, не говоря ни слова, пошел к двери. Ягодкин вздохнул, вынул из ящика стола листок бумаги, аккуратно разложил его и принялся неторопливо писать протокол. Кажется, пронесло, подумала я, еще боясь радоваться. И сразу сникла, вспомнив об Альке.

— Ну что, не сказала она, куда ходила?

Господи, опять Гвоздарев, и как ему не надоест?

— На Арбат, в букинистический, а потом...

— Хватит, — прервал он. — Пошутили — и довольно.

Он неторопливо прошелся по комнате и, остановившись передо мной, внушительно сказал:

— Пеняйте на себя, Надежда Федоровна, если не умеете ценить хорошего отношения. Вот что, Анатолий Иванович, оформляй ордер на задержание в Лефортово.

Ягодкин перестал писать и начал рыться в ящике стола.

Наверное, пугает. Скорее всего, пугает, хотя...

— Посидите денек-другой, иначе заговорите...

Ягодкин достал, наконец, чистый бланк, но писать не торопился.

— Последний раз предлагаю, честное слово, не хочется прибегать к крайним мерам...

Пугает, черт бы его побрал. Но если и нет, все равно ничего не остается, как молчать.

— В Лефортово, так в Лефортово, — угрюмо сказала я.

— Что же делать. Только чего вы этим добьетесь?

— А я вам сейчас объясню, чего мы добьемся. Прежде всего, вашей изоляции. А тем временем мы проведем обыски у ряда ваших друзей.

Гвоздарев уже взял себя в руки и, расположившись в кресле, продолжал самым непринужденным тоном:

— Скажем, у Марины Полонской, у Левитиных, у Радина, у Когана, вы меня слушаете? — он на мгновенье замолк и закончил с легким нажимом: — У Логинова. Кстати, ваш супруг, кажется, не знаком с Глебом Павловичем?

Я вздрогнула. Вот уж не думала, что они знают про Глеба! Гвоздарев смотрел на меня с откровенным торжеством, и я невольно съежилась под его наглым взглядом: словно сижу перед ним голая. Неужели они за мной следят? Если уж за такими как я... А еще говорят, что у них сократили штаты... Или за Глебом? Очень может быть, они ведь никому не верят, а Глеб на такой работе... Надо будет его предупредить. Я просто обязана... При этой мысли что-то во мне встрепенулось: я поймала себя на том, что обрадовалась предлогу позвонить Глебу. Ну лапочка, ты неисправима. Нашла место и время...

— Подумайте, Надежда Федоровна, скольких друзей вы подводите, — вкрадчиво сказал капитан, — стремясь выгородить себя и мужа. По-моему, это просто непорядочно...

Ну и сволочь. Шантажирует и туда же о порядочности рассуждает. И небось прекрасно знает, что никого я не подвожу: все мои друзья уж постарались почистить свои квартиры, едва только прослышали о Борькином аресте. Кроме Глеба. Да, Глеб ни с кем из наших не связан, а уж у него такая библиотека, он весь самиздат покупает. Так что если к нему нагрянут... Но ведь Гвоздарев просто пугает. Как с Борькиными показаниями. Пробует все подряд: а вдруг расколюсь... Нет, надо молчать, это ясно.

— Ну? — спросил капитан.

— Пишите этот ваш ордер, — уныло ответила я.

Гвоздарев пожал плечами и вышел, хлопнув дверью.

Я вопросительно посмотрела на Ягодкина, он протянул мне протокол:

— Читайте внимательно, если что не так, можно и переписать.

Этот вроде на человека похож, ей-Богу!..

— А дальше что?

— А дальше — подпишу вам пропуск, и идите себе на все четыре стороны. Хоть опять в букинистический...

VII

Алька мрачно прогуливался по той стороне улицы. Я сразу увидела его длинную несуразную фигуру, едва только меня выпустили из проходной, и кинулась через дорогу под носом у проходившей машины, бешено завизжавшей тормозами.

— Горюшко мое родное, — закричала я и смеясь повисла у Альки на шее. Алька охнул, стиснул меня изо всех сил: лицо у него было просто обалдевшее от счастья. Но он тотчас же устыдился, критически оглядел меня и, скривив морду, протянул:

— Я думал, Надежда Федоровна, вас хоть на Лубянке научили хорошим манерам...

Я фыркнула, взяла его под руку и потащила за собой, подальше от этого проклятого места.

— Где уж мне! Такие они воспитанные, учтивые, черт-те что! Особенно этот Гвоздарев. Его прямо распирает от гордости: и мы, мол, не лыком шиты, но хамское мурло все равно из-под этих политесов проглядывает. Как в салонной пьесе на провинциальной сцене.

— Не скажи, в МХАТе теперь не лучше играют... Ох, Надька, до чего я за тебя волновался! Особенно последние полчаса, пока дожидался на улице. Что ты им сказала?

— Ничего, Алик, не сказала. То есть ничего такого.

— А что им, собственно, надо было?

— Про Борьку расспрашивали, про тебя. Но главное — куда вы ходили с чемоданом? Это все Гвоздарев, моему-то Ягодкину все до фени, а Гвоздарев давил во-всю, подконец даже Лефортовым пригрозил, но я...

— А пропо, мадам, куда вы ходили с чемоданом?

— На Арбат, в букинистический.

— Что-о?

— Книжки продать — Тютчева, Блока и те де. А потом в

прачечную за бельем, но оно оказалось не готово, и потому я пришла домой с пустым чемоданом.

— Ну это был номер. А уж когда ты насчет прачечной ляпнула!

Я искоса посмотрела на него: скажи, пожалуйста, еще посмеивается.

— Твое счастье, что я нынче добрая, а то показала бы тебе, где раки зимуют. Ведь если б не я, еще неизвестно, где бы ты теперь был. Хоть бы спасибо сказал, что ли...

— Спасибо, деточка, ты у меня правда молодчина. Так куда ты все-таки снесла?..

— К няньке, — шепнула я и на всякий случай оглянулась по сторонам. Мы и не заметили, как добрались до площади Дзержинского, нырнули, подхваченные людским потоком, в подземный переход и так же машинально вышли наверх, в скверик. Здесь почти никого не было и когда я увидела пустую скамейку, то сразу почувствовала неодолимое желание сесть.

— Перекурим?

Я с наслаждением опустилась на скамейку, взяла протянутую Алькой сигаретку и не спеша, со вкусом затянулась.

— Ну, Алька, рассказывай.

— Да рассказывать вроде не о чем: так, светский треп вокруг да около. Литературными вкусами интересовался. И все в этаком непринужденном тоне, словно мы с ним за чашкой чая беседуем. «Весьма рад слушаю познакомиться», — Алька очень похоже передразнил интонацию Гвоздарева. «Много наслышан о ваших талантах». К сожалению, не могу ответить вам той же любезностью, но какие, собственно, таланты вы имеете в виду? «Читал кое-что...» И к тому же, оказывается, его племянница у меня училась, Любочка Берестова. Ничего девочка, толковая. Притом очень недурна... Я ей привет передал. Да, говорит, обидно, очень обидно, что вам пришлось оставить преподавание. Ваше место в школе... А это все — пустое, да и безнадежно... Ну его к черту, Надька.

— Но что-нибудь серьезное было?

— Как тебе сказать?.. Стенограмму полушкинского про-

цесса припомнил: «Одного этого, говорит, вполне достаточно, чтобы возбудить против вас дело». Но главное, про мои отношения с Борисом допытывался и про «Хронику». Еще про самиздат, не распространяю ли. Очень настойчиво.

— Думаешь, им что-нибудь известно?

— Черт их разберет. Догадываются, наверно. Гвоздарев, конечно, делал вид, будто знает каждый мой шаг. Что ж, спрашиваю, вы в таком случае церемонитесь со мной? Усмехается: «Погуляйте пока, Александр Моисеевич, мы не торопимся. Все равно никуда не денетесь. Но предостеречь вас считаю своим долгом».

— Ох, Алька, ведь это значит, в любую минуту...

— Это значит лишь, деточка, что у них нет никаких доказательств. А на нервах почему бы не поиграть? Все-таки приятно. Тяжело им, бедняжкам, с этой самой законностью — руки связаны. Опять же — презумпция невиновности: не пойман — не вор... Ничего, перезимуем, Надеша.

Впереди, вознесенный над площадью, словно зловещее напоминание, торчал железный Феликс, но даже вид этого грозного идола не мог сейчас омрачить мое настроение. Все было прекрасно: солнышко еще не зашло и наполняло зеркальным блеском витрины «Детского мира», весело фырча проносились машины, москвичи сновали по своим обычным, житейским делам, а мы сидим себе с Алькой в скверике, как ни в чем не бывало, покуриваем, с удовольствием вдыхаем нагретый, несвежий, отдающий бензиновым перегаром и пылью воздух свободы. Красота!

— Когда ты смотришь на меня так и улыбаешься совсем как прежде, — пробормотал Алька, — Какая у тебя улыбка...

«Какая у тебя улыбка... А знаешь, за что я тебя люблю? — За то, что ты всегда просыпаешься с улыбкой». Ах, милый, уж будто ты не знал, почему я улыбаюсь?.. По утрам, между сном и явью, еще не очнувшись полностью от ночного небытия, я ощущала привычное, родное тепло, исходившее от Альки, его плечо под моей щекой, его руки на моей спине,

он и во сне не выпускал меня, мы спали обнявшись, — и горячая волна счастья захлестывала меня, разливалась по всему телу, в груди что-то начинало подпрыгивать, сердце обмирало от жгучей надежды, я лежала, прислушивалась к себе, не смея шелохнуться, чтобы не расплескать переполнявшую меня радость, украдкой поглядывала на Альку и с удивлением, почти страхом думала: «Господи, да что же это такое, почему мне так хорошо» ... Наша жизнь вовсе не была похожа на идиллию, всякое случалось, но пробуждение неизменно дарило мне то жгучее чувство надежды, с которым все было нипочем... «Женщина, — которая — всегда — просыпается — с — улыбкой, — твердил Алька. — Подумать только, что мне досталось это чудо, о котором втайне вздыхают 999 миллионов мужчин, обреченных по утрам созерцать кислые физиономии своих жен... и 333 миллиона китайцев...» — говорил он, щуря свои круглые янтарные глаза. (Он мог трепаться в таком духе до бесконечности, но китайская тема почему-то особенно увлекала его, и он вдохновенно расписывал несметные полчища меланхоличных желтолицых человечков, мечтавших отнять меня у Альки, так что стоило ему произнести «китайцы», как я буквально валилась от буйного приступа смеха... Мы с Алькой вообще все время во что-то играли, в какие-то нелепые детские игры, о которых взрослым людям и рассказывать-то неудобно). «Но откуда вам известно, Александр Моисеевич, как просыпаются другие женщины?» «Из художественной литературы плюс интуиция... Ну, еще кое-какой опыт... Ох, не дерись, Надька, дай человеку слово вымолвить: опыт холостяцкой без-надежной жизни»...

Давным-давно это было, в другом тысячелетии.

— Эх, Надя-Наденька, — сказал Алька, — я готов хоть каждый день на Лубянке бывать, лишь бы ты вот так улыбалась мне.

— Я тебе дам, — прикрикнула я и, лениво потянувшись к нему, чмокнула в щеку. Тетка, сидевшая на лавочке, против нас, удивленно вытаращилась.

— Ну, через день, — усмехнулся Алька. Голос звучал беспечно и непринужденно, Алька говорил в своей обычной чуть шутовской манере, но в глазах, которые он поспешно отвел в сторону, мелькнула тоска. Что же делать, если прежнее кончилось, ушло навсегда... Это-то никакая Лубянка не склеит...

— Алька, — поспешил сказала я. — Знаешь, кого я сегодня встретила? Сережку Татаринова. В метро, нос к носу. Столкнулись.

— И что же?

— Он было разлетелся поднести мне чемоданчик, но я гордо прошла мимо. А у самой все в душе перевернулось, не могу, не могу я этого понять...

— Неужели попытался все-таки?.. Любопытно... А я вчера его книжку видел. У Виталия. Хотел взять, но он не дал. Оторваться, видите ли, не может. Между прочим, нигде нельзя достать, сразу раскупили.

— Да, ты мне говорил.

— Когда ж я мог тебе сказать, если мы с тобой еще толком не виделись со вчерашнего обеда? Я ведь только вечером...

— Вечером и сказал, вернее ночью, когда домой заявился. Алька нахмурил брови и вопросительно посмотрел на меня.

— Ты не путаешь, Надя? Мне казалось, ты спала...

— Да ты что? Мы с тобой часа два разговаривали. На самые разные темы.

— Полный провал в памяти, — растерянно пробормотал Алька.

— Ты в самом деле ничего не помнишь? Ты, правда, пьяный был, но я не думала, что до такой степени.

— Все начисто вылетело. Все. А что я еще говорил?

— Кстати, насчет провала в памяти. Ты еще не забыл о существовании Аньотки?

— И не говори, Надя, нехорошо получилось. Замотался, то да се. Аньотка и звонить перестала. Характер показывает. А как с ней свяжешься без телефона?

— Мог бы и съездить.

— В такую даль тащиться! Ничего, сама объявится. Подуется и перестанет.

— Я считала, ты лучше в людях разбираешься. Да она просто обезумела от отчаяния. Нянька ее пьяной видела, представляешь? Просила тебе передать, что ты дермо.

— Что-о? Ну уж это слишком! Нет, какова! Да чтобы я после этого...

Алька очень искренне возмутился, но почему-то мне показалось, что он обрадовался этому предлогу для обиды.

— Нашел на кого обижаться! Ведь сам виноват. Лучше бы подумал, как с ней быть.

— Может, мне еще прощения у Анютки просить?

— Да уж видно придется, только не знаю, простит ли она.

— Странное дело, перед всеми я виноват! Все чего-то от меня ждут, предъявляют какие-то претензии, и чем больше делаешь, тем больше требуют. Но согласись, наконец, что я не обязан...

— Обязан, Алик, обязан, не отвертишься. Потому что ты в ответе за тех, кого приручил.

Алька досадливо сморщился: он презирает избитые фразы независимо от их содержания.

— Ты же знаешь, как я занят, не разорваться же мне на части, — раздраженно сказал он.

— Хоть мне-то не морочь голову! На выпивку и на трепотню у тебя всегда время найдется. Деятель! Какое-то проклятие, честное слово: стоит человеку заняться спасением человечества, как ему уже плевать на людей. Я тебя не узнаю, Алька...

— Да съезжу я к Анютке, успокойся. Только не устраивай из этого трагедий. Не хватает еще, чтобы мы из-за какой-то сопливой девченки поссорились.

— Когда поедешь?

— Завтра. Ну, послезавтра. Эх, деточка, может, меня самого спасать надо, а ты... Послушай, Надя, а Надя? Что я еще говорил?

— Когда?

— Вчера ночью.

— Ах, вот ты о чем!... — я обозлилась: значит, все время, пока я ему толковала об Анютке, он не переставал думать об этом.

— Ничего особенного, — сказала я. — В любви объяснялся. Ну, еще долго рассуждал о своем праве на измену...

На мгновение мне стало жаль его, но уже поднималось привычное, годами копившееся раздражение. Да и почему я, в конце концов, я всегда должна щадить его?...

— Чрезвычайно интересная теория. Что ты изменял мне не потому, что я тебе надоела или как-то там не устраиваю, Боже сохрани! а, напротив, от избытка любви и жизненных сил, от полноты счастья, которым обязан исключительно мне. А теперь — с горя. Очень все складно получалось, и под конец ты меня совсем убедил, что если спиши с другими женщинами, это доказывает лишь силу твоего чувства ко мне...

Алька слушал сгорбившись, и опустив голову. Он весь как-то поник, съежился, усохся, словно игрушка, из которой выпустили воздух: потемневшее лицо опало, щеки обвисли складками. Он был похож на старого, больного, печального верблюда... Я уже жалела, что затеяла этот разговор. Все равно бесполезно. Ну, что я добиваю его?

— Надя, — хрипло проговорил Алька, — поверь, я тебя...

— Ради Бога, не надо.

— Неужели ты никогда не простишь мне ту историю? — с отчаянием воскликнул Алька.

Прошу — не прошу, что это может изменить теперь? Все проходит, и боль прошла — вместе с любовью. Но забыть... нет, никогда не забуду.

Но вслух я сказала:

— Есть о чем вспоминать... Меня куда больше волнует, что ты допиваешься до потери сознания. И что ты сегодня даже не потрудился унести из дома машинку и «Хронику».

— Так ведь когда я ушел, я еще не знал о Борькином

аресте, ну а возвращаться все равно было рискованно. Вот и положился на судьбу, авось вынесет...

— В поддавки играешь?

— Ах, Надежда, если б настоящее дело...

— Но, Алька, твоя запись процесса Полушкина действительно...

— А когда это было?.. Сколько можно о ней вспоминать? А остальное... Не спорь, деточка я сам всему этому цену знаю. Вот «Хроника» — это другое дело. Борька молодец, это-то настоящее и действительно нужно. Да и то, Надя, как подумаешь... Кому нужно? Народу? Этим вот людям? У них если и есть какие-нибудь претензии к советской власти, то исключительно гастрономического порядка. А интеллигенция... Да что там говорить, ты же все понимаешь...

Да, я понимала, давно чувствовала, в каком отчаянии живет Алька. Это началось еще весной 68-го, он совсем потерялся, когда его отлучили от школы, целыми часами лежал на диване, уставившись в стену, вялый, небритый, или неприкаянно слонялся по квартире и только когда приходили его бывшие ученики, ненадолго оживляясь, жадно расспрашивали о школьных делах, а глаза у него были как у побитой собаки... Может, он бы и обошелся постепенно, если б не распроклятый август и все, что за ним последовало. Те танки, под которыми дрожала брусчатка Праги, и по мне прошли, они раздавили всех нас, но иногда я думаю, что чехам все-таки лучше: они были разбиты, но не обесчещены, а мы, без вины виноватые, молча корчились под бременем жгучего позора... До сих пор как вспомню, у меня во рту пересыхает от ненависти, от яростного, унизительного сознания бессилия и вины, как в тот сияющий летний день, когда, спустившись с гор (мы с Алькой и Сашкой отдыхали в Карпатах), услышали гремевший на всю деревню торжественный, победный голос диктора, сообщавший об оккупации Чехословакии. А о демонстрации на Красной площади мы узнали уже в Москве — Алька, едва вошли в дом, кинулся к приемнику и поймал Би-Би-Си, передавали письмо Горбаневской — я стояла и слушала, чувствуя,

как во мне поднимается тот забытый с детства сладкий холодок восторга и тихонько плакала — от потрясения, от нежности и благодарности к этим людям, которые вышли за всех нас на Лобное место. Алька был знаком с ними, а я только мельком видела несколько раз и навсегда запомнила усталое, нервное лицо Ларисы Богораз, ее лучистые, горячие глаза и глубокий, низкий, певучий голос... Потом мы бегали к зданию суда, хотя не было никакой надежды попасть внутрь, но все равно что-то толкало постоять там, среди людей, которые были нам своими (но и стукачей там было, по стукачу на каждого из наших, никогда не видела столько стукачей разом).

В те дни у всех нас было такое чувство, что эти пять человек, которых там судили, смыли с России клеймо позора, спасли честь народа, нашу честь. «Да, конечно, — говорил Алька, — перед лицом человечества, в масштабах истории. Но мы-то... Никто, Надя, не может за нас спасти нашу честь». Алька тоже вышел бы на площадь, если бы был тогда в Москве. Я уверена, у него хватило бы смелости, но что было делать после этой демонстрации, Алька не знал, и никто не знал. Что-то кончилось, умерло, жизнь возвращалась на круги свои, к привычному оцепенению, а от всех недавних порывов, горения, надежд остались лишь горечь поражения, мутный угар похмелья, да постыдное, мелочное озлобление. Началась какая-то мышиная возня, бесконечное выяснение отношений, взаимные попреки, поползли вздорные слухи, один нелепее другого, и даже наше благородное товарищество, которым мы так гордились, стало постепенно распадаться: оно держалось лишь инерцией.

— Иной раз до того тошно, — сказал Алька, — что кажется — хоть бы уж конец какой, что ли...

— А обо мне ты подумал?

— Что ж, и тебя бы развязал, — тихо проговорил он.

Я молчала, не найдясь что сказать. Надо было поскорей возразить, отругать его или придумать какие-нибудь ласковые, нежные слова, какой угодно любовный лепет, но у меня язык не повернулся вратить. Да что толку? Алька чуткий, он сразу

уловил бы фальшь, а какая ему радость знать, что я из жалости или из чувства долга... Неужели Гвоздарев сказал ему про Глеба? Впрочем, он и без Гвоздарева, конечно, догадывается...

— Пошли, Алька, домой. Мне этот железный рыцарь революции все глаза намозолил.

— И то правда, — Алька взглянул на часы. — Но домой мы уже не успеем. К Гришке пора. Пока доедем...

Совсем забыла, что нас звали на день рождения.

— Алик, родненький, давай не поедем? Посидим тихонечко дома вдвоем, поболтаем... Завалимся спать пораньше, как бы славно а?

Алька прищурился:

— «И люби меня через одеяло»?.. Не пойдет, дорогая. Нет, серьезно, нельзя. Сама знаешь, какой Гришка мнительный стал, из-за любого пустяка в бутылку лезет.

— К бутылке, лучше скажи...

— И о деле поговорить нужно. Ему необходимо знать, о чем меня допрашивали, тоже могут вызвать.

Он прав, конечно, но если у меня уж сил никаких нет? Альке что, отоспится завтра вволю, а мне с утра на работу.

— Может, ты без меня? Я так устала.

— Ну, пожалуйста, Наденька. Ты для чего живешь? Чтобы делать усилия, как говорила незабвенная миссис Чик. Мы ненадолго, клянусь. Не стоит обижать хорошего человека.

— Хороший-то он хороший, да в доме у него полно всякого сброва.

— Да, Гришка всех привечает, — поморщился Алька. — Черт знает, что за личности у него ошиваются, то ли стукачи, то ли просто жулики, того и гляди носовой платок из кармана сопрут. Но и наши будут.

— Все равно тоска зеленая. Одни и те же разговоры и анекдоты до одурения.

Я на таких сборищах прямо-таки физически чувствую, как утекает время, как уходит в никуда моя жизнь... Почему-то так получается, что с каждым в отдельности, ну от силы

втроем, вчетвером, интересно, а как соберутся все вместе — скука отчаянная.

— Потерпи, что делать?

— Ладно, — вздохнула я. — Уговорил.

Алька отправился в гастроном за водкой, забрав у меня последнюю десятку, а я осталась сидеть на лавочке. Уходит, уходит в никуда моя жизнь — на пустые разговоры, ненужные встречи, бессмысленную суэту... Еще один вечер пропадет, и сколько таких впереди? А, какая разница...

— Держи, деточка! — Алька, улыбаясь, протягивал мне мороженое.

— Ты уже?

— Нет. Купил вот тебе эскимо, чтобы немножко подсластить жизнь. Твое любимое, если меня не обманывают воспоминания... Побегу, а то через 20 минут перестанут водку продавать, ироды...

Он пошел было, но потом остановился и спросил:

— А знаешь, Надежда, какое сегодня число?

— 27-е, кажется... Ну да, 27-е. А что?

— И тебе ничего это не говорит? — какая-то особая, горькая настойчивость звучала в его голосе.

— Да что, собственно, — начала я, и смущенно смолкла.

— Ах, Алик, конечно, помню...

Но он уже отвернулся и зашагал прочь, легкий, по-мальчишески худой и угловатый, нескладный — издали Алька выглядел совсем таким, как в то время, когда мы с ним познакомились — и только в его сутулой спине и безвольно опущенных плечах (он, впрочем, всегда горбится) мне почудилась на этот раз бесконечная усталость...

А 27 июля 51-го года примерно в это время мы с Алькой бродили по Ялтинской набережной, взявшись за руки, как и положено влюбленным, беспричинно смеялись, рассеянно и радостно глазели по сторонам — на принаряженную, праздную толпу курортников, на неправдоподобно, открыточно красивые пальмы и море, вздымающее в небо нарядные белые фонтаны

брьзг, вдыхали дразнящий, острый аромат недоступных нам шашлыков и чебуреков, доносившийся из ресторанов и, улучив минутку, когда на нас никто не смотрел, ошело целовались.

Мне было восемнадцать, а Альке двадцать пять, мы только что вышли из ЗАГСа, где нам сперва назначили какой-то фантастически длинный «испытательный срок» — целых две недели! — но Алька пустил в ход все свое обаяние и нахальство, даже выложил орденские книжки (это был, кажется, единственный раз, когда он козырнул своими фронтовыми наградами, к которым вообще относился без всякой почтительности, словно они достались ему случайно, как выигрыш в лотерее или по наследству), улыбался, острил, торговался и наконец добился обещания, что нас распишут через три дня. Мы выскочили, окрыленные победой, Алька купил мне эскимо, и мы отправились бродить по городу, предвкушая эффект, который произведет у нас в санатории эта новость. Нам-то с Алькой было совершенно безразлично, есть ли в паспорте соответствующий штамп — как будто бумажка, выданная какой-то чиновницей, могла что-нибудь изменить в наших отношениях! — но остальные, которых это, в сущности, никак не касалось, смотрели на дело иначе. Плевать мы хотели на их мнение, если б у нас были деньги на комнату. Денег, разумеется, не было, а к тому времени в санатории, где мы подрядились работать на летние каникулы (Алька «спасателем», а я медсестрой), уже разразился скандал, потому что я каждую ночь возвращалась в общежитие обслуживающего персонала на рассвете, комната была на втором этаже, дверь запирали в двенадцать, и мне приходилось влезать в окно: Алька становился на скамейку и поднимал меня, это был почти акробатический трюк, которым я очень гордилась, пока старшая сестра не заявила, что меня уволят, если не прекратится «это безобразие». Прекратить «это безобразие» мы никак не могли, это было просто невозможно, как невозможно стреле, выпущенной из лука, прекратить свое движение к цели, или туче не пролиться дождем, мы и так с трудом дотягивали до темноты,

чтобы убежать в горы, где нагретая буйно заросшая травой и цветами, дурманно пахнущая земля заменяла нам брачное ложе и темное небо каждую ночь зажигало в честь нашей любви все свои звезды...

В тот год — и еще несколько лет подряд — все дни были для меня одинаково счастливыми, во всяком случае, теперь, когда я оглядываюсь назад (что бывает все реже и реже), они сливаются воедино и растворяются в сияющем радужном мореве, но 27 июля имеет свой особый цвет, этот день стоит особняком, и не только из-за нас с Алькой, а из-за той странной, удивительной пары, которая случайно попалась нам на глаза.

Они сидели на набережной — худой, плохо одетый мужчина с помятым, болезненно бледным лицом и расплывшаяся, некрасивая женщина с небрежно собранными в узел седеющими волосами и резко обозначенными у глаз морщинками. Наверное, им было под пятьдесят, может, чуть больше, но тогда, разумеется, они показались мне ужасно старыми. Я скользнула по ним взглядом, да так и замерла, пораженная внезапно открывшимся мне чудом любви. Я стояла, сосала палочку эскимо и разглядывала их в упор, не в силах отвести глаз. Они вряд ли заметили меня, они вообще ничего не видели и не слышали, поглощенные друг другом. Казалось, они были отделены от окружающих прозрачной, непроницаемой стенкой, о которую разбивались все атаки внешнего мира — шум прибоя, смех, крики и разноголосый говор обтекавшей их толпы, навязчиво пошлая музыка, извергаемая репродукторами, все это оставалось по ту сторону и не могло нарушить их единения. Недосягаемые и завороженные, они молча сидели рядом, время от времени перебрасываясь какими-то им одним внятными словами, он осторожно держал ее большую, некрасивую руку и слабая, нежная улыбка блуждала на их лицах.

— Посмотри, — шепнула я Альке, который нетерпеливо тянул меня за собой. Он сначала ничего не понял, оглядел их равнодушно и в недоумении поднял брови, но потом и до него дошло.

— Надька, — удивленно воскликнул он. — От них прямо какое-то сияние исходит.

Мы пошли дальше, притихшие и немного растерянные. Ах, какими самонадеянными, смешными щенками мы были, и Алька тоже, несмотря на фронт и весь свой мужской опыт: нам казалось, что никто не может любить так, как мы, у всех остальных были влюбленности, увлечения, романы, и только нам одним на целом свете дано было знать, что это такое. Но эти двое...

— Алька, — сказала я ночью в горах, — поклянись мне, что когда я стану старой, толстой и страшной, как та женщина, ты будешь меня так же любить...

— Ты никогда не будешь страшной и толстой, — лениво ответил он, — из тебя выйдет прелестная изящная старушка. «Со следами былой красоты», как пишут в романах.

— Ты думаешь? А если...

— Исключено, — уверенno заявил Алька.

— Но старой-то я буду! Старой!

— Клянусь, — торжественно сказал Алька, — клянусь этими звездами, которые смотрят на нас, и милосердной землей, на которой мы спим, и сыновьями, которых ты мне родишь.

У Альки никогда нельзя было разобрать, шутит он или всерьез, мы с ним стеснялись красивых слов, но что-то такое зазвенело в его голосе, и таким первозданно прекрасным и истинным был мир, расстилавшийся перед нами, что у меня перехватило дыхание и мурашки побежали по спине.

— И никогда, никогда не изменишь мне? Не солжешь?

— Клянусь, — повторил Алька и, вскочив, весело заорал:

— Эй вы, там на небе! Слышите!

— Тише ты, сумасшедший...

— Ничего, пускай завидуют, импотенты...

(Продолжение следует)

Анна Герц



Эолова арфа восторженно пела,
Эолова арфа звенела во сне —
Мне снилось все то, что я в детстве хотела,
О чем я мечтала подарено мне.

Все то. Даже больше.

О, как я богата
Веселием, радостью, славой земной!
И груды камней самоцветных и злата,
И скиптр, и корона лежат предо мной...

И вот я проснулась...

Но длится и длится
То счастье, что я испытала во сне.
И это не голубь, а Синяя Птица
Волшебно воркуя сидит на окне.



Я всегда была такой:
Не вступала в пререкания
Ни с другими, ни с судьбой,
Временами очень злой.
Ни к чему. Напрасный труд.

А в саду прозрачный пруд
И живет в нем золотая рыбка,
Та, что исполняет все желания.
Да, она, я вижу тут —
Вот ее волшебный след
В глубине туманно-зыбкой
Ласковой блеснул улыбкой.

Наклоняясь над водой,
С чувством радостной беспечности,
Я прошу у рыбки золотой:
— Дай прожить мне до ста лет,
И прибавь еще кусочек вечности!

Ирина Одоевцева, 1975.

О ЗЛОМ СУЕМУДРИИ КНИГИ АБРАМА ТЕРЦА*

Почему на книге о жизни и творчестве Н. В. Гоголя Абрам Терц, а не Андрей Синявский? Да потому, как он объяснил, что неловко ему перед своими студентами в Париже! Отчего же Абрам Терц совестится своего опуса, стыдится, что ли? Как «дошел» А. Синявский до книги такой? Были некоторые предвестники к этому гремящему суемудрию. В его статье о развитии советской литературы сказано, что настоящая, большая литература может появиться только в стране, где искренно писать запрещено. «Это писателя ожесточает, собирает в кулак и самый факт, что он пишет то, что думает, наперекор всему заставляет его писать кровью сердца, перешагивая через все препоны».¹

Видите, наша литература XIX века следовательно или неискренна, или она небольшая. Если Шекспиру, или Бальзаку, или Сервантесу не ставились препоны, они ничего великого написанного кровью сердца и не дали, просто и ясно — не могли дать. А вот, под прессом цензуры выходит статейка самого А. Синявского о Н. С. Гумилеве (КЛЭ, т. 11), и она должна быть «собранной в кулак». Но о, удивление!? А. Синявский пишет: «Выраженная в некоторых его стихах мечта о «подвиге» и «геройстве» носила реакционный характер». Значит, не было подвига и двух георгиевских крестов? Далее узнаем, что в сборнике «Огненный столп» «усиливаются пессимистические настроения, разъедающая рефлексия»... А не сказал ли Н. С. Гумилев тут:

«Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут ясны
Стены Нового Ерусалима
На полях моей родной страны...»

* «В тени Гоголя», Лондон 1975, стр. 553.

¹ В. Некрасов, «Континент» № 4, стр. 32.

Говорят, в лекции о Гумилеве в Париже еще острей был советский душок оценки героя. Вот из каких истоков и появилась «многошумящая» книга Абрама Терца. Читая, особенно первую часть этой шумящей суемудрием книги, вспоминал я и В. Виноградова и С. Есенина. Профессора Виноградова потрясла книга профессора Ермакова о Гоголе (неумелый фрейдизм), и он заявил, что у него, у Виноградова «нет достаточного чувства юмора» для разбора книги проф. Ермакова. С. Есенин в полемике с богохульником Демьяном Бедным сказал:

«Иуда был, разбойник был,
Тебя лишь только не хватало...
Ты только хрюкнул на Христа...»

И хочется мне сказать Абраму Терцу: «был Ермаков, Храпченко был... Тебя лишь только не хватало!»

Обратимся же к самой книге. И тут вспоминаются слова самого Гоголя: «Плюйте же на голову тому, кто это напечатал! Бреше сучий москаль. Так ли я говорил?» А. Терц приспособляет, порою, текст Гоголя к своим словесным выкрутасам, мало заботясь об истинном смысле текста. Хома Брут — де «бежавший в ужасе прочь и неудержимо, кругами все возвращавшийся вспять — к своей жертве и смерти» (стр. 57-58). Никаких кругов Хома Брут не дает. Сперва бежать мешает ректор, потом — пьяное состояние, а наконец, обходя усадьбу и дав крюку, он ловится хитрым слугою сотника Явтухом. А вот, еще хоть один пример обработки суемудрствующим автором Гоголя: «В «Страшной мести» от заклятий колдуна святые иконы переменяются на дьявольские лики. У Гоголя языческая нечисть сильнее христианской святыни» (стр. 545). Так ли?

На деле, когда старый есаул вынес две иконы, без богатых окладов, «но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме»... И сразу св. иконы превращают казака-весельчака в колдуна, открывая перед всеми его злую, адскую, природу. Чары колдуна бессильны: «все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи»... Есаул, выставив вперед иконы, повелевает пропасть образу сатаны: «Тут тебе нет места! и зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный ста-рик».

Но откуда идет замечание А. Терца? Это в замке колдуна, *в видении*, созданном курениями и заклятиями, пан Данило видит свою горницу и искаженные лики икон на стенах. Совсем языческая нечисть не сильнее христианской святыни! В книге А. Синявского все шиворот навыворот. Оказывается, и в «Старосветских помещиках» распадается жизнь «вместе с появлением смерти-ведьмы». Да нет же никакой ведьмы! Смерть старичков связана с суеверием: приход потерявшейся кошки и новое ее исчезновение Пульхерия Ивановна толкует — «Это смерть моя приходила за мною!» Когда она умерла, через несколько лет во время прогулки Афанасию Ивановичу послышалось, что кто-то его позвал. Он решил: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!... Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его... Сохнул, кашлял, таял как свечка, и наконец угас...»

Смел, чересчур смел Абрам Терц! Что же подвластно ему? — «Отчего нигилисту, допустим, не найти общего языка с православным...» — «Гоголь в «Ревизоре» выступает провозвестником персонализма в России». Бедные Н. Лосский и В. Зеньковский не так думали о персонализме на Западе и в России. Не зная о давно уже развеянной легенде о неосведомленности Гоголя-профессора, Абрам Терц сравнивает писателя, с большим успехом преподававшего в среднеучебном заведении историю (получение перстня), с «провалившимся как мальчишка, бесталанным преподавателем» (стр. 389 и 190). Пускаясь в область фамилий-прозвищ, незадачливый болтун Терц прихватывает и заонежский апокриф и «Повесть времянных лет» (1071 г.), и отважно вещает: «Гоголь перенял эти навыки миротворения у птицы — гоголь, у своего тотемного предка (*sic!*), почитаемого у многих народов в качестве устроителя космоса». Но и этого мало суемудрию и болтовне Синявского-Терца. Ума не приложу, к чему надо проплеть Сомадеву и его XI века индийскую поэму «Океан сказаний»?² Мне хочется в духе Абрама Терца применить к анализу произведений Гоголя слова *пропасть, пропала, по-*

² Если уж сказать точнее, речь об «Океане потоков сказаний» автора Somadevabhatta. «Океаном сказаний» книга названа в переводе на русский в 1967 г. П. Гринцера и И. Серебрякова.

терялось. Какое богатое поле! Пропала кошечка Пульхерии Ивановны — Смерть! Пропала, потерялась люлька Тараса Бульбы — гибель! Схватили его и сожгли поляки на костре. Муки в огне от пропажи-потери!

В «Портрете» портрет сатаны не горит, а теряется, пропал со стены. Брут, Халява и Горобец потеряли дорогу ночью; пришла ведьма и погубила Брута («Вий»). В «Пропавшей грамоте» просто обилие пропаж. Пропала шапка, пропала грамота, пропал конь... Дед идет через лес (ну чем не Данте?) к преддверию ада. Тут далее есть неувязка: дед выиграл у ведьмы в карты, перекрестив их, и развеял крестом чары. Значит, вся языческая нечисть-то слабее креста! А слова Гоголя, что кончик его фамилии — Яновский — потерялся на дороге! Так было бы можно, по А. Синявскому, продолжать долгоночко в духе «широковещательных и многошумящих» страниц книги «В тени Гоголя», где много «от словес хватано зело паче меры преизлишно и звягливо, целыми книгами и паремьями целыми и посланьми!»

Да простит меня проф. Синявский! Он нас в своей книге «кроет» Самадовой, а я, эмигрант, эмигрантом кн. Курбским.

Обратимся же к стилю и лексике суемудрой книги Абрама Терца. Автор, в духе суемудрия, ошарашивает читателя уже составом оглавления: «Эпилог», затем «Два поворота серебряного ключа в ‘Ревизоре’», за этой главой — «Мертвые душат» и «Рельеф портрета». Потом следует «География прозы» и, наконец, «Мертвые воскресают. Вперед к истокам!». Невольно вспоминаю Грибоедова: «Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой». В словарный состав книги то тут, то там вкраплены «рельефные» советские словечки — запланировать, четкий служебный профиль, крупно-масштабно и т.п. Это бы и ничего, хуже стилистические «красоты»: «Из ада, сияющий *негасимым иконостасом*» (*sic!*). Гоголя «забирает» некая реальность, «обращая в свой приватный сосуд и оракул»⁸ (стр. 87). Гоголь «так же кудахтал, высиживая из Чичикова полезного стране Одиссея». Мысли Гоголя о Пушкине, русской песне, Церкви, Чичикове «суть необходимые пристяжные в умозрительной трапеции (*sic!*) Гоголя, хоть и тянувшие в разные стороны, с тем, чтобы охватить бытие целокупно и всесторонне,

⁸ Оракул здесь, видимо, гадательная книга.

найдя всякой вещи законную середину и место». (стр. 59). По мнению Синявского-Терца «гримасы» Гоголя не укладываются в уме и он считает их «похожими на адскую пляску раздерганных уголовников» (стр. 60). При речи о душе, не ведающей, кто она такая, «желающая безмерного». Она не умещается «в рамках (sic!) собственного тела и локального положения в обществе». Говоря о «взятках борзыми щенками», Синявский пускается в плоское суемудрие. Ну, хоть бы словечко сказал здесь о связи этой сцены «Ревизора» с комедией «Ябеда» Капниста! «Административный восторг принимает в 'Ревизоре' гривуазную даже форму». «Ревизор», как комедия очень-де строен и «мог бы поспорить в стройности с любой парижской субреткою». Что значит тут, что в «Ревизоре» — «не найдете типично комедийной пружины с острой любовной прожидью»? (sic!!) (стр. 113) Если же Хлестаков, то «под юбки он залезает не ловеласом, но ревизором». (стр. 113) Бедный Бобчинский, готовый побежать за дрожками петушком, тоже нечто амурное. Даже «в податливом словце лабардан-с⁴ есть что-то от любовной истомы». Или, оказывается, что «по-русски «Ревизор» звучит как «же ву зем» по-французски». Гоголь-де «за столбил конфликт», «под ликий звон бубенцов, под щелканье метронома». С чем тут «едят» метроном? Но есть и похлеще: «Гоголь выставил перед всеми свою «внутреннюю клеть» с приглашением убедиться в его честных намерениях. Когда откинули крышку, там на корточках, как собака, тоскливо озинаясь по сторонам, испражняется на тротуар, скрючившись, сидел Городничий. (Ситуация эта отчасти предвосхищена в «Коляске»)». Читаю и грущу. Клеть есть холодное помещение при избе; может значить род пристройки, а порою амбар или даже палисадник. О какой откидной крышке речь? Если тут в переносном смысле — клеть души (как в «Исповеди» Гоголя), то опять «крышка» тут не уместна. Грубость же всего пассажа исключительна.

А чего стоят выражения «экстраординарный абрис событий» и «мир, подлежащий обозрению со своим колоритом и ареалом».⁵ К личности Гоголя Абрам Терц питает отвраще-

⁴ Лабардан — треска, рыба.

⁵ Ареал в СССР обычно область распространения неких видов животных или растений.

ние. Приведу ряд его неуклюже грубых выпадов. «Выбранные места из переписки с друзьями» приводят его в ярость. Он не задумался, почему же такие крупные умы как Н. Лосский, Л. Толстой, К. Мочульский и другие, нашли в этой наивной и трогательной книге так много ценного, умного и даже художественного. В самом начале «Эпилога» Абрам Терц хочет ошараширить читателя, приводя вздорную легенду о заживо похороненном Гоголе. Гоголь «носит в груди чувство гроба... голос его звучал с неприличным подыванием: «Соотечественники! Страшно!» Мало того, и легенда уже истинна почти: «Подумал ли Гоголь об этом, когда проснулся (*sic!*) в гробу?» (стр. 11). Или: «Личность Гоголя — чуть вы приблизились к ней — зияет сплошной, незаживающей раной, глумливой насмешкой, прорехой на человечестве». Абрам Терц в атаке берет блистательные слова самого Гоголя, забыв о кавычках. В гл. VI автор «Мертвых душ» говорит о Плюшкине: «Он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве». Неладно, господин профессор, так обирать несчастного Гоголя! Резко так, Абрам Терц: «Уже и сил никаких нет, и художественные образы не приходят в голову, а он (Гоголь) все свое химичит — не художественно... суконным языком» (стр. 21). Зато каким языком пишет сам Абрам Терц! С пустозвонством, с потугами на некий диамат, провозглашает он: «...Покуда мы с вами тут Аполлонами упиваемся (ближний) может быть, без сапог ходит, или где-то в пустыне Гоби от укуса змеи изнывает (по Гоголю — погибает в грехах)». И тут отважно спрашивает нас об этом Абрам Терц, тот Терц, что мыслит ни меньше, ни больше, как о человечестве, и заявляет: «...Я вас спрашиваю, и считаю до трех!... То-то же». Не сверх ли меры такие отступления?

Выражения Абрама Терца в ослепленном самомнении заслуживают-таки особого внимания. «Автор сгинет, спятит с ума, как Гоголь (туда и дорога). Но образ, но красота!» Или: «Это сообщало его алхимии характер *мануфактуры*. (Тут уж я ничего не понимаю). Или о некоторых героях: «Что они — сами не могут? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России» (стр. 54). Сколь полон праздноречивости, напр., такой отрывок из

премудростей А. Терца: «И ширь — пространство — у Гоголя коробится и круглится, не уходя прямиком к горизонту, но выгибаясь в какую-то сфероидную, что ли форму; прямые, «вытянутые по воздуху», становятся кривыми, словно знают теорию Римана», и т.д. (стр. 57-58). Любит, любит А. Терц жестокие парадоксы: «Искусство начинается с чуда, а за отсутствием такового оно начинается с обмана, подлога, изменения, потери и преступления» (стр. 134). Просветил, решил все о происхождении искусства! Не хуже и такие утверждения: «Втайне всякий художник смеется, всякий (*sic!*) образ его — смешон». Внимай же, читатель: «Художник, смехач⁶ и колдун суть разные заголовки единого руководства по сотворению мира». «Он (Гоголь) принялся добывать добродетели силой и медным лбом, с тем чтобы довести до кондиции художественную постройку».

Однако, так ли обстояло дело со вторым томом «Мертвых душ»? Мы имеем восторженные отзывы Максимовича, Арнольди, Смирновой, Шевырева и С. Т. Аксакова. Последний заметил: «Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу... Да, много должно сгореть жизни в горниле, из которого истекает чистое золото». Отделанный II-й том Гоголь и сжег, сжег, по всей видимости, по ошибке. Лик Гоголя последних лет жестоко и грубо искажен А. Терцем. «Все, встречавшие Гоголя в 1851-52 году, говорят о нем, как о веселом, остроумном, подвижном человеке, а не изможденном, ушедшем от мира аскете».⁷ Это ясно, понятно сказано. Но что значит у А. Терца? «Понятно, когда писатель *исторгает свой внутренний образ* в литературном создании, которое становится слепком его духовного мира». Далее, «все главные герои «Мертвых душ», включая Плюшкина, Ноздрева, Манилова, Коробочку и Собакевича, — приобретатели и накопители». (стр. 371). Неужто же расточитель, пьячуга, буйн и картежник Ноздрев приобретатель и накопитель? Разве сладкий Манилов приобретатель? Но так говорит А. Терц. Он же изрекает о Гоголе: «Обещающая гора родила мышь». Славно

⁶ Взят у В. Хлебникова: «О, рассмейтесь, смехачи!».

⁷ К. Мочульский «Духовный путь Гоголя», YMCA Press 1934, стр., 132.

переделано изречение, но не отнесется ли оно не к горе — Гоголю, а к холмику — А. Терцу?

Нет, нет, любит ошарашить читателя профессор литературы — Синявский. Бабах! «До Гоголя прозы не было» в России. Оказывается проза Пушкина и Лермонтова⁸ не настоящая, они «вынуждены подчас прибегать к содействию подставного лица, с тем чтобы привить своей речи ощущение прозы». (стр. 325). Гоголь же чужак. «В нем явственно проступают черты басурманина, чужака. («демон» Лермонтова, «колдун» Гоголя)». Тут уже историк литературы просто разводит руками. Узнаем, что рассечение внутренностей при посвящении в шаманы есть аналогия, сходство с «Пророком» Пушкина: «Подобную процедуру шаманского «пересоздания» в облагороженной форме воспроизвел Пушкин в своем «Пророке» (стр. 544). Иногда читатель и засмеется, но не остроумию, а грубым ляпсусам Абрама Терца. Вот хоть один пример: Гоголь мог придумать «спасательное мероприятие с целью уяснить в голове свое творение», (стр. 212), речь о «Ревизоре». Спросим же профессора Синявского, а где кроме головы, может уяснить себе свои идеи писатель?

Но не довольно ли о суемудрой книге, в которой А. Терц, забыв свою защиту на суде, герою Гоголя приписывает слова Гоголя! А. Терц читает «Исповедь» Гоголя и говорит «хочется пойти и вымыть руки» и восклицает: «да заткнись ты, прекрасный!» (стр. 21). Мне хочется это сказать А. Терцу и не только вымыть руки после чтения его книги, но и освежиться, выйдя на воздух. Только раз и вырвались как-то непроизвольно правдивые слова у А. Терца: «Впрочем, кто мы такие, чтобы судить Гоголя!» (стр. 196).

Но есть ли хоть что-нибудь интересное в этой толстущей книге? Кое-что есть. Например, о числе «два» в «Ревизоре» (два письма, два ревизора, два друга и т.п.); неплохо о черновых записях ко второму тому «Мертвых душ», верно о страстном желании Гоголя превратить, просветить, переделать порок в добродетель; хороша выдержка из дневника Делакруа, ну, и еще одно-два замечания об оценке Гоголем архитектуры.

⁸ Я бы добавил Карамзина и «Буран» С. Т. Аксакова. Профессор Синявский просто упускает формальную сторону в повести или романе с «подставным» рассказчиком. Тут и мода эпохи.

Абрам Терц говорит, что после «Переписки» Гоголь не написал «ничего, решительно ничего значительного». Забыл он его глубокозначительное писание о литургии! Но мне думается хорошо кончить словами Абрама же Терца в примечании к его книге: «Ничего, решительно ничего значительного», а много благоглупостей, пошлости и грубостей, сдобренных суемудрием.

P. Плетнев

Человечество? Нет, не хочется.
 Меланхолия, мерлихлюндия.
 Пусть бы все опустело дочиста.
 Эх, отпразднуй Праздник Безлюдия,
 Фестиваль Тоски-Одиночества!

Бал Общественного Презрения,
 День Осеннего Равнотления.

Что война, газеты и радио!
 То захвачено, то украдено.
 Не заслуживает внимания
 Планетарная Павиания.
 О, Эдем, Цитера, Аркадия!

Успокой ты сердце свирелями,
 Мадrigалами, пасторалиами,
 Не волной ты сердца печалиами.
 Запоем, хе-хе, менестрелями
 Над рассветами и расстрелами.

Игорь Чиннов



Не нужно душе мешать
Вспоминать — еле, еле —
Туманную благодать
Где ангелы пели.
Дорожить и дрожать,
Просить у минут...
Забвенья не забывать —
Самый тяжелый труд.



Сквозь тучи рвется солнце брызнуть.
Стрелой индейского вождя,
Сверкнуло в линиях дождя,
Зажгло горячим светом брызги.
Насытив нежной страсти жадность —
В поля зеркальное стекло
Разлив улыбкой безотрадной
Лучи свернуло и ушло.
А, дождь ревнивый победитель,
Весь в белых молниях, в громах,
Закрыл высокую обитель
В нависших низко облаках.
Так вот как балуются дети
Природы вечно молодой!
Как с солнцем со своей душой
Не так ли я живу на свете?



Здесь в Дроздовке — я стихи пишу.
Вечер тихо сумерки колеблет.
Я еще всей грудью подышу,
Посмотрю на розовое небо.
Попрощаться с солнцем выйду в сад,
Посижу на розовом крылечке.
Потоскую, глядя на закат,
Оттого, что друг ушел сердечный.

A. Величковский

ОСНОВОПОЛОЖНИК И ЗАВЕРШИТЕЛЬ СОЦРЕАЛИЗМА

ГОРЬКИЙ И ШОЛОХОВ

Осенью 1974 года в Париже вышла книга «Стремя Тихого Дона» с предисловием Солженицина. Ее автор — анонимный литературовед — приводит веские доказательства, что Шолохов — этот «корифей» советской литературы и лауреат Нобелевской премии — не мог сам написать тот роман, который принес ему международную известность. Шолохов присвоил себе чужой труд. Литературовед предполагает, что подлинным автором «Тихого Дона» был донской казак, писатель Федор Крюков, погибший в Белой Армии во время гражданской войны.

Это разоблачение не только характеризует личность одного из самых известных советских писателей, но также иллюстрирует полную зависимость литературы от политбюро партии, которая создает репутации писателей и присваивает им произведения написанные другими. Плагиат Шолохова был бы немыслим вне контекста со школой известной под именем «социалистического реализма». Основание для нее было положено Горьким, Шолохов только завершил ее эволюцию.

Русская классическая литература, начавшаяся с Ломоносова и Державина и кончившаяся уже в эмиграции Буниным и Зайцевым была многогранна. Она дала примеры и требовательного реализма и красочного романтизма и пророческого символизма. Среди ее творцов были люди разных философских и религиозных взглядов, верующие и сомневающиеся, мистики и рационалисты, но у всех была одна объединяющая черта: это были честные люди, искавшие правду и писавшие в согласии со своими убеждениями. Ни желание заслужить одобрение власти имущих, ни материальные выгоды не влияли на их мировоззрение. «Продажные перья» считались несовместимы с высоким званием писателя — учителя жизни. Русские классики не запятнали себя компромиссом со своей совестью.

Иным путем пошла советская литература. Ее авторы были принуждены подчиниться идеологии, выработанной партийной бюрократией, и любое отклонение от нее грозило тяжелыми последствиями. Решающую роль в этой резкой перемене курса сыграл самый известный из примкнувших к большевикам писателей Алексей Пешков — «Максим Горький». Он стал идеологом социалистического реализма, учителем и вдохновителем этого направления.

Искусство часто носит в себе пророческое откровение будущего. Не случайно, что именно Горький стал во главе советской литературы. Его дореволюционное творчество составляет как бы пролог к ленинизму, предвосхищает ту атмосферу обмана, которая как густой туман окутала всю страну со временем установления советской власти. Горький был предтечей Ленина. Как ни отличны были их характеры и дарования, они были органически связаны друг с другом. Оба они были воинствующие безбожники, вся их деятельность находила свое оправдание в их стихийном желании разрушить тот сложный и таинственный мир, который окружает человечество. Они стремились построить вместо него такой строй, который будет всецело понятен и подвластен человеку.

Как Ленин, так и Горький были прирожденными демагогами. Ленин в политике достиг совершенства в умении одурачивания масс несбыточными обещаниями, Горький в литературе проявил редкую способность обманывать читателей мнимым реализмом своих героев.

Среди русских писателей было много сложных личностей, но ни один из них не был скроен из стольких контрастов, как первый прославленный писатель, вышедший из недр, якобы, «пролетариата». В Горьком причудливо сочетались черты человека XIX века — жалостливого гуманиста, слепо веровавшего в прогресс и науку, с представителем страшной эпохи классовой, беспощадной борьбы, застенков чека, лагерей пыток и смерти. Человек цельный не мог бы совместить эти два мира, но Горький был способен жить в них обоих одновременно. Он наверно сам часто не знал, когда он был самим собою и когда играл роль взятую на себя, которую все привыкли считать его подлинной природой. Отсюда и рождались его фальшь и претенциозность, которые окружали всю его жизнь. Таким был

обличительный псевдоним, выбранный им, и его черная рубашка, и манера держать себя в обществе, и его презрение к «мещанству» и смелые призывы «буревестника» не страшиться крови и разрушений.

Появление Горького в столичных литературных кругах было сенсационно. Ни один из русских писателей не имел такого головокружительного успеха с самого начала своей карьеры, как этот необычайный поволжский «босяк» из Нижнего Новгорода. Этот успех становится понятным на фоне настроений интеллигенции царивших в последние десятилетия империи.

Девяностые годы были тусклым и серым предутренником начинавшегося в XX веке возрождения. Атеизм и позитивизм все еще царили в широких кругах интеллигенции. Однако они уже теряли свою новизну. Жить было скучно. Обезбоженный мир полинял и лишился своих красок и звуков. Кроме того, в сознании радикальной интеллигенции назревал глубокий кризис. Более полустолетия она отдавалась культу «народа» — крестьянства. Она верила, что стоит растолковать мужику революционную азбуку и произойдет переворот и воцарится всеобщее равенство и свобода.

В конце XIX века крестьянство стало более грамотным и обеспеченным. По мере своего самоутверждения оно все меньше проявляло желание идти на поводу у «бар», будь то земские начальники или студенты-революционеры. Крестьяне, вопреки мнению интеллигенции, оказались собственниками, мировой коммунизм и планы спасения человечества были вне их интересов. Выход из создавшегося положения был однако найден. Выяснилось, что искомый спаситель мира совсем был не крестьянин, а пролетарий. Бездомный, обозленный, безжалостно эксплуатируемый капиталистами и другими кровопийцами, он должен был разрушить сгнивший строй и создать социалистическое бесклассовое общество т.е. «земной рай». Но тут возникла трудность, где искать этого столь обещающего борца за справедливость? С крестьянством русская литература была хорошо знакома, но пролетарий был новым социальным явлением, для которого еще не было найдено даже русское имя. Столичные радикалы бросились на поиски будущих благодетелей. Как раз в это время начавшегося увлечения марксизмом и

появился на сцене писатель-самородок, представитель пролетариата — Горький. Все в нем приводило в восторг его поклонников. Он не только соответствовал образу пролетария созданному интеллигенцией, но даже во многом превосходил ее. Горького не надо было просвещать атеизмом, он сам был безбожником и знал, что люди «выдумали Бога» и что религия одурманивает народ. В нем не надо было подрывать уважение к авторитетам, он не признавал законов ни божеских, ни человеческих. В то же время он не был циник, он горел желанием пробудить человечество, поднять его на борьбу с пристениелями.

Когда Горький лучше освоился с новой для него обстановкой, он примкнул к партии большевиков и, таким образом, закончил свое политическое образование в полном согласии с программой принятой в революционных социал-демократических кругах. Он вошел в ряды бойцов против царизма, поднял красное знамя воинствующего безбожника от имени того класса, которому «непрекаемые законы истории» обеспечивали полную победу над всеми врагами человеческого счастья и свободы.

Русская литература всегда обличала пороки русской действительности, призывала к справедливости, искала путей к лучшему будущему. С появлением Горького в ней зазвучали новые звуки. Горький не только бичевал старый уклад жизни, он претендовал, олицетворять тот порядок, который должен был прийти на смену обветшавшему миру. В этом и заключался подлог, который не был замечен его почитателями. Горький был талантлив, наблюдателен, он знакомил своих читателей с раньше мало известной им средой. Но в действительности сам он принадлежал не к пролетариату, а к новому быстро растущему классу, полуинтеллигенции,циальному и даже враждебному как рабочим, так и всем другим классам. Меньше всего полуинтеллигенция обладала цельностью и держаниями, о которых с таким увлечением повествовал ее романтический певец, и была еще больше оторвана от истоков русской жизни, чем презираемая Горьким «буржуазная интеллигенция». Она свысока смотрела на темное крестьянство и вместе с тем боялась его; не знала и не ценила прошлого своей родины; отвергала церковь. Полуинтеллигенция старалась под-

ражать высшим классам, мечтая подняться до их материального уровня и в то же время, завидуя им, горела желанием их уничтожить.

Именно ее представители с энтузиазмом отозвались на призыв Ленина «грабить награбленное». Из полуинтеллигенции он набрал своих самых верных помощников, составивших первые кадры советской бюрократии. Этот новый правящий класс жестоко расправился с крестьянством и в первые же годы советской власти стал порывать с прошлым России, переименовывая города и улицы, уничтожая национальные святыни, запрещая соблюдать обряды и обычаи, характерные для русской народной культуры.

Когда в конце XIX века Горького приветствовали в салонах Петербурга, как вестника новой, грядущей России, обреченная на уничтожение интеллигенция правильно предугадала, что она встречает в его лице тех, в руках которых окажется власть над страной. Только одного не предвидели столичные либералы: «буревестник» нес русскому народу не освобождение, а рабство, не уничтожение государственного гнета, а его безмерное усиление.

Таково было двусмысленное положение Горького в литературных кругах дореволюционной России.

Установление Ленинской диктатуры поставило перед Горьким и другими представителями атеистического гуманизма труднейший вопрос об их отношении к красному террору. Одни из них вернулись к христианскому мировоззрению, многие отошли от политики и замкнулись в сфере личных и профессиональных интересов. Оказались среди них и циники-оппортунисты, которые пошли на службу к новой власти из-за материальных привилегий. Горький избрал иной, своеобразный путь.

После недолгой попытки протестовать против насилия и жестокости большевиков, он согласился на сотрудничество с Лениным и сделался основоположником социалистического реализма. Вместе с тем он не отрекся от своего гуманизма и на долгое время сохранил свою репутацию «независимого» писателя. Целый ряд черт его характера сделал для него возможным сыграть столь неповторимую роль в истории победы марксизма в России.

Горький был глубоко раздвоенным человеком; отзывчивый к страданию других он был лишен понятий добра и зла; равнодушный к деньгам, он жаждал поклонения и славы. Писатель, описывающий с подробностями русский быт, он населял свои книги надуманными персонажами. Кроме того, у него было необычайное отношение ко всякому виду обмана. Он любил разыгрывать людей, восхищался ловкими жуликами и проходимцами, сам часто лгал из сочувствия к горю других, стараясь утешить их, скрасить неприглядную действительность.*

Еще в начале своей литературной карьеры, в одном из своих рассказов он сравнивает возвышающий обман чика с низменной правдой дятла. Истинный герой пьесы «На дне» — обманщик и фантазер Лука. Ему удается своей ложью хотя бы временно облегчить беспросветную жизнь подонков общества. Горький жалел но не любил людей. Не признавая объективной истины и конечной победы добра, он всю свою жизнь стремился прийти на помощь «страждущему человечеству».

Все эти черты подводят нас к загадке поведения Горького со времени революции, но ее решение можно найти только в предположении, что с начала большевицкого переворота, он потерял веру в утопию земного рая. Нутром художника и «сердцеведа» он наверное понял, что кровавыми руками чекистов нельзя построить царство свободы, счастья и любви. Но он не отшатнулся от коммунизма, который стал для него тем обманом, который облегчает безрадостное земное существование. Сам не веря в него, он отдал свое имя и свой талант на защиту ленинизма. Если бы Горький продолжал верить в коммунизм, у него неизбежно происходили бы столкновения с представителями советской власти, действия которых шли вразрез с их первоначальными обещаниями.

Только этим *неверием* можно объяснить противоречия поступков Горького в советские годы. Гневный обличитель царской власти, он прославлял диктатуру партии; охотно помогавший отдельным жертвам чекистского произвола, он восхищался подвигами Феликса Дзержинского, называя его «че-

* Ходасевич, долго живший у Горького, дает ряд примеров подобного поведения Горького. См. «Современные Записки» № 63, Париж. 1937.

ловеком с золотым сердцем»; готовый проливать слезы со-
страдания, он был другом Генриха Ягоды, палача русского
народа.

Если считать коммунизм иллюзией, то становится неваж-
ным, как поступают чекисты, т.к. они не могут ни приблизить,
ни отсрочить его прихода. Советские властители сразу поняли
ту существенную помощь, которую оказывал им «первый про-
летарский писатель», недаром они и назвали «Горьким» ста-
ринный город Нижний Новгород. И широко использовали его
в деле своей пропаганды. Это сотрудничество, однако, требо-
вало от Горького исполнения все более трудных задач. Одна
из них — посещение Горьким Соловков — описана Солжени-
циным в «Архипелаге Гулаг» (часть III, стр. 61). И я не буду
ее повторять.

Ко времени посещения Горьким Соловков у него уже не
было свободного выбора, он был им невозвратно потерян.
Ему оставалось одно, продолжать лгать. Большевики вознесли
Горького на пьедестал, сделав его оракулом «истины», а на
самом деле он все больше и больше становился жалким рабом,
обязанным писать и говорить лишь то, что ему приказывали
свыше.

Жизнь Горького кончилась трагически. Старый, больной
он делил свои последние дни с компанией наглых и трусливых
чекистов, которые к нему никого из посторонних не про-
пускали. Ходили слухи, что ими он и был в конце концов от-
равлен.

Судьбу своего основателя разделяет и социалистический
реализм. Его представители все больше должны опасаться про-
явления свободного творчества, они все больше принуждены
следовать предписаниям партийной бюрократии и создавать
героев лишенных жизненной правды. Конечно, не всем писате-
лям легкоается такое подчинение. Одни стараются по воз-
можности сохранить свою независимость, другие пишут «в
стол».

Только очень немногим удалось вырваться из этого уду-
шающего круга лжи. «Доктор Живаго» пронесся как порыв
свежего ветра над литературной Россией, но сам автор заплатил
жизнью за свое внутреннее освобождение. Не сломился и

Михаил Булгаков.* Осталась верна себе Анна Ахматова, сгорел на костре своего творчества Осип Мандельштам. Но таких было немногого. Большинство, увы, усердно выполняют полуляемые от начальства заказы. Есть еще и такие, которые убеждают себя, что они свободны в своем творчестве, так как согласно марксизму свобода есть признание необходимости.

Советская литература густо наполнилась писателями приспособленцами и лжецами. И совсем особое место среди них занимает наиболее прославленный Михаил Шолохов. Им завершается тот период литературы, который начался Горьким. На его примере раскрывается сущность социалистического реализма и тот неограниченный контроль над искусством, которого удалось добиться ленинской партии.

Пример Шолохова замечателен во многих отношениях. Тоталитарное государство не только ввело в заблуждение весь мир, приписав второстепенному писателю талантливое произведение, но и санкционировав присвоение Шолоховым идей противоположных тем, которые он сам исповедует.

История Шолоховского plagiatia едва ли будет когда-нибудь раскрыта полностью, но важно помнить, что автором его является советский аппарат. Шолохов только соучастник подлога. Один он не мог бы успешно осуществить его. Слухи о plagiatie возникли ведь вскоре после опубликования романа, но были решительно прекращены партийным заявлением, что распространители этих слухов будут рассматриваться как враги

* Это не совсем так уж верно. Известно, что М. Булгаков в свое время написал в восхваление Сталина пьесу о нем — «Батум». Но восхваление было столь гиперболично, что даже Сталин, прочтя пьесу, запретил ее к постановке, будто бы сказав: — «Так обо мне можно писать только после смерти». А. Ахматова, конечно, «осталась верна себе», но ведь и она была вынуждена опубликовать довольно страшный цикл стихов «Слава миру»: «И благодарного народа Он слышит голос: «Мы пришли / Сказать, где Stalin — там свобода / Мир и величие земли /». И Пастернак, увы, был вынужден писать в том же ключе: «И Ленин и Stalin и эти стихи». И бедный, затравленный, несчастный Мандельштам пытался в отчаяньи писать какую-то «Оду» Stalinu. Обо всем этом мы упоминаем отнюдь, конечно, не в укор этим нашим прекрасным писателям, а только, как указание на сверхчеловеческую невыносимость гнета партийного «соцреализма». Р. Г.

диктатуры пролетариата, а так как сам Сталин объявил Шолохова великим писателем, всем стало понятно к чему могли бы привести споры с «отцом народов». Шолохов же оправдал возложенные на него надежды. Он верно служит тем, кто его прославил. Нет более рьяного защитника удушения свободы, чем этот псевдоавтор «Тихого Дона», романа воспевающего вольнолюбивое казачество. Когда шла коллективизация Шолохов по партийной директиве дал «Поднятую целину», а во время Второй Мировой Войны издал книгу с подходящим названием «Наука Ненависти». Советский Нобелевский лауреат оказался охвачен ненавистью ко всем инакомыслящим и ко всем защитникам свободы человека.

Ненависть связана со своим неотлучным спутником — страхом, и он наверное хорошо известен этому счастливому обладателю всех возможных материальных благ, которыми так щедро одарила его любимая партия. Советская власть может лишить любого писателя возможности печатать свои произведения, она может послать его в исправительный лагерь, заключить в психиатрическую лечебницу. Шолохова же она может покарать еще сильнее — она может объявить, что он украл свой главный роман. В этом его судьба отлична от других подневольных авторов.

За последнее время стали появляться признаки, что в России намечаются сдвиги, появляются новые течения. Атеистический гуманизм начинает разлагаться. Сторонники ленинизма не нуждаются больше в слезах «Горького», защитники же прав человека постепенно приходят к выводу, что подлинный гуманизм требует возвращения к христианскому сознанию. Борьба с насилием и ложью неотделима от духовного преображения личности, от ее укрепления через общение с вечным источником истины и любви. Призыв Солженицина перестать лгать предполагает готовность идти на подвиг и самопожертвование, а на него редко способен человек предоставленный самому себе. Приближаются сроки. Советский строй созданный Лениным и прославленный Горьким подошел к рубежу. Как и все современное человечество люди, населяющие бывшую Российскую Империю стоят перед выбором между Богочеловеком и ими же обоготовленным человечеством, мечтающим о рае на земле.

Николай Зернов, Оксфорд, 1975



Пусть иной из поэтов
Что затворник живет,
В одиночестве этом
О себе лишь поет.

Никогда одиночкой
Не останется он,
В ком-то, строчка за строчкой,
Он всегда отражен.

Вот и бродят по свету,
От души до души,
Из копилки поэта
Золотые гроши.

И поэту известно,
Что он чей-то двойник,
Что он в ком-то безвестном
Повторенным возник.

И награда поэту
За творимое им
В том, что где-нибудь это
Пригодится другим.



Те очень нежные слова
Что ты когда-то мне сказала,
Не все, а иногда едва
Скупая память удержала.

Их было много. Столько есть
На площади Святого Марка
Ленивых горлиц и не счесть
Участниц этого подарка.

Вот так-же не пересказать
И не запомнить без ошибки
То, что успела ты сказать
Сквозь смех, сквозь слезы, сквозь улыбки.

Но все-таки порой еще
Меня твой голос догоняет
Венецианской на плечо
Внезапно горлицей взлетает.

И слышу снова, что едва
Еще возможным мне казалось,
Те очень нежные слова,
Что ты когда-то мне сказала.

Дм. Кленовский, сентябрь 1975 г.

ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА

В течение многих лет я периодически записываю мысли и впечатления, имеющие отношение к искусству. Именно — «имеющие отношение», так как к эстетике и теории искусства у меня всегда было какое-то предубеждение. Мне всегда казалось, что так называемая «тайна искусства» лучше всего объяснена в следующем.

Адам и Ева были изгнаны из рая и стали смертны. Но они сохранили в себе память и тоску по утерянному раю. Эта тоска заставляет нас, потомков, фиксировать образы окружающего мира, стараясь сохранить их «для вечности», чтобы таким образом самим к ней приобщиться. Именно поэтому изображение предмета, ландшафта или живого существа вызывает у нас радость. «Похоже!», «Как живой!». И мы знаем — это останется надолго, во всяком случае переживет нас.

Радость подражания природе есть радость воссоединения и радость постоянства. Она — один из «китов», на которых зиждется искусство.

Есть у человека и другой инстинкт, противоположный, но тоже идущий от грехопадения. Это — инстинкт богочестия. Ведь прародители наши отведали запретного плода от древа познания, «чтобы стать как боги».

Желание перекроить мир, разложить его на элементы и собрать по-новому, по-своему, стать творцами «своего мира» — этот инстинкт лежит в основе многих художественных держаний, особенно в эстетической революции последних ста с лишним лет.

Между этими двумя полюсами — подражанием и нововторчеством, колеблется полный тайн мир искусства. Ему нет конца.

Когда художник с досадой бросает кисть, «дойдя до точки», или когда нет под рукой ни кисти, ни карандаша, некоторые ощущения складываются в уме словами. А иногда искусство возвращает невоплотившиеся картины в форме слов.

Нижеследующие заметки — как раз такие куски неродившихся образов и не обретших живописную форму ощущений.

ЛЮДИ С НЕЧИЩЕННЫМИ БОТИНКАМИ

В толпе они встречаются не часто. Скорее всего их заместишь в зале ожидания автобусного вокзала, в недорогих кафетериях, на скамейках парков. Обычно они прилично одеты, но одежда их, не будучи грязной, не производит впечатление чистой. Она неярких цветов и неопределенного покроя. Если у них шляпы, то они всегда самого среднего, невыразительного покроя, «без перышек». А лица — лица не злые и не добрые, не красивые и не уродливые. Взгляд сосредоточенный, но не пристальный.

Было, конечно, время, когда они выглядели иначе. Когда были моложе. У людей с нечищенными ботинками складки одежды ложатся по-другому, чем у всех других. Они никогда не причудливы, не ломаются зигзагом, не падают свободными линиями. Они монотонны в изгибах и как бы повторяют скучные, неторопливые движения своих носителей.

Время людей с нечищенными ботинками измеряется простыми, круглыми часами с обыкновенными циферблатами. И в такт этим часам бьются и сердца их — глуховато, не мелодично.

Я люблю рисовать таких людей. Они не разрушают плоскости жизни, они компонуются на бумаге с такой же легкостью, как компонуются холмы, подъемы и спуски слегка пересеченной местности — нечищенной Богом природы.



В обеденный перерыв рисую бродяг в зале ожидания вокзала Грэнд Сентрал. В холодную погоду у них там собираются. Все типы. Худые и толстые, корявые и вздутые, заросшие щетиной, в длинных пальто, в коротеньких куртках. А обувь — тут и теннисные туфельки, и рабочие сапожищи, и видавшие лучшие дни штиблеты. Или просто ботинки совершенно неопределенного фасона и цвета — ботинки бедного человека. Но самое выразительное у бродяг — это шляпы, вернее, если употребить современный термин — головные уборы.

Шапки, шляпы, кепки, картузы, вязаные шапочки с пом-

поном или даже завязанный узелком чулок, нацепленный на голову.

Мне всегда казалось, что из носимых человеком одежд только шляпы и обувь по-настоящему характерны и неповторимы. Даже больше — они как-то преломляют и экспрессионистически выявляют характер их носителя. Мой старый разношерстий ботинок совсем другой, чем твой. Их «лица» так же непохожи, как и наши. У них разные биографии, разный опыт, разные несчастья. Когда-нибудь надо написать эссе — «экспрессионизм носимых вещей» или «психология обуви и метафизика шляпы».

Не знаю, всегда ли художник любит искусство *больше* всего, больше жены, детей. Думаю — нет. Но в искусстве художник обретает особую *интимность* с жизнью, которой у него нет ни с кем. В этом сила и «яд» искусства.

У искусства есть своя книга Бытия.

«В начале было Желание, и Желание было от Бога. Желание стало Действием. Древний человек взял кусок камня и выскреб на стене очертание животного. Отсюда пошло все искусство».



Как хорошо, как спасительно чувствовать, что жизнь, формы природы и состояния естеств с годами становятся все таинственнее. Да, да, жизнь с годами становится таинственнее — в этом ее извечный соблазн. И соблазн искусства.



По улице идут люди. Как это хорошо. Они несут в себе свои страсти и свои болезни, свои надежды и отчаяния. И все это, запрятанное в их тела, выступает наружу в форме локтей и колен, в походке, в повороте головы. Вот истоки моих картин.

СЛЕЗЫ ИСКУССТВА

По словам Пьера Шнейдера (Нью-Йорк Таймс, статья «Paris: Youthful Creativity is in Retreat», October 23, 1973) искусство, перестав служить королям и богам, стало независимым и проблематичным. Художники поступили подобно де-

там, пожелавшим узнать, а что же находится внутри куклы: они разобрали искусство на части, а потом стали этими частями манипулировать отдельно: цвет, линии, форма, соотношения, содержание и т.д. Но эти отдельные элементы, по его мнению, теряют смысл, если они не относятся к большему целому.

Мысль Шнейдера во многом верна. Но он забыл, что художники, перестав служить королям и богам, и оставшись наедине с самими собой, создали искусство, которого *никогда до того не было* — искусство сугубо личных проблем, абсолютно независимое от кого-либо. Каким королям и богам могли бы служить Пауль Клее или Василий Кандинский? Разве допущены были в цех св. Луки бедные Ван Гог и Сезанн?

О, да, искусство заплатило горькой ценой за свободу от заказчиков — оно потеряло социальную функцию, потеряло направление, спокойствие, духовную целостность. Оно замкнулось в себе и стало чудачить. И в этом чудачестве зазвучал крик отчаяния, озлобленность, цинизм, абсурд, но также наивная надежда на чудо и планы спасения.

Лучше ли это? Не знаю. Но слезы, муки, отчаянные поиски себя не могут не оставить следа чистого и добротворного. Многие грехи простятся современным художникам за их страдания.

Все наблюдаю «оконные жизни». В минутном появлении человека в окне есть что-то очень серьезное. Рама окна обрисовывает его отдельность, обособленность. Человек в окне сугубо экзистенциален. Он существует по всем современным философским правилам. Он достаточно «остранен», близок, далек, абсурден и т.д.

Видел утром «мужчину в белой майке». Всего секунд десять, но вполне законченное появление, завязка, кульминационный пункт, развязка. Потом, в другом окне — женщина и маленький мальчик, положивший подбородок на подоконник. Женщина — нечесанная, со сна, в рубашке. Самое замечательное в ее появлении было то, что переплет рамы закрывал ей глаза. Она была безглаза и безлика, а потому таинственна и трижды экзистенциальна.

В локтях, шеях и коленях, в кистях рук и ступнях ног заложено состояние момента человеческой жизни. («Состояние момента» — выражение моего первого учителя живописи,

хромого Балашова. Было это еще в Ленинграде. Где-то он? Говорил коряво, но верно.)

Это в пятках и пальцах состояние? А как же. От выражения лица, от глаз струится через шею, лопатки, таз и колени линия жизни. Не по руке ее читаем, а по телу.



Вечерами потихоньку рисую вечный Бродвей, где все вместе и все врозь. Правы проклятые аналитики — мы все никогда не были физически так близки друг к другу и никогда не были так пустынно далеки. Какое счастье, когда сквозь затопевшее, замерзшее окно вселенной вдруг продышишь пятно и с другой стороны этого окна увидишь приплюснутый нос твоего ближнего, который тоже дышал и отогревал зимние узоры со своей стороны. — «Здравствуй, братец!»

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Место действия — ателье графики, где работаю. Собралась вся компания — босс и мы, художники. Рождественский стол и даже бутыль шампанского. Время — часов двенадцать дня. Говорим об искусстве, беспредметной живописи, о влиянии науки на искусство.

Появляется почтальон, всегда разносящий почту в нашем квартале. Усаживаем за стол, угожаем. Старик не отказывается. Наш разговор об искусстве продолжается. Почтальон внимательно слушает, а потом начинает говорить. Передаю приблизительно:

«Вы вот говорите, что в беспредметном искусстве нет образа. Конечно. Вот вам простой пример — стиральная машина. Кладете белье — вот рубашка лежит, вот полотенце. Все видно. А потом машина начинает вертеться, и что же вы видите — одна белая масса, разобрать ничего нельзя. Так и человек — чем больше вертится, тем больше теряет лицо. Человек сам себя разрушает. Это и в Библии сказано. Я ведь в воскресной школе преподавал в свое время».



Простой вопрос: почему я рисую гротески? «Почему это у вас, Сергей Львович, все такие... ну, знаете, странные люди! (Кхи!) Вроде как бы (кхи!) уроды!»

С детства любил рисовать рожи. Почему? У Фрейда спросите!

Кроме того, люблю зверей. Раньше часто ходил в зоопарк и долго рассматривал разных животных. Обонял странные и едкие их запахи. Смотрел им в глаза. Все они разные. У многих причудливая форма. Рога с завитками. Длинные уши. Косматые гривы. Или неожиданно грациозные, изысканно красивые тела.

Вид их всегда вызывал и вызывает во мне какое-то особое умиление. Какие странные, даже уродливые формы наряду с красотой, какое разнообразие их животных жизней, инстинктов, страхов!

Такое же «умиление» вызывает у меня человеческое тело. Делая наброски с натуры, наблюдая за потоком людей на улице, изучая людей на скамейках парка, я всегда поражался и буду поражаться разнообразию форм человеческого тела.

Ноги иксом, ноги колесом, толстые и худые тела, костиистые или пухлые колени, острые лопатки, узловатые суставы — Боже, как все разно! И так же как у зверей — у людей разнообразие семейств, пород и видов. И вот именно это разнообразие и есть жизнь, любовь, приятие.

ИСПАНСКИЕ И ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЗАМЕТКИ

Остановиться на ночь в южном городе — это то же, что познать женщину «в библейском смысле». Шорохи и запахи ночи, таинственные шумы. Биение собственного сердца.

А приехать утром и уехать вечером — это так, поздороваться, попрощаться.

Провинциальная Испания полна ласточек, голубей и спящих псов.

Малага, музей Изящных искусств. Здесь, как и во всех маленьких испанских музеях, один Рибера, один Зурбаран, один Моралес. А потом *Pintor de Malaga, pintor de Valencia*.

Мой гид, музейный старичок, старался объяснить мне, не говоря о по-испански, смысл картин. Перед «Поклонением волхвов» молитвенно складывал руки и восклицал: — «*Una adoracion!*»

Перед батальной сценой хмурил брови: — «*Una batalia!*» Объяснял каждого святого: «*Santiago*» — (серезное лицо) *San Pedro!* — (решимость).

Была там, конечно, целая вереница комнат, посвященных живописи 19-го века. Звезда среди художников этого столетия Sorolla, но интересны и Simonet и Nogales. Это — испанские Крамские. У Simonet есть картина «Анатомия». В морге лежит труп прекрасной молодой женщины. Обнажена одна грудь (так изящнее), свесилась вниз мертвая рука (очень грациозно). Рот полуоткрыт, где нужно, изящно брошена материя. Над трупом стоит седовласый профессор и держит в руке... сердце женщины. (Он только что сделал вскрытие.) Задумайся, о зритель!

Когда говорят, что современное искусство «бездушно», что «человека в нем убили» и т.д., то следует вспомнить все эти мелодраматические картины викторианских времен. Откуда появилась эта мещанская сентиментальность? И ведь не только в провинциальной Испании прошлого века, но и в Англии, Германии. И, конечно уж, в России. Подумать только — в одно время с «Бесами», «Братьями Карамазовыми», «Анной Карениной» рождались «Незнакомки», «Вдовушки», картины с пьянецкими мастеровыми и чиновниками, сусальные полотна из русской истории. Почему такая пропасть между литературой, музыкой и — живописью?

Тут, думается, еще одна из бесконечных тайн искусства. Живописцу нужно совсем другое зрение и другой слух, чем писателю или музыканту. И страдание видит он в других образах, в иной форме.

В Португалии много белокожих брюнетов вдохновенно-религиозного типа. А другие — цыгане, бандиты, смуглые. Многие рыбачки (средних лет) похожи на боярынь Морозовых. Тот же трагически-бабий тип.



На всей южной европейской культуре сейчас лежит грусть. Следующая жертва грусти — англосаксы. Буйнят и хохочут, как всегда, варвары — негры, порториканцы, отчасти русские, отчасти американцы.



Снова был на рынке, а потом зашел пообедать в ресторанчик. Летают мухи. На крючке под потолком висит большой темно-коричневый копченый окорок. Обедают рабочие люди,

простые. Подали мне жареную рыбку, графин кислайшего теплого вина и апельсины.

Сидел я недалеко от двери. День жаркий с приятным иногда дуновением ветерка. Это-то дуновение и принесло вдруг, под рыбку, крепкий запах конского навоза и лошади — с рынка напротив. Странно — совсем не противно. Живая, естественная вонь, не газолин, не химия, не гнойные отбросы цивилизации. Просто жизнью понесло...



Солнце, море, рыба. Тление и мухи. Улыбка девушки. Плач ребенка. Тусклый взгляд старухи. И снова солнце, цветущие деревья и т.д. Бесконечный цикл жизни.

На севере, помимо тонкости, интеллектуальности, повышенного эротизма и пытливости ума (и еще многих драгоценнейших и умнейших качеств, о которых писать слишком сложно и длинно) наблюдается какая-то отрывчатость. Жизни стоят вершинами, утесами, не вписываясь в ландшафт. Не потому ли, согласно *Wolflin'у*, античный мир не дробил форму, не вдавался в детали, сохранял текучесть формы, в то время как Север искал характера, детали. Все на Севере «стоит ежом», на Юге же «колышется бархатным цветом».

Юг — круг. Север — угловат. Юг — день. Север — вечер, ночь. И психика другая.



Все думаю о ритмах. Если сочетать figurativность с присущим всему живому *ритмом* — то ведь, пожалуй, и правильно будет. Форма — один из аспектов ритма. «Ритм — а он, гляди, весь телом оброс!» — вот формула.



Утром в музее Прадо снова думал о том, как много в религиозной живописи Италии и Испании — крови. В немецкой и фламандской живописи крови меньше. Есть ужасы, муки, демоны, но именно крови, простой, красной, текущей — меньше. Мне кажется, это — средиземноморское явление. Рождение и смерть, кровь, муки, кормящие груди и черепа с костями — все образует круг, все — в цикле жизни.

Германцы и славяне — иные. Они замысловатые, вопрошающие. Вообще, все черти, ведьмы, вся нечисть — на Севере. А кикиморы и шишиморы наши — Боже, как это не-солнечно, болотно, вязко! Что было бы, если бы греки не спасли нас!



Мой старый профессор — немец, еще в Мюнхене, с укоризной говорил мне: «У вас — иллюстративная жилка». И брезгливо морщился. И я падал духом, понимая, что иллюстративность есть блуд. Надо беречь себя для чистого, серьезного искусства, как девушка бережет себя для брака. А я блудил. Возьму, да и схвачу временное, преходящее, гротескное, не-монументальное. Это — профессору не показывал, а писал композиции фигур с монументальными ножищами классической формы и пустыми жестами. И только здесь, в Америке, на вонючих скамейках Бауэри и Бродвея, рисуя спящих пьяных и бродяг, я «нашел себя», т.е. махнул рукой и перестал стыдиться гротеска, иллюстративности и прочего. И не только профессор не стоял за мной, но и здешнее влияние абстракционистов не действовало.

В Америку я попал в самый расцвет абстрактного экспрессионизма, и в одной группе художников на меня явно смотрели как на мальчика, все еще играющего в солдатики (фигурные композиции), в то время как они, «взрослые», занимались вещами серьезными — соотношением цветовых плоскостей, напряжениями линий и т.д.

Но я уже знал, что правда в искусстве подобна одной забавной истории в старом английском фильме. Комический слуга-негр рассказывает: «Было нас у матери 12 человек детей, а отцы-то у всех разные. Но мать всегда говорила нам — пусть это вас не смущает, дети, ибо у всех нас — только один отец — Отец Небесный».

От каких бы «отцов» ни шел художник он всегда может прийти к искусству единственному, т.е. к той художественности, которую не определить ни словом, ни описанием, которая может находиться в самых разнороднейших и невозможнейших проявлениях творчества. Которая появляется так же неожиданно, как и (увы) исчезает.

Понимание искусства лучше всего сравнить с тем таин-

ственным знанием, которым обладает даже совершенно «темный», неграмотный крестьянин или охотник. По тому, как закричит ночная птица, он знает, какой зверь крадется по лесу. По шороху листвы определит скорый дождь, по форме облаков — завтрашнюю погоду.

Так же чувствует искусство работающий художник.

А история искусства, эстетика так же относятся к этому эмпирическому знанию, как геология и метеорология — к интимному, таинственному миру человека, живущего в природе.



Эмоциональная и литературная сторона картины может захватить зрителя так же, как захватывает песня. Менее броские достоинства картины, ее формальные и духовные качества, не захватывают. Они наполняют зрителя более спокойной, но зато и более насыщенной радостью. Склонность русского человека к эмоциональной, рассказочной живописи объясняется извечным русским «антропоцентризмом». Ведь и в философии для нас главное — назначение человека и смысл жизни, а не «весь в себе» и т.д.

На улице дождь, серо-синяя мгла. На противоположной стороне улицы несколько освещенных окон на разных этажах. В каждом из них — своя жизнь, своя судьба группы людей. Мелькает спина женщины, обнаженная рука подымает штору. Девочка пьет что-то из стакана. Мальчик при克莱ился носом к стеклу и смотрит вниз на мокрую улицу.

Как у Ярошенки — «Всюду жизнь».

А happening! — сказал бы художник поп-арт.

Вечером снова наблюдал за окнами. В одном из них молодая женщина баюкала на руках младенца. Тот, повидимому, не унимался, и она дала ему грудь.

У Ивана Елагина:

«Снова смерть дала мне повод
Убедиться и понять,
Что земную жизнь, как провод
Надо где-то заземлять».

В этом окне и «заземлялась жизнь» через грудь матери в ротик младенца. А я стоял — «незаземленный». Потом по-

дошел к этюднику, выдавил на палитру немного краски. С улыбкой смотрел, как лезет цветная струйка краски. Вот мое «заземление».

Думал о ритме как дисциплине жеста, действия, даже образа жизни. Примитивные народы обладают наиболее развитым чувством ритма. В нем укладываются их стихийные энергии. Без него они пропали бы. У культурного человека — внутренний ритм. Физический ритм в загоне. Не потому ли все наши тончайшие интеллигенты и интеллектуалы физически так часто неуклюжи?



Одно из самых явных «художественных крушений» нашего века, несомненно — крах кубизма. Хотели упростить и разложить, обрадовавшись как дети. Разложили, упростили, но кубики, из которых сложили неприхотливое здание, развалились и даже закатились «под диван истории», под которым только изредка чистят.

А Матиссу всегда было плевать на кубизм! Пережил и кубизм, и две страшнейшие мировые войны... и что же отображал? Цветы, интерьеры и женщин. Уже этой одной неподатливостью он велик!



Поезд был набит. Я с интересом рассматривал публику. Не так часто приходится в течение трех с лишним часов, при полной свежести и незанятости (накануне хорошо выспался) всматриваться в людей. Понял Бунина, то есть его острую физиологическую наблюдательность. Передо мной сидела семья — отец, мать и девица лет 18-20-ти. На их чемоданах были наклейки «Панама Лайн», поэтому, очевидно, вспомнился «Господин из Сан-Франциско».

Отец лет 50-ти, брюнет, очень худой, заросший волосами, с корявым большеротым лицом и нависшими бровями. Руки в жилах, кисточки волос на пальцах. Дочь — в отца, с узкими костистыми бедрами, худыми руками и тонкой шеей. Лицо — папенькино, но смягченное полом и молодостью. Голова огурцом, щеки в прыщах, прямые темные волосы.

Мать — из всех наиболее миловидная, высокого роста с

седеющими каштановыми волосами, мелкими, но приятными чертами лица — англо-саксонского типа.

Семья долго возилась и устраивалась. Дочь часто бегала в уборную и чихала. Отец поправлял чемоданы. Мать, наиболее спокойная, или дремала, или перелистывала какой-то дамский журнальчик. Время от времени семья подымалась, о чем-то советовалась, тихо спорила (у отца на лице — нетерпение и легкое раздражение), потом все успокаивались, улыбались и заваливались в откидные кресла поезда. Во время этого вставания и пересаживания успел заметить их фигуры — тощую — дочери, худой зад отца, полный, стареющий торс жены. Тут-то и нашло «буинское» — физиологическое наблюдение. Сматря на физический тип мужа и жены, представляя себе характер их любовных ласк, их 20-25 летнюю супружескую жизнь, сначала в квартире (и обстановка!), затем, конечно, в собственном доме, характер их сна, пробуждения, их веселья, границы их сексуального бесстыдства, поведение жены, мужа. Иными словами, атмосферу их физической и эмоциональной жизни, «запах семьи». Примиренная удовлетворенность жены, приглушенное озлобление и досада мужа, «голод» дочери, которая хуже матери и как человек, и как женщина.

В моих замученных темперах, в гротеске и несвязанности одним действием — ведь это всегда хотел передать. Цельность физического и духовного во всех этих худых и полных, бледных, загорелых, волосатых и прыщавых телах. «Запахи» и жесты их жизней.

Если лицо — «зеркало души», то тело — зеркало жизненного «состояния» человека, его экзистенциональной сущности, его положения в мире по отношению ко всем формам, живым и неодушевленным. Тело гораздо ближе к мироощущению. Как важно в портрете видеть часть затылка. Полный «ан фас» слишком оторван от тела. Поэтому-то три четверти — излюбленное положение головы для портрета. Поясной портрет еще ближе к истине. А лучше всего — во весь рост. Голова и тело.



Сегодня в музее наклонялся к картинкам и следил глазом за движением кисти, писавшей 300-400 лет тому назад. И движения невидимо повторялись передо мной. Казалось, что они, ушедшие, допускают меня до себя.

ВСТРЕЧА

В Академии художеств в Мюнхене профессор задал нам как-то тему для композиции «Встреча». Время было послевоенное — 1947 год. Ну, и мы все накатали картины «с чувством» — сын возвращается из плена, муж находит семью и т.д. Только один студент написал стул, стоящий на полу в пустой комнате. На недоуменный вопрос профессора, что это значит, он ответил: «Здесь есть встреча. Ножки стула встречаются с плоскостью пола». Профессор был шокирован, а мы посмеивались: «Остряк!».

Теперь, много лет спустя, понимаю, что в картине студента «что-то было». Не анекдотическое, не формально-абстрактное, а какая-то... бесповоротность эмоциональная. Как удар колокола, как стук молотка, забивающего гвоздь, как звон тарелки, швырнутой о стенку, как судорожное, замершее объятие.

Конечно, в этом (насколько помню) довольно коряво написанном стуле ничего подобного буквально выражено не было. Но потенциально было заложено. Так писать можно. А мы смеялись!

Объектом жалости всегда избирал части человеческого тела. Зады не похабны, а бесконечно жалки, трогательны и беззащитны — так же, как тонкие шейки, невинные ушки и височки. Но и толстая, красная шея с валиком жира, лежащего на воротние, такая же «жалостная». Это — апология моего гротеска в живописи.



1966 год. Умер Альберто Джакометти.. В некрологе приводится одна из его фраз: «Из горящего дома я сначала спасу кошку, а потом картину Рембрандта. Жизнь выше искусства». Джакометти безумно любил жизнь, и так же безумно боялся жить, терзаемый страхом смерти, мыслями о самоубийстве и тоской из-за невозможности создать что-либо законченное в скульптуре. Его скульптуры сплющены этим страхом и вытянуты этой тоской.



Как хорошо, что красота может быть добром, а добро совсем не обязательно становиться красотой. Если бы, не дай

Бог, это было так, то все позитивисты, социологи и спасители человечества наложили бы неизгладимый и неисправимый отпечаток на искусство. И это было бы концом искусства.



Как и большинство людей, я оплакиваю свое детство. Я завидую цельности детства. Во взрослой жизни ходишь забинтованный вдоль и поперек. И все подтягиваешь то тут, то там, а то ведь разъедется, развалится все сооружение, сорвется и высыпется все барахло наружу, как из раскрывшегося на улице чемодана. Все — на тротуар! Стыд-то какой! И на самом видном месте, на глазах у всех, отдельно от прочей дряни, окажется какая-нибудь самая нежелательная вещь. Все, конечно, заметят. А убежать нельзя. А если уж убежать, то куда? В себя. И в искусство.

Сергей Голлербах

Полночный остров Молчанья,
Пустынныи берег Забвенья.
Последние тени звуков,
Прощальное эхо света.
Уйдем, собеседник безлюдья!

Сердце, сосуд потемневший,
До краев наполнено ночью.

Оркестры листвы осенней
Затихли и музыка стала
Далекой полночной стаей.
Уйдем, собиратель безмолвий!

Довольно гулять по саду,
Его нет, пойдем поскорее
Домой (куда — неизвестно),
Наследник талого снега,
Приятель тающей тучи,
Плохой переводчик ночи.

Игорь Чиннов



Зимы душа не знает никогда,
Легка, светла в своем нездешнем круге.
Где радуг ослепительные дуги
И небо бирюзовое всегда.

И пусть проходят долгие года,
Пусть за окном поют и плачут выюги, —
Ей не страшны унылые недуги,
Людская неотступная беда...

Лишь иногда, в безмолвии ночей,
Пленительная музыка и пенье
К ней долетает из иных полей,

Тогда рождается странное томленье,
Намек на скорое освобожденье
Из всех земных ловушек и сетей.

ИГРА УГАДЫВАНИЙ

Дракон на кровле, в ярости и муке,
Разъяви пасть глядит на тихий дол...
Халат на мне уютен и тяжел
И в рукава засунув зябко руки,

Спускаюсь в сад. Как много сладкой скуки,
Рыжеют травы, паутины шелк...
Мой старый друг ко мне сейчас пришел, —
Мы были с ним три месяца в разлуке.

Мы сядем рядом, приготовим тушь.
О, эта близость просветлевших душ,
Подобная таинственному мифу,
Схватить высокой мысли чистоту
И начертать, почти что на лету,
Вторую половину иероглифа!

Михаил Волин

ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ МОЛЧИТ

*От видимого, молясь перед работой,
я переходжу к невидимому*

Андрей Рублев

Есть в мастерской художника Алексея Шлиппе большая картина: на переднем плане, вытянувшись на софе, то ли дремлет, то ли — мечтает художник, а за спинкой софы — панорама современного среднего американского городка во всем его своеобразии: разнокалиберные дома немыслимых стилей, высоченные кирпичные трубы каких-то заводишек, католический храм псевдо-готического стиля, превращенный в склад, на стенах домов — рекламные надписи...

Чувство тоски и недоумения вызывает эта картина. А что художник? Что ему оставалось, как не закрыть глаза, не повернуться спиной к довольно неприглядному пейзажу. Художник лежит лицом к зрителю — к неведомому миру, который неизвестно как примет его отчужденность от окружающего. Может, поэтому он и закрыл глаза? Он бос, одинок и очень раним.

Тема отчужденности — модная тема 60-ых годов — не нова: стена между художником и обществом стояла всегда. Отчужденность — эта вечная категория человеческой жизни, как любовь, страдание, смерть. Эта тема у Шлиппе — постоянна на протяжении пятнадцати лет: проблема взаимоотношения художника и окружающего мира тяготит его, становится навязчивой. Это какой-то замкнутый круг, один и тот же сюжет: художник, небрежно одетый в странный коричневый халат, босой, стоит в напряженной позе перед мольбертом. На его широком ассиметричном лице мечтательное и несколько растерянное выражение: то ли он поражен красотой мира, то ли вдруг ощутил пропасть между замыслом, и — тщетностью своих усилий...



Шлиппе — философ в живописи, он весь — под влиянием метафизики и экзистенциализма, но как у каждого настоящего художника его философия далека от ясных формулировок и прокламаций. Она — эклектична, но гуманна, потому что обращена к человеку и ценностям среди которых он живет, полна терпимости и понимания, и — совершенно лишена каких-либо импульсов разрушения, отрицания, радикализма.

Искусство Алексея Шлиппе интеллектуально по своему

характеру, но лишено всякой надуманности, расчета и трюкачества.

Я сидел с Алексеем Федоровичем в его студии, в широкое окно начинал вползать вечер, и большой пейзаж, стоявший на мольберте вдруг тоже стал менять краски, тускнеть — словно живое существо. Шлиппе сказал:

— Когда я начинаю писать, мне кажется, что я бро-
саюсь в воду... Я не знаю куда, в каком направлении
плыву, и есть ли в этом направлении берег...

В наши дни, как никогда раньше, изобразительное искусство стало отраслью большого бизнеса и этот «бизнес» убивает искусство. Вне внимания публики — как никогда — остается много настоявших художников, посвятивших жизнь неблагодарной, иссушающей душу и тело работе — вечной погоне за ускользающий горизонт прекрасного.

Что делает художника художником? Как выделить настоящего художника из этой разношерстной, многоликой и в целом талантливой толпы, что выставляет свою «продукцию» на бесчисленных выставках? Существуют ли какие-то критерии? Да, существуют. Во-первых, — уникальность цветовой палитры. Чем крупнее художник, тем уникальнее его палитра. Цвет и цветовые схемы одно из самых сильных оружий художника. Во-вторых, — оригинальность, в которой художник изображает знакомые нам предметы, события, чувства, другими словами — наш мир. И здесь нужно отличать оригинальность подлинного стиля от подчас искусственной поверхностной стилизации. В-третьих, — техническая новизна, вклад художника в технологию самого искусства. И в-четвертых, — многосторонность, говорящая о широте интересов и позволяющая судить о глубине личности художника.

Искусство Алексея Шлиппе, по-моему, удовлетворяет в значительной степени всем названным критериям. Причина сравнительно небольшой известности Шлиппе не в том, что у него нет почти уникальной цветовой палитры; не в том, что он неоригинален; не в том, что он страдает односторонностью и узостью интересов, или — у него нет технического мастерства. Причина в том, что он остается за пределами большого бизнеса. Он его сознательно избегает. Полная независимость от желания кому-либо понравиться.

— Я рад, — сказал мне как-то Алексей Шлиппе, — если зритель оценивает мою работу... Мне доставляет большое удовлетворение, если кто-нибудь понимает мой замысел и принимает ту форму, в которой он выражен, но это не является целью. Существование искусства лишь тогда оправдано, если оно непримиримо честно. Искусство — не производство живописного товара, а — духовно-эстетический опыт.

Путь к пониманию красоты начался в семье. Алексей Федорович вспоминает характерный случай. После Октябрьской революции семье Шлиппе пришлось покинуть родину и поселиться в Берлине. Алеше было в то время три года. Довольно часто он гулял с матерью возле бывшего королевского дворца. Неподалеку стоял храм, построенный в конце прошлого столетия, и проходя мимо, мать неоднократно говорила:

— Боже, какое уродство!

Алеша не мог понять, почему храм, большой, массивный, с множеством колонн и украшений — «уродство»? Как раз наоборот, храм казался ему красивым.

Много позже, уже взрослым вернувшись в Берлин из Италии, где он провел без малого три года, Алексей проходил по той же улице, и, увидев храм, остановился пораженный:

— Какое чудовище!

Рим научил Алексея Шлиппе красоте.

Алексей Федорович Шлиппе уроженец Москвы, из служилой русской семьи, хорошо знакомой знатокам русской истории конца 19-го — начала 20-го столетия. Он с детства любил рисовать. Дома это поощрялось, хуже обстояло в школе на скучных уроках: педантичный учитель вдруг открывал, что ученик Шлиппе, успехи которого были не всегда удовлетворительны — во время урока занимается рисованием! Учителя казались ему скучными и мир серых цифр и формул заслонял перед ним ярость и неповторимость красок и бесконечную игру форм окружающего мира. В 1933 г. Шлиппе поступил в Берлинскую Академию художеств в класс профессора Эриха Вольфсфельда, ученика знаменитого немецкого реалиста 19-го века Адольфа Менцеля. У Вольфсфельда Шлиппе

пе проучился три года, т.к. профессору пришлось покинуть Академию из-за своего неарийского происхождения. Шлиппе уехал в Рим, изучал старых мастеров, писал храмы, преподавал и перебивался кое-как... Там он увлекся Джотто и Пьеро делла Франческа и полюбил их на всю жизнь. В середине второй мировой войны он вернулся в Германию. Было не до выставок и не до живописи, — но он продолжал писать. Случай свел его с Константином Ивановичем Горбатовым, бывшим профессором Петербургской Академии художеств, крепким колористом, талантливым педагогом и добрым человеком. Если Эрих Вольфсфельд научил Шлиппе тонкостям техники немецкой школы и передаче пленера, то Константин Горбатов открыл Алексею иконопись, истоки русского искусства, уходящие своими корнями в древнюю Новгородскую Русь. Любимой темой Горбатова были русские пейзажи: церкви, колокольни, древние, обнесенные могучими стенами крепости, тихие речки вокруг древних детинцев — старый русский быт.

После войны судьба забросила семью Шлиппе в Бельгию и здесь Алексей попадает в ученики к другому интересному человеку, наложившему отпечаток на все его последующее творчество — профессору Филиппо, куратору и реставратору Брюссельских музеев. Филиппо открыл ему многие секреты старых мастеров, и именно под влиянием работы с ним Алексей выработал основы той техники, которой пользуется сейчас.

В 1951 г. Алексей Шлиппе возвращается в Германию, поселяется в Баварии, в небольшом городке. Зарабатывает на жизнь преподаванием русского языка, а все свободное время отдает живописи. Клод Моне когда-то писал десятки раз из окна своей комнаты Руанский собор — Шлиппе пишет одни и те же дома и деревья из окна своей скромной баварской квартиры. Мне довелось увидеть их: десятки этюдов гуашью и маслом в импрессионистической манере, полных тепла и света — ни один из них не увидел выставки: художник Алексей Шлиппе все еще молчал...

В 1954 году семья Шлиппе переезжает в Америку, и год спустя Алексей становится преподавателем живописи в «Норвич Фри Академи» в городе Норвич, штат Коннектикут. Тут — два года спустя — он нарушает свое молчание: выставляет

картину на фестивале в Бостоне, штат Массачусетс. Но выставляется только чтобы на четыре года замолчать снова.

В 1961 году он снова участвует в Бостонском фестивале: показывает одно «масло по темпере» и — получает награду. Два года спустя его приглашают на кафедру искусств в Коннектикутский штатный университет. Самая подходящая причина, чтобы снова не выставляться два года. В 1965 году он выставляет работу на фестивале искусств Нью-Хэйвена и продолжает свое участие в этих выставках каждый второй год — по одной картине. Тоже самое и на групповых выставках в Сильвер Майн Арт Гилд и — в музее Уадворт Атенеум в столице штата Коннектикут Хартфорде.

Наконец, в 1971 году присходит значительное событие: первая персональная выставка Алексея Шлиппе. Тридцать картин, выставка длилась месяц. Она дала возможность художнику посмотреть на самого себя со стороны. Правда, выставка была не в Америке, а в Мюнхене, в Западной Германии. Но немцы сразу заметили Шлиппе: он был приглашен участвовать в ежегодной Большой летней Мюнхенской выставке в Доме искусств. Вскоре Алексей Шлиппе стал членом «Ново-мюнхенского художественного объединения» — группы, в которой когда-то участвовали два знаменитых наших соотечественника: Василий Кандинский и Алексей Явленинский. В 1975 году Шлиппе был удостоен особой чести: на выставку было принято две его работы — максимум того, что лишь в исключительных случаях разрешает жюри. В марте месяце этого года в городке Симсбэри, штат Коннектикут, в галлереи «Артс Эксклюзив» с успехом прошла первая американская персональная выставка А. Шлиппе.

Любимые цвета Алексея Шлиппе — зеленый, серый, розовый и коричневый. Своебразная палитра. Если краски могут характеризовать личность художника, то упомянутое сочетание говорит о строгой дисциплине, внутренней логике, глубокой склонности живописца к философии. У Шлиппе нет внешнего огня, игры красок. Его картины требуют внимательного изучения, они исподволь вызывают на диалог: верный признак настоящего искусства. Лично я всегда любил картины, написанные густым маслом — живопись Шлиппе тонка, прозрачна, следов кисти почти не видно. Это — от старых мастер-

ров, наверное. Он пользуется водорастворными эмульсиями, которые приготовляет всегда сам: смесь яйца, смолы в скипидаре, льняного масла, мешает пополам с водой, а потом добавляет сухой пигмент. На такую темперу лучше ложится масляная краска, и очень часто удачно употребляется Шлиппе для создания акцента, когда он, скажем, делает блеск глаз: на масляной блестящей прокрайке матовая темпера стоит твердо и определенно. Или, например, розоватая обивка софы — у Шлиппе почему-то обивка всегда розовая — на которой лежат негритянки, приобретает характер тончайшего и дорогостоящего шелка нежных перламутровых оттенков. Эта техника называется «масло по яичной темпере» и встречается не так уж часто, хотя рецепт приготовления красок относится к 14-му веку.

Джотто, Пьero делла Франческа, Андрей Рублев, Феофан Грек, «таможенник» Руссо — вот кто вспоминаются при просмотре картин Шлиппе.

Одно время художник увлекся сюрреализмом в попытках передачи бесконечности, вечной изменяемости и очень часто — видимойalogичности нашего мира. С поразительным техническим мастерством он пишет много картин, тщательности отделки которых могли бы позавидовать и старые мастера. Очень характерной для этого периода является картина «Мужчина и женщина», находящаяся в одной из частных коллекций Мюнхена. В левой части картины — фигура стоящей женщины. Ее массивные и довольно условные формы окружены тесно продолговатой сферой, напоминающей нишу. Эта ясная очерченность вертикально стоящей фигуры в ясно ограниченном мире отражает простоту и земную укорененность женщины. Прямо противоположным ей кажется мужчина и его широкий, прямо-таки безбрежный, но — опрокинутый мир: лицо мужчины — он, конечно, художник — в правой последней трети полотна. Лицо обращено к женщине, но взгляд обращен не на нее, а на безбрежный мир — мастерски сделанный пейзаж с высоты птичьего полета. Пейзаж повернут на девяносто градусов, линия горизонта — вертикальна, словно вы в самолете, идущем на посадку... В искаженном, но прекрасном лице мужчины — очарованность огромностью мира. Ничто не соединяет художника с одинокой женщиной, стоящей слева —

лишь поваленное могучее дерево, идущее от сферы окружающей женщину, к плечу художника — символ природного, естественного и могучего единства. В средней трети картины изображены два мастерских натюрморта, опять-таки повернутых на девяносто градусов, так как их видит лишь художник, от женщины они скрыты нишней — сферой. «Мужчина и женщина» Шлиппе — это символ разделенности двух людей, одновременно — трагический и внушающий надежду.

На темы, подобные затронутой, Алексей Шлиппе написал много картин, но все они — в складе мастерской: художник, как всегда, предпочитает молчать... Искусство Алексея Шлиппе — современно, оно отражает тот глубокий кризис, который сейчас переживает все изобразительное искусство. Шлиппе, как и другие художники авангарда наших дней, отлично понимает, что следование правилам реализма, перспективы, убивает в искусстве то, чем оно живет в наши дни: попытками передать метафизическую сторону нашего бытия.

«Перспективная точка ничто иное, как проекция весьма индивидуальной и ограниченной точки зрения художника — как в чисто физическом, так и в психологическом смысле. Передача иллюзии пространства в эпоху Ренессанса достигнута тем, что само пространство ограничили архитектурой. Стремясь же к безграничному пространству и сознательно отрекаясь от личной точки зрения, естественно приходится отказаться от приемов перспективной иллюзии столь важной за последние 500 лет». (Из письма художника к автору, Ю. З.)

Как это ни парадоксально, но древние русские живописцы, создавшие шедевры иконописи, духовно значительно ближе нам, людям 20-го столетия, чем, скажем, русские передвижники прошлого столетия: реалистические картины последних, в которых много чувства, настроения, социального звучания и технического совершенства, кажутся менее значительными, чем иконы часто безымянных мастеров с их таинственным, мерцающим миром образов — символов, лишенных суэты...

Отлично сознавая потребность времени, Алексей Шлиппе часто убирает на склад свою очередную картину и — предпочитает молчать. Он — художник противоречий. Он внутренне робок и нерешителен, несмотря на его склонность к зеленому цвету — цвету внутреннего спокойствия, и — цвету

коричневому — краске мощного внутреннего звучания.* Он вечно неуверен, он вечно ищет, но то, что найдено им вчера — не удовлетворяет его сегодня, законченный холст сворачивается в трубу и убирается в обширный склад. Богатое воображение часто уносит Шлиппе в сторону от первоначально намеченного пути, заставляя потом терзаться, видя огромную разницу между задуманным и исполненным.

«Как ни старайся сделать на сей раз как задумано, — все же в конце концов выйдет как Бог велит». (Из письма А. Ф. Шлиппе к автору, Ю. З.).

Полуабстрактные пейзажи А. Шлиппе — отзвук его «сюрреалистического» периода, о котором А. Шлиппе не особенно любит говорить, чувствуя эклектическую природу сюрреализма. Однако короткое увлечение сюрреализмом привело его к увлечению пейзажами, о характере которых трудно говорить. Они — не совсем реальны, хотя и не порвали связь с реальностью, но не совсем абстрактны, субlimированы. Они — реально-абстрактны: вздыбленная зеленая и коричневая земля, странные извилистые дороги, переплетенность леса и феерической красоты облаков — есть ли такая переплетенность? — сочные, зеленые, тонко выписанные плоды. Эти полуфантастические пейзажи Шлиппе полны странной и напряженной тишины.

Глубокая двойственность, являющаяся сущностью современного человека, отмечалась многими художниками, но у Шлиппе она выражена по-своему, по-русски, как никто, кажется, ее не выражал. «— Природа, изображенная на моих холстах, — не увиденная, а представленная, воображенная — возможно и существующая лишь как фантазия. Однако какая-то связь с действительностью не утрачена, то есть даже совсем не утрачена, это — просто-напросто действительность, но — преображенная, сублимированная...», сказал мне художник.

Сознание двойственности самой природы и двойственный характер отношения человека к ней Шлиппе охарактеризовал однажды широким но довольно точным, на мой взгляд, понятием «диалектический ритм». «Диалектический ритм» часто владеет и художником и передается зрителю. А. Ф. Шлиппе

* См. В. Кандинский «О духовном в искусстве», перевод с немецк. А. Лисовского, Междун. Литерат. Содружество, 1967, стр. 105.

однажды признался: «...противоречивость природная более всего меня затрагивает и отражается в моих работах... Что бы я ни писал, этот диалектический ритм всегда определяет мою изобразительную форму. Порой хочется уйти от нее, хочется показать природу как она представляется простому глазу, но в процессе работы опять эта стихийная необходимость берет верх...» (Их письма А. Ф. Шлиппе к автору, Ю. З.).

«Живопись в наше время еще почти всецело зависит от форм, заимствованных от природы. Ее сегодняшняя задача состоит в исследовании и познании своих собственных сил и средств — что давно уже делает музыка — и в стремлении применить эти средства и силы чисто живописным образом для цели своего творчества».*

Мы знаем, что многие художники, начав как реалисты, с течением времени все дальше от него уходили — сначала в то, что принято называть сегодня экспрессионизмом, а потом — в абстракцию. Взять, хотя бы из старых мастеров Эль Греко, а из русских — Брубеля, Кандинского, Явленского, наших современников Л. В. Зака, Ю. П. Анненкова, Н. И. Николенко.

Шлиппе идет по тому же пути: с реализмом он покончил давно, перейдя к сюрреализму пока не пришел к откровенной абстракции, хотя здесь он — может быть впервые для себя — ясно сформулировал задачу: передача пространства как такого, пространства, которое нигде не начинается и которое бесконечно. Задача — погрузить зрителя в безграничный простор, дать почувствовать космический характер пространства.

«Абстракция для меня совсем не то же самое, что беспредметность. Икона пользуется предметом — лицом — для передачи абстрактно-религиозной мысли, икона по замыслу — абстрактна. Поздний импрессионизм растворил предмет в игре и переливе свето-цвета, он становится беспредметным без намерения быть абстрактным». (Из письма А. Ф. Шлиппе к автору Ю. З.).

В них надо взглянуться, в эти полотна Шлиппе — порой довольно больших размеров. Сероватые, серебристые, коричневатые, зеленоватые тона, просвечивающие друг сквозь друга — здесь А. Шлиппе наиболее последовательно применил

* Василий Кандинский «О духовном в искусстве», стр. 55.

transparency concept — вызывают состояние покоя и внутренней напряженности одновременно. Одна плавная и воздушная форма — напоминающая струю папиросного дыма — прячется за другой, более осязаемой и приближенной к нам, прячется, но не исчезает совсем, так как ее присутствие угадывается несмотря на наплыв других бестелесных и в то же самое время — ощущаемых форм... Коричневатое, плоское и пропускающее тело ясной геометрической формы в самом цвете которого слышна сила и кипение, вторглось в этот мир живых органических форм, как нечто чужое и в тоже время — спасительное: скальпель хирурга в живой, но больной плоти. Испытываешь странное чувство...

Свои абстрактные вещи упомянутого жанра Алексей Шлиппе называет довольно точно «mutation of space», преображение пространства. Мне кажется он довольно близок к тому, что В. В. Кандинский назвал «живописным растяжением пространства».

Помимо темы «mutation of space», для изображения которой Шлиппе пользуется абстрагированным пейзажем, у него есть вторая почти навязчивая тема: это спящая на софе негритянка — порой обнаженная, порой одетая. По словам художника ни социальные, ни бытовые проблемы не породили эту тему, а просто-напросто — чарующий глубокий темный цвет кожи. Но невольно, вернее подсознательно и социально психологические элементы присутствуют здесь помимо чисто



эстетических и цветовых. Художник явно увлекается некоторым примитивным характером своего объекта, той детскоХ природной первобытностью и непосредственностью, которую белый человек давно утратил.

Есть ли связь между этими двумя темами: «mutation of space» и спящей негритянкой? Да, есть. Приглядевшись, можно увидеть формальное сходство в трактовке складок на софе, в изгибе тела, и в игре полуабстрактных форм пейзажей, но более глубокая и существенная связь мне кажется в том, что художник в обеих темах старается выйти за пределы видимого, материально возможного. При всей реальной плотности спящих негритянок, они явно лишены веса, из-за отсутствия в композиции точно определимого пространства. Не будучи пла-катно плоской живописью, она все же плоскостная, подобно средневековой стенописи. Неминуемо в связи с этим происходит преображение тела: утрачивая физическую тяжесть оно становится метафизическим образом.

Искусство А. Шлиппе вызывает зрителя на трудный, порой — мучительный диалог. В этом безмолвном диалоге может быть много вопросов, и — множественность ответов способна обескуражить малоподготовленного зрителя. Вещи Алексея Шлиппе, исчезая в большом складе при его мастерской, не дают ответов на вопросы, мучающие многих: художник — продолжает молчать...

Юрий Зорин



Запах детства, запах елочный,
От мороза воздух розов.
Дымно в городе и солнечно
30 градусов мороза.
Шубы, шапки, шали, варежки.
Но душа насквозь промерзла
Потому что я, товарищи,
Ухожу, хотя и поздно.
Здесь полвека бегло пройдено,
Путь запятнан и запутан.
Ах, Москва, чужбина-родина!
Ничего я не забуду.
Только знаю, южной полночью
В апельсиновой аллее
По Москве морозно-солнечной
Не заплачу: не сумею.

Москва, зима, 72



Я все свое продал и пропил,
И вот безо всяких надежд
Безудержно мчусь по Европе
Экспрессом «Париж — Будапешт».
И только ночные деревья
На этой железной тропе.
И только ночные виденья
Мое обленили купе.
И бродит, как синее знамя,
Неведомый отблеск вдали.
И бредят коровыми снами
Крестьяне французской земли.
И, синимиискрами сыпля,
По Франции мчится экспресс,
Взываю протяжно и сипло
Во тьму первобытных небес.

Мюнхен, зима 72

Юрий Иофe

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

Навозну кучу разрывая,
Бодлер нашел жемчужное зерно,
В нем злобы прелесть неземная.
В поэзию оно вошло давно,
Гордыней разум отравляя.

Под тусклым блеском дьявольских сетей
Жемчужный мир красив и страшен.
В беспомощном безумии затей,
Зарождены искусства наши
Чесоткой вожделений и страстей.

СОЮЗ РАЗДОРА

«Но» — какая польза в нем,
В жизни, иль в стихотвореньи?..
Осторожность и сомненье,
Неуверенность во всем.

С трезвой горечью, с улыбкой
Ясно каждому одно:
Нет дыхания без «но»,
На планете нашей зыбкой.

Глеб Глинка

О ПЕРЛЮСТРАЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Мы печатаем отрывок «О перлюстрации до революции» из неопубликованных воспоминаний С. Е. Крыжановского, быв. товарища министра внутренних дел в 1906 г. и бывшего государственного секретаря в 1907 г. Рукопись воспоминаний С. Е. Крыжановского любезно предоставлена нам Т. Докторовым (Харвардский университет). Часть воспоминаний С. Е. Крыжановского была опубликована книгой в 1938 г. в Берлине изд-вом «Петрополис». Ред.

Государственная Дума не раз пыталась в комиссиях, а раз, кажется, и в общем собрании, ставить представителям правительства вопрос, существует ли перлюстрация частной переписки, и разумеется, получала ответ отрицательный. Какой же другой она и могла получить на вопрос, ставить который не пришло бы в голову члену какого-либо европейского правительства? Разумеется, существовала, как существует она на всем свете, по крайней мере во всех европейских государствах.

У нас перлюстрация была исстари поставлена хорошо, не хуже, чем в Германии, но особого усовершенствования она достигла в последние десять-пятнадцать лет, когда с изобретением усовершенствованных машин для вскрытия и заделки конвертов операция производилась так, что даже самый опытный глаз не мог замечать следов.

Операция была сосредоточена в особом бюро при Главном управлении почт и телеграфов, состоявшем в течение долгих лет в заведывании тайного советника Фомина. Сортировщики писем и начальники почтовых контор имели списки лиц, поставленных под наблюдение, и откладывали адресованную им корреспонденцию в особый ящик. Оттуда она поступала в бюро, которое вскрывало корреспонденцию, снимало с письма копию, заделывало его вновь и отсыпало по назначению. Операция производилась столь быстро, что письмо обычно успевало дойти по адресу в обычный срок. За сим копии сортировались, все, представлявшее общий интерес, направлялось Министру Внутренних дел, а все, что могло касаться предметов,

интересующих Департамент полиции — в сей последний. В конце каждого года на основании этих писем составлялся и представлялся Государю сводный отчет, в котором по рубрикам были распределены все вопросы внешней и внутренней политики, волновавшие общество, с указанием, что по этим вопросам писалось и говорилось в интимных беседах, не предназначавшихся для постороннего уха. Такие обзоры существовали со времен Императрицы Екатерины II и хранились в специальном архиве.¹

В основе своей перлюстрация служила целям чисто полицейским, являясь могущественнейшим орудием раскрытия преступлений и преступных организаций, преимущественно политических и неоднократно давала возможность их предотвращения. Но к этой основной цели присоединялось, конечно, и наблюдение за перепиской лиц, представлявших интерес собственно для Министра Внутренних Дел, в каком отношении она являлась орудием контроля над деятельностью и поведением высшего служилого персонала, что и давало Министру Внутренних Дел большое преимущество над остальными, не исключая и Председателя Совета Министров. Обычно все высшие сановники стояли под контролем и Министр Внутренних Дел, а в тех случаях, когда должность соединялась с должностью Председателя Совета, последний держал в руках все секреты своих сотоварищей и их семей. Осведомленные люди (я в том числе), разумеется, никогда не прибегали и к письменным сношениям, если было что передать, не желательное к оглашению. Но так как тайна перлюстрации была охраняема хорошо и о ней сравнительно мало кто знал, то большинство не стеснялось в переписке.

Бывали даже случаи, когда переписка использовалась умышленно в своих видах пишущими. Один такой случай мне известен. Пересматривая любопытства ради годовые отчеты по перлюстрации, копии с которых за двадцать лет мне удалось получить для своего архива, я натолкнулся на следующий

¹ В издаваемых большевиками обширных материалах о прошлом, почерпнутых из разных правительственный секретных архивов, до сих пор ни разу не появилось материалов архива перлюстрационного — возможно, что он был уничтожен при начале революции лицами, им заведывавшими.

курьез, относившийся к 1902 г. — это переписка по городской почте А. В. Кривошеина, в то время, кажется, помощника начальника переселенческого управления, с А. С. Стишинским — Товарищем Министра Внутренних Дел. Дело было вскоре после назначения В. К. Плеве, (большого любителя перлюстрации) Министром Внутренних Дел. Он очень неблаговолил к Кривошеину, и все ожидали, что с назначением Плеве того уберут из Министерства. Вышло наоборот, Кривошеин вошел в милость. Этому способствовали, быть может, его близкие отношения к сослуживцу, сыну В. К. Плеве, которые предусмотрительный Кривошеин заблаговременно установил, но видно большую роль сыграла и перлюстрация. Действительно, в упомянутой городской переписке невольно обращали на себя внимание выражения восторга по поводу назначения Плеве, которыми пестрели письма Кривошеина. Читая их, можно было думать, что по убеждению автора солнце взошло над землею русской. Следует думать, что ряд таких писем с настойчиво повторяемыми утверждениями и выражениями преданности, попадаясь на глаза Плеве, сильно изменили его точку зрения.

Рассчитывал ли Кривошеин действовать через Стишинского, дав ему в руки документальное доказательство своих чувств, или он прямо рассчитывал на перлюстрацию, не сомневаясь, что письма, поступающие на имя Стишинского, просматриваются, но цели своей он достиг, надо признать, с большим искусством.

Перлюстрация представляла, разумеется, не мало опасности для людей посторонних, так как в переписке зачастую, вероятно, попадались и сплетни, и вранье, которые, за невозможностью опровержения лицом, к которому это относилось, могли оставить в глазах власти, прочитавшей такое письмо, крайне неблагоприятное впечатление о нем. Я испытал эту возможность на собственном примере. Как-то, когда я был Товарищем Министра, Фомин прислал мне в пакете с надписью «секретно» копию письма какого-то неизвестного мне лица к нововременскому Меншикову, в котором сообщалось, что дело удалось довести до конца, но пришлось уплатить за это Товарищу Министра Крыжановскому три тысячи рублей.¹ И

¹ Как создавались в обществе сплетни о продажности русской администрации, которая, к слову сказать, наоборот, отличалась наи-

лица и предмет дела мне были неизвестны, и, лишь затребовав справку из Департамента Общих Дел, к компетенции которого предмет относился, я узнал, что такое дело действительно проходило через Министерство и было разрешено по личному распоряжению П. А. Столыпина, в виду обращенного к нему письменного представительства какого-то высокопоставленного лица и по существу представлялось настолько незначительным и бесспорным, что об отказе не могло быть и речи. Не всякому, однако, представлялось возможным получить так просто доказательства лживости навета.

При Министре Внутренних Дел В. К. Плеве под надзором почтовой цензуры стояли даже и Великие князья, а при П. А. Столыпине под надзор были поставлены члены его семейства и его шурья братья Нейдгарты, что впрочем и понятно, так как он имел основание опасаться, не допускают ли те в азарте злоупотребления его именем.

Трагикомический эпизод разыгрался на этой почве при разборке бумаг П. А. Столыпина после его смерти. Разбор этот производил я при участии Директора Департамента Об-

большой в этом отношении стойкостью, поможет свидетельствовать следующий курьез. Вскоре после того, как я перешел на службу в Министерство Внутренних Дел, мой б. начальник прокурор С. Петербургского Окружного Суда А. Н. Познанский вышел в отставку и стал заниматься «делами» — промышленным гриндерством, при помощи наводнившего в те годы Россию «Анонимного Бельгийца». На этом же поле подвизался и небезизвестный правый деятель С. С. Бехтеев, предводитель дворянства в Орловской губернии, впоследствии член Государственного Совета. И вот однажды, когда Бехтеев уезжал на лето из Петербурга, он просил Познанского подать в Министерство Земледелия прошение об утверждении какого-то устава, в котором было заинтересовано его общество, что Познанский и исполнил. В дальнейшем ему пришлось еще раз зайти в Министерство и попросить об ускорении дела. Разрешение было дано, и тем вся процедура и закончилась. Велико же было удивление Познанского, когда год спустя он, будучи уже членом Правления того общества, к которому относилось ходатайство, нашел в отчете счет Бехтеева в получении 13.000 рублей на оплату расходов, понесенных по проведению дела в Министерстве. Бехтеев уверил, очевидно, анонимных Бельгийцев, что ему пришлось уплатить эту сумму чиновникам, и затем спокойно положил ее себе в карман. (Слышано от А. Н. Познанского).

щих Дел Министерства А. Д. Арбузова и в присутствии представителя гр. В. Н. Коковцова, в то время Председателя Совета, Е. Н. Львова и родственников покойного, его брата А. А. Столыпина и его шурина А. Б. Нейдгарта.

Все свои секретные бумаги П. А. Столыпин передал, как я уже упоминал, мне перед отъездом в Киев, и согласно полученным тогда инструкциям, я не имел, разумеется, права не только отдать их Коковцову, но даже и поставить последнего о них в известность.

Нельзя было поэтому ожидать найти в столах что-либо интересное. Однако, на всякий случай, я счел долгом предупредить родственником, что в столе могут оказаться документы неудобные (я разумел расписки разных лиц в получении денег) и предложил им в устраниenie неприятных для памяти П. А. огласок установить следующий порядок: если при разборе я найду что-либо неудобное, то передам родственникам, сказав, что вот мол семейные документы, и изъяв их тем из рассмотрения официальными лицами; при этом яставил условием, чтобы родственники таковые бумаги тут же бросали бы в камин. Нейдгарт вломился в амбицию «Как, у Петра Аркадьевича и что-либо неудобное. Я отказываюсь даже и обсуждать подобные предположения».

Начали разбор. Открыв первый же ящик, где, как я знал, хранилась перлюстрация, я к своему удовольствию вынул лежавшую сверху кипу бумаг — то были копии переписки самого А. Д. Нейдгарта и передал последнему со словами «Вот, если не ошибаюсь, документы чисто семейные». Нейдгарт посмотрел, перевернул раз-другой, побледнел и бросил в топившийся камин. Туда же последовала переписка его брата, переписка Ольги Борисовны и т.д. В дальнейшем он, не колеблясь, бросал в огонь все, что я ему передавал — расписки политических деятелей в получении денег, случайно оставшиеся неуничтоженными и т.п. Письма Его Величества, которые Столыпин почему-то не вложил в переданные мне пакеты, были переданы В. Н. Коковцову и согласно обычаю возвращены последним Его Величеству. То были те самые, которые впоследствии разысканы были большевиками в библиотеках Его Величества и ими опубликованы.

С. Крыжановский

ЗИНАИДА ГИППИУС: PROFESSION DE FOI

Этот материал из архива З. Н. Гиппиус передан нам для «Н. Ж.» профессором Иллинойского У-та Темирой Андреевной Пахмусс, за что мы приносим ей нашу благодарность. Т. А. — автор книги о З. Н. Гиппиус (по-английски). Кроме того она опубликовала по-русски много рукописей и материалов из архива З. Н. Гиппиус с своими комментариями и примечаниями. Настоящую рукопись мы публикуем с кратким введением Т. А. Пахмусс. РЕД.

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945), одна из известных русских писателей-модернистов, Февральскую революцию 1917 г. приветствовала так же горячо, как и Д. С. Мережковский, Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый и многие другие. В одном из дневников, Синяя книга: петербургский дневник 1914-1918, Гиппиус записывает после Февральской революции: «Вернется ли к нам цесаризм, самодержавие, державие? Не знаю; все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всегда лишь конвульсии, лишь петли, которыми заворачивается единный исторический путь. Россия освобождена — но не очищена. Она уже не в муках родов, — но она еще очень, очень больна, не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца всегда радость, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать и дитя».

Взгляды Зинаиды Гиппиус на взаимосвязь между понятиями революции, свободы, равенства и демократии изложены подробно в ее полемической статье с Бердяевым «Оправдание свободы» (1924). Свобода в понимании Гиппиус была прежде всего свободой и правом каждого индивидуума стать, чем он хочет и чем он может стать в зависимости от своих способностей. Демократия, настаивала поэтесса, должна поддерживать и претворять в жизнь духовную свободу личности. Человек должен понимать религиозную сущность идеи свободы, т.к. эта идея дарована ему Богом. Демократия, говорила дальше Гиппиус, ставит человека лицом к лицу с высшими благами свободы, как равенство всех перед законом, возможность всемирного братства и тождественность личной свободы со

«свободой в Боге». Человеку дарованы два сокровища, две вечные ценности — его личность и свобода; демократия претворяет их в реальность.

В Синей книге Гиппиус так пишет об октябрьском перевороте: «Среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука. Вихрь событий и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы! В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы; его сейчас почти нет. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей. И пахнет мертвчиной... Зачем, к чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли и слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда все делается посредством ‘как бы’ людей, и уже не людей? Страшен автомат, — машина в подобии человека. Не страшнее ли человек — в полном подобии машины, т.е. без смысла и без воли?». На власть большевиков Гиппиус смотрела как на «порождение, детище войны». «И пока эта власть будет», пророчески предупреждала она, «будет война... в самой омерзительной форме, т.е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных».

«Если гаснет свет — я ничего не вижу.

Если человек зверь — я его ненавижу.

Если человек хуже зверя — я его убиваю.

Если кончена моя Россия — я умираю».

(февраль 1918)

Гиппиус, Мережковский, Д. В. Философов и В. А. Злобин бежали из Петербурга ночью 24-го декабря 1919 г. Чувства Зинаиды Гиппиус при расставании со своим любимым городом, и с Россией — возможно навсегда — переданы в трагическом стихотворении «Отъезд»:

До самой смерти... Кто бы мог думать?

(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)

Никто не знал. Но как было думать,

Что это — совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!

(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)

Но как было знать, что нет надежды?

(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)

После недолой жизни в Польше Мережковский и Гиппиус переехали в Париж. Здесь Гиппиус начинает искать новые пути реализации прежних чаяний. Она создает во Франции религиозный союз, в который входят, кроме самой Гиппиус и Мережковского, Н. В. Чайковский, по ее словам, «старый, идеалистически-настроенный народник», И. П. Демидов, помощник П. Н. Милюкова в газете *Последние новости*, В. А. Злобин, А. В. Карташев и Н. П. Вакар. Позже Гиппиус переименовывает свой союз в «Союз Непримиримых», для которого она и пишет *«Profession de foi»*.

«Союз Непримиримых» подчеркивал прежде всего необходимость сохранения свободы человеческой личности. В Совдепии, утверждает Гиппиус, понятия «Личности», полностью замененного понятием «Коллектива», не существует. Для предотвращения пагубного влияния марксистско-ленинской идеологии, уничтожающей независимость сознания и человеческое достоинство Гиппиус предлагает особую «иерархию ценностей», в которую входят такие понятия как Свобода, Лояльность, Равенство, Культура, Братство, Нация. Большевизм воспринимался ею как «абсолютное зло». Новая Россия, утверждали Мережковские, возникнет в свете любви Иисуса Христа, в свете «Абсолютной Личности». Эти размышления и заключаются в печатаемых ниже текстах поэтессы.

В них особенно интересно, вопреки мнению многих русских эмигрантов в 20-х гг. ее утверждение, что русская революция не обязательно должна была кончиться соцарением большевиков. В своем письме к Бердяеву от 13-го июля 1923 г. Гиппиус так писала об этом: «Я, конечно, не согласна с вами насчет революции, которая или должна быть всегда большевической, или не быть. Доказать вам противное я не могу, ибо факты, как будто подтверждают ваше положение; но данные факты еще не доказательны для меня. Вы забываете войну. Я еще могу признать, что наша революция во время данной войны должна была кончиться большевизмом; но что всякая революция (вещь очень смешанная, конечно, чего не отрицала) должна фатально порождать такую дьявольскую неслыханную ситуацию — никак не могу поверить. Вообще, я не страдаю фатализмом и поэтому осторегаюсь очень широких обобщений». В своей статье «Способным к рассуждению» Гиппиус объяс-

иляет поражение Февральской революции «беззащитностью ее от большевиков». В большевиках Зинаида Гиппиус видит не революционеров, а контр-революционеров.

Данный текст *«Profession de foi»* Зинаиды Гиппиус вырабатывался медленно, в течение нескольких месяцев. В процессе работы формулируемые ею положения обсуждались с другими членами «Союза Непримиримых», текст переделывался. Отсюда некоторая запутанность этой рукописи, повторяемость одних и тех же положений и их отрывочность. Это своего рода протокол собраний членов «Союза Непримиримых». *«Profession de foi»*, кроме того, имеет ценность как записи, освещдающие жизнь зарубежной русской интеллигентии двадцатых годов, и как историко-литературный документ, проливающий свет на взгляды самой поэтессы.

Темира Пахмусс



«Февральская революция 1917 г. была встречена всем русским населением с замечательным единодушием. Свержение самодержавия объединило всех, без различия классов и партий, верхов и низов, в один порыв к новой, свободной жизни.

Исключением были единицы. Во всяком случае никакой организованной контр-революции в России в 17-м году не было и борьбы за восстановление старого режима не велось. Борьба, начавшаяся в первые послереволюционные месяцы и закончившаяся октябрьем, все время велась налево, а не направо.

Октябрьская удача большевиков — результат совокупности многих факторов — в ней разберется история. Несомненно одно: переворот совершился не только не по воле русского народа в его целом, но против его воли. В крайнем случае — при попустительстве главной, темной массы населения — армии, стихийно обрушившейся на тыл.

В городах этот, чисто городской переворот вызвал у всего населения злобу, отвращение и полнейшее недоверие. Ничего не понимающие низы и осведомленные верхи (интеллигенция) одинаково были убеждены, что большевики «вот-вот» падут.

Общее, самое прямое, хотя и пассивное сопротивление большевизму, — так называемый «саботаж» — длился очень долго.

Дольше, чем можно было ожидать. Не только наиболее сознательная часть, но и средне-демократические слои выдерживали пытку голодом и террором, не сдаваясь.

Лишь на третьем году своего царства, большевики, введя, до мелочей, в жизнь все формы внешнего принуждения, закрыв выезд, взяв остатки вымирающего городского населения «на учет», могли дать такую внешнюю картину:

«Недобитая интеллигенция и буржуи, убедившись в крепости Советской власти, ныне все у нее на службе. Но мы не должны успокаиваться на этой победе. Необходимо следить самым бдительным образом за столь контр-революционными элементами».

Как можно видеть — большевики сами понимали, что это лишь внешняя картина, — внешняя победа. Все, что могло быть уничтожено насилиственным путем — действительно уничтожилось. Не стало делений на классы. Осталось лишь одно внешнее разделение: *правящие и служащие*. Вторые — это, в сущности, все население бывшей России, несоизмеримое с первой, правительенной, кучкой, большинство. Мы должны взять это большинство за одну скобку. Но взяв — попытаться выяснить, какие *внутренние* различия существуют в этой общей массе «служащих».

Внутреннее различие есть, и надо было думать об этом заранее, чтобы в нужный момент уметь произвести разделение, отбор. Какая бы новая власть ни пришла на смену большевицкой, чьими бы руками и как бы ни был совершен переворот, — власть новой России не может, с первого же момента, не опереться на местное население, не взять из него себе помощников и работников. По какому признаку будет она отделять годных от негодных, невинных от внутренних предателей? Уж не по коммунистическим ли спискам? Там больше невинных, чем виновных. Или она осудит всех «служащих»? Но тогда она погибнет, ибо служат — все. Все более или менее молчат. Маленькие, малозаметные люди, прежняя «обывательщина», а в сущности «демократия» — они тем безгласнее, чем невиннее, и сколько погибнет таких невинных, и нужных, по разным доносам, которыми не побрезгуют, конечно, другие, чтобы спасти собственную шкуру. Эти уже начинают суетиться даже при отдаленной угрозе переворота, стараются за углом, страховаться «на случай».

Сорвется переворот — они бегут назад и «страхуются» у большевиков.

Известно, что всякая возможность свободного слова была задавлена, и взгляд со стороны не мог уловить никакого различия между двумя служащими А. и В., сидящими рядом, если даже А. на службу загнан палкой и воистину непримирим, а В. пошел своей волей в расчетах приспособиться и заискать у победителей.

Такие господа В. не прочь пошионить насчет товарищей, и они же, несомненно, первые предадутся новой власти, когда победа будет за ней, не брезгая никакими средствами для спасения своей шкуры.

И сколько погибнет невинных и притом нужных новой власти людей, подлинных демократов, никогда внутренно не примирявшихся с кровавым засилием Советской власти. Между тем когда бы и чьими бы руками ни был сделан переворот новой, возрождающейся России необходима работа именно этих, чистых и твердых духовно людей, истинных антибольшевиков. По какому признаку будет отделять новая власть этих годных ей людей от других — негодных? К кому сможет она отнести с полным доверием, на кого опереться без страха? А опираться на население и делать выбор ей нужно с первого же момента.

Таким образом, сама жизнь требовала предварительного «учета сил», особенно необходимого для общей массы населения, для сотен и десятков, неизвестных, не смогущих оправдаться, в случае беды и клевет.

Жизнь настоятельно требовала существования организации, которая могла бы действительно разделять людей по признаку «личной годности» и «личной негодности», взять, в возможной мере, надежных русских людей «на учет».

«Непримиримые» сами пожелали взять себя «на учет». Фактическому образованию Союза пришел на помощь ранее существовавший и в последнее время тоже строго-тайный «Союз Февралистов». Он как бы сделал «Союз Непримиримых» своим более широким кругом, вполне, однако, автономным.

Зародившись в России, имея практическую задачу облегчения первых шагов новой послебольшевицкой русской власти, и также внешнего спасения и морального оправдания русских людей, — Союз мало по малу делается интернациональным. Ино-

странцы начинают понимать, что большевизм не есть чисто русское дело, которое их не касается, и что соглашательство с «каннибалами» (по выражению Ллойд-Джорджа) как личное, так и общественное, найдет свою оценку. В каждой стране есть люди с личной годностью и негодностью. На большевизме, как на оселке, пробуется крепость человеческой стали.

Таким образом создался «Союз Непримиримых».

Смысл Союза — в его широте, между прочим. Поэтому он ограничивает до минимума условия для вступления в него. Преследуя свою цель — он кладет в основу только один принцип — «личной годности».

Все внутренне-неустойчивое, все готовое «за совесть» служить всякой предержащей власти, все, коротко сказать, *безответственное* — есть «личная негодность».

Напротив, сознательная (или интуитивная) *ответственность*, выбор одной из двух линий (в данном случае — антибольшевицкой) и постоянная ей верность — есть «личная годность».

Условия жизни требовали, чтобы такой «Союз» был таинственнейшим из тайных. Для этого к нему на помощь пришел ранее существовавший «Союз Февралистов», сделав «Союз Непримиримых» как бы своим, более широким кругом, совершенно, впрочем, автономным.

«Союз Февралистов» (вышедший, в свою очередь, из союза более узкого, но и более глубокого) требовал от вступающего в него члена некоторых кратких обязательств. Два последние пункта таковы:

— Что бы далее ни переживала Россия (и я лично), — я не способен, даже мысленно отречься от России новой, пожелать, хотя бы мгновенно, чтобы не было февральской революции.

— Что бы далее ни переживала Россия (и я лично), как бы долго ни сидели большевики, я не способен ни на какое примирение с представителями их власти, с коммунизмом и московским интернационалом. Я не способен ни теперь, ни впредь, ни на какое этой власти внешнее содействие, не будучи к нему принужден физическим насилием.

— Изменив вышесказанному — я изменяю самому себе, и моя измена должна считаться признанием моей личной негодности.

Для вступающего в «Союз Непримиримых» только второй пункт и заключение обязательны. Хотя практически, для старейших членов и первый не был тайной, и многие добровольно его принимали.

Если в более старом и более тесном «Союзе Февралистов» члены (хотя не все) знали друг друга, то «Союз Непримиримых» должен был поставить себя иначе. Ему прежде всего необходимо было сделаться абсолютно недосягаемым для большевиков, т.е. внешне неуловимым ни при каких обстоятельствах. Расчет был таков, чтобы в случае изменения (грубой) мог погибнуть *только один человек*, и притом без всякой пользы для большевиков. Ибо каждый член «Непримиримых» знает *только одного* члена (из старейших или из «февралистов»).

Этому одному он дает свои устные обязательства. Этому одному он должен, через известные (возможные) промежутки времени давать отчет в своих действиях, отчет течения жизни. Давать эти объяснения — в его собственных интересах, так как сведения затем проверяются. Если данный член, не по физическим причинам, уклоняется от отчета, или если отчет, по проверке, окажется ложным, имя члена только вычеркивается из списков, больше ничего.

«Союз Непримиримых» строго ограничивает свои задания и не требует от своих членов ничего *сверх* обязательного. Активные члены его могут, конечно, поступать в особые кружки для положительной борьбы с большевиками, но до этого, пока член держится своих минимальных обязательств перед «Союзом Непримиримых», — Союзу дела нет.

Та ширина, которую, при полной таинственности, принял «Круг Непримиримых», есть лучшее доказательство, что он отвечает требованиям жизни. Зародившись в России, имея перед собою практическую задачу облегчения первых шагов новой послебольшевицкой русской власти и также внешнего спасения и морального оправдания русских людей, — этот Союз уже начинает делаться интернациональным. По мере того, как иностранцы начинают понимать, что дело большевиков не только русское дело, что и здесь приходится с ним сталкиваться, и делать выбор, т.е. говорить им «да» или «нет» — они начинают понимать и смысл «Союза Непримиримых». Соглашательство с «каннибалами», личное, как и общественное, найдет свою оцен-

ку в свое время, где бы оно ни происходило, в России или в Европе. И безответственным элементам вряд ли удастся с успехом бежать за колесницей новых победителей.

По мере того, как волны русского населения начали выливаться за границы — перелился, расширившись, и «Союз Непримиримых» в Европу. Он оказался не менее нужным для эмигрантов и для иностранцев, чем для оставшихся в России.

Эмигрантский «быт» отупляет, создает бедствия другого рода, нежели на родине, — и средний человек легко теряется, слабеет, забывает пережитое. Он безоружен против соблазна соглашательских провокаций. Но если он член «Союза Непримиримых» — он помнит себя, верен себе и знает, куда идти.

В «Союзе Непримиримых» — человек впервые испытывает себя, свою верность себе, своей единой личности.

В «Союзе Февралистов» он связывается в одно с другими людьми на общей идее утверждения коллектива, основанного на Свободе, Равенстве и Братстве, коллектива, позволяющего ему сохранять свою личность.

В Союзе Высшем (Третьем Круге) люди соединены определенной религиозной идеей Богочеловечества, признают ее вбирающей в себя реальность, одухотворяющей ее. Утверждают связь между созерцанием и действием, между словом и делом, стремятся к постоянному воплощению идеи, т.е. облечению в плоть — духа.

Во все века люди пытались устроиться на земле всемирно. Но никогда социальная проблема не вставала перед человечеством так остро, как в наши дни. Социальная проблема не может быть решена в порядке чисто-материалистического миропонимания. Человеческое общество строится на основах религиозных.

Христианские Церкви, положив в основу учение о Богочеловеке, указывали путь спасения каждого отдельного человека. Но они, в истории, не дали пути к спасению человечества. Откровения о Духе, связующем и преображающем человечество в Богочеловечество, осталось в христианских церквях не воплощенными.

Люди, соединяющиеся ныне в союзы Духа для совместной творческой работы над проблемой социальной, признают, что эта работа должна происходить...

СОЮЗ ДУХОВНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

Членом его может быть всякий, — к какой бы партии и к какой бы национальности он ни принадлежал, — кто

1. считает себя *nepримиримым* врагом чисто-материалистического миропонимания, его воплощений, его представителей и проповедников (между прочим, русских большевиков, коммунизма и марксизма). Признает себя неспособным, не потеряв устоя собственной личности, изменить этой непримиримости при каких бы то ни было обстоятельствах.

2. Считает, что подобно двоякой природе каждой отдельной личности внутренней (духовной) и внешней (телесной) — человеческий коллектив, истинный и крепкий, должен обладать той же двойной природой и может строиться внешне лишь на глубоких основах внутренних. Член Союза признает праведным попытки человечества создать коллектив Братства, Свободы и Равенства (и как одну из таких попыток безусловно признает русскую февральскую революцию 1917 года).

3. Считает, что строение нового, истинного Коллектива, разрешение проблемы социальной есть главное содержание исторического процесса наших дней и, в противоположность материалистическому социализму, кладущему в основу «классовую борьбу» и «гражданскую войну», т.е. ненависть и всеистребление, — признает подлинно-революционную силой — силу религиозного миропонимания, ведущую к сознанию общности интересов, к любви и к сотрудничеству («кооперации» в высшем смысле) народов, государств, обществ, классов.

4. Считает, что на творческом совместном пути, ведущем к созданию всечеловеческой Общности с подосновой высших духовных ценностей — нет дел больших и малых, нет работы белой и черной, и признает необходимыми: каждодневную непрерывность работы, последовательное и неустанное воплощение, — проведение в жизнь, — общей идеи, постоянную реализацию своего отношения к человечеству, к историческому процессу, ко всякому явлению действительности.

ПРИМЕЧАНИЯ
Углубления (прибавления)

К параграфу 3.

3б. Разрешение насущной проблемы социальной мыслится возможным не иначе, как в религиозной плоскости, в религиозном соединении Личностей в богочеловеческую Общность, — Царствие Божие на земле.

Христианство, как таковое, совершив в человечестве необходимейшую внутреннюю революцию, создав понятие Единой Личности, — не создало нового, сохраняющего личность в себе, Коллектива, остановилось лишь на пророчестве о нем. Чистое Христианство, дав Богочеловека, лишь указало путь к Богочеловечеству, само же, исторически, конкретно, уклонилось в сторону продолжающегося разделения духа и плоти, неба и земли, — в сторону уединения личности в себе.

И необходимо, признав истинность Христианства во всей полноте и праведность чисто-христианской эпохи, приняв, как главную основу, учение о Богочеловеке, — стать на пророчески, обещанием Духа, указанный в Христианстве путь, на путь искания новой связи (*religio*) между ныне разделенными Небом и Землей и разделенными отдельными личностями.

К параграфу 4.

4б. В постоянной работе облечения общей Идеи плотью, рядом с реализацией своего совместного отношения к Жизни, должна идти параллельная реализация совместного отношения к Богу, — углубление религиозного опыта.

В этой области члены Союза могут стоять на разных ступенях, соответственно степени своего религиозного сознания.

Принимающие программу Союза с примечаниями — есть *РАБОТНИКИ* Союза. Принимающие лишь первую часть без примечаний — члены *СОРАБОТНИКИ*.

**СОЮЗ РЕЛИГИОЗНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
 СОЮЗ НАДПАРТИЕН И ВСЕНАЦИОНАЛЕН**

Членом его может быть всякий, вне зависимости от того, к какой партии и национальности он принадлежит, если он

1. считает себя *непримиримым* по отношению к чисто-материалистической идеи миропонимания и ее воплощений (марк-

сизму, коммунизму), к ее представителям, проповедникам и деятелям (между прочим и к русскому большевизму) и признает себя неспособным, не потеряв внутреннего устоя своей человеческой личности, изменить этой непримиримости при каких бы то ни было обстоятельствах.

2. Считает, что если всякая отдельная личность обладает нераздельно-двойственной природой — духовной (внутренней) и телесной (внешней), то и коллектив истинный должен обладать такой же природой и строиться внешне на основах внутренних. Член Союза признает праведными все попытки человечества создать коллектив на основах Равенства, Свободы и Братства (и как одну из этих попыток — *безусловно* признает праведной русскую февральскую революцию 1917 года).

3. Признает, что Христианство, как таковое, совершив в человечестве необходимейшую внутреннюю революцию, создав в нем новое понятие о единой Личности, остановилось, в области создания нового Коллектива (не уничтожающего Личность) только на пророчестве о нем, не переходя к воплощению. Чистое Христианство, дав Богочеловека, лишь указало Путь к Богочеловечеству, само же уклонилось, исторически, конкретно, в сторону продолжающегося разделения духа и плоти, неба и земли, в сторону уединения Личности в себе.

4. Признавая истинность Христианства во всей его полноте и высшую праведность чисто-христианской эпохи, принимая, как свою необходимейшую подоснову учение о Богочеловеке, Единой Личности, — член Союза признает для себя обязательным стать на пророчески — ожиданием пришествия Духа — указанный Христианством путь, — на путь искания новой связи (*religio*) между ныне разделенными Землей и Небом, плотью и духом, действием и созерцанием, а также на путь искания истинной связи между отдельными личностями, и действенного созидания царства Божия на Земле.

5. Считая, что на этом творческом совместном пути человечества к Богочеловечеству нет дел больших или малых, нет работы белой или черной, а есть лишь одна работа Господня, — член Союза признает необходимую непрерывность этой работы, постоянную неустанность облечения общей идеи плотью, и последовательную реализацию совместного отношения к Богу и совместного отношения к человечеству, к историческому про-

цессу, ко всякой действительности, ко всему течению мировой жизни.

1. Совместные выступления Союза решаются единогласно.
2. О своем единоличном выступлении член Союза осведомляет Союз или, в крайнем случае, двух членов Союза.
3. Заседания Союза могут быть закрытыми и открытыми.

Председатель Союза — Н. Чайковский
Товарищ Председателя — И. Демидов
Секретарь — Злобин

Далее можно: 1). ближайшие задачи 2). общая организация и т.д.

1.

Обещаюсь служить Союзу Креста всею моей волей и разумением.

Обещаюсь бороться Крестом, Господним мечем, со злой силой, с Духом тьмы, действующим ныне в тех, кто мыслит устроить жизнь на земле без Бога и против Бога.

Обещаюсь не идти с этой Силой ни на какое примирение или соглашение, в деле, слове или мысли, ни ради своего спасения, ни ради чужого.

Обещаюсь помогать всем, кто борется с врагами Креста.

Обещаюсь свято хранить тайну Союза.

2.

Во имя Отца, Сына и Святого Духа

Крестом Господним обещаюсь служить Союзу Креста всею волею мою, всею крепостью, всем разумением.

Обещаюсь бороться Крестом, Мечем Господним, с силою зла нечеловеческою, самим Духом тьмы, действующим ныне в тех, кто мыслит устроить жизнь людей на земле без Бога и против Бога, без Христа и против Христа.

Обещаюсь до последнего вздоха не примиряться и не соглашаться с этой Силою ни в деле, ни в слове, ни в помысле, ни для своей пользы, ни для чужой, ни для своего спасения, ни для чужого.

Обещаюсь помогать всякому, кто борется с этой Силою.

Обещаюсь хранить тайну Союза свято и нерушимо. Аминь.

ТРИ КРУГА
 ЕДИНОГО СОЮЗА
 (Восхождение)
КРУГ ПЕРВЫЙ. НЕПРИМИРИМЫЕ

В этом Круге человек испытывает себя, свою верность себе, как единой Личности, на утищании чисто-материалистического, механического миропонимания, которое, воплощаясь, дает рабство, насилие меньшинства над большинством, полный аморализм, разложение культуры и потерю лица человеческого. Заявляя себя *непримиримым* ю отношению носителей, всплотовителей и проповедников материализма и марксизма — большевиков, всякий, вступающий в кртг, утверждает тем свою личность, как ценность постоянную, неизменяемую и независимую от внешних обстоятельств.

КРУГ ВТОРОЙ. ФЕВРАЛИСТЫ

В этом круге человек — лицо, личность, — связывается в одно с другими людьми общей идеей утверждения коллектива на тройственной основе Свободы, Равенства и Братства. Заявляя себя сторонником русской февральской революции, всякий, вступающий в Круг, утверждает тем все бывшие и грядущие попытки человечества устроиться на земле свободно, мирно и праведно, идти вперед не только в мысле материального, но и духовного, внутреннего развития. Утверждает стремление человечества к созданию коллектива истинного, нового, где, при совместности, каждая человеческая личность могла бы сохраняться и проявлять себя в полноте.

КРУГ ТРЕТИЙ. ДЕЙСТВЕННЫЙ

В нем люди, непримиримые по отношению идей чисто-материалистических с их воплощениями, утвердившие двоякую, духовную и физическую, ценность Личности и праведность стремления к новому коллективу, — соединены определенной религиозной идеей Богочеловечества. Они признают эту идею потенциально вбирающей в себя реальность, одухотворяющей материю. Утверждают связь между созерцанием и действием, между словом и делом. И стремятся к непрерывному, постоян-

ному воплощению этой идеи, т.е. к облечению в плоть ценности духовной, к творчеству жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

а) Религиозная идея, существующая быть основой для разрешения насущной проблемы социальной, есть Идея Духа. Как идея Бога-Отца в воплощении есть Космос, как идея Сына, Логос, — Единая Личность, Богочеловек, так идея Духа, в воплощении, может быть, должна дать истинным — соединение Личностей в богочеловеческую Общность — Царство Божие на земле.

б) Религиозная идея, существующая быть основой для разрешения насущной проблемы социальной, есть идея Духа. Связь (*religio*) Духа соединяет Личности в богочеловеческую Общность, творит Царствие Божие на земле.

СОЮЗ ФЕВРАЛИСТОВ создался гораздо ранее «Союза Непримиримых». Он принял определенную форму и сложился в ту эпоху, когда произошла Февральская революция.

ФЕВРАЛИСТЫ

(Союз № 2)

История

Русская февральская революция 1917 г., совершившись, так объединила слои общества, населения и партий, что в ее первые дни жизни вся Россия могла казаться одним Союзом Февралистов. В сущности — февраль был лишь завершительным ударом очень давнего органического процесса, вспышки которого лишь время от времени выходили наружу, и были подавляемы. Самая сильная вспышка этого процесса, — революционной борьбы за новый, свободный, политический строй, открывавший возможность широких социальных реформ, — относится к январю-октябрю 1905 г. Первая цель достигнута не была, старый строй, — самодержавие, — остался, уступки правительство вскоре взяло назад, революция еще раз была подавлена. Процесс еще раз ушел внутрь и там продолжался, скрытый, в то время как извне шел параллельный процесс медленного разложения самодержавной власти.

К моменту войны эта власть была уже настолько слаба, что

здравомыслящие русские люди не видели для нее возможности дожить до окончания войны, хотя эти же люди слишком хорошо понимали, как опасны для России потрясения внутренние во время внешних.

Самодержавный строй пережил сам себя и срок его падения, приближенный ударом войны, наступал автоматически.

Поэтому февральские события 1917 г., хотя и были ничем иным, как первой победой всей длительной русской революции, для многих показались неожиданными: эта победа носила печать пассивности. Когда говорили: «Революция совершилась сама собою», в этом была та правда, что революция, — ее победа и завершение, — делалась в известный момент уже неотделимой — неотвратимой.

Когда, однако, первая прямая цель революции — падение самодержавия — была достигнута, перед страной и ее революционными деятелями вставала следующая: закрепить эту победу, этот первый шаг (отрицательный) для возможности второго (положительного). Было необходимо тотчас вместо павшей, слабой, но традиционной власти, создать новую, сильную, — более чем сильную, — революционно-беспощадную власть, строго держащуюся своей прямой линии и своих прямых лозунгов.

Создать такую власть, при автоматическом, почти мгновенном, крушении самодержавия, и, главное, при непомерно тяжелых внешних условиях — мировой войне — было очень трудно. Возможно ли все-таки, или невозможно — это вопрос праздный, факт в том, что этой власти, в течение пяти-шести месяцев в России не было, и мы не очень ошибемся, если скажем, что с конца февраля 17 г. в России вообще никакой власти не было.

Временное Правительство, понимая, что февральскую победу закрепить настоятельно нужно, не поняло, однако, что защита революции *слева* не менее важна, чем защита *справа*, а реально положение было таково, что только защита слева и требовалась: разложение павшего самодержавия было столь полным, царь Николай Второй в сущности так давно был окружен элементами негодными и не стойкими, — что справа, после победы революции, оказалась одна пыль. Видимость правого фланга распалась: одни — все равно почему — перешли на сторону революции, кое-кто спрятался в одинокий угол, — как бы то ни было, факт несомненный, что ни малейшей атаки справа на ре-

волюцию не производилось, никаких правых организаций не существовало, не было даже и видимости борьбы справа: самодержавие рухнуло слишком основательно и Россия, в громадной массе своей, была единодушно революционна.

Временное Правительство, за неимением правого противника, не могло бороться направо; но оно как бы считало своим долгом такую борьбу и, в странной растерянности, все время гнуло налево и доходило даже до создания фикций правых врагов (вроде Корнилова). В эти минуты оно как бы кидалось влево скачком, под защиту левых «друзей» — которые и были его неизвестными злейшими врагами — его и революции.

В сущности Временное Правительство никем не правило и — ни с кем не боролось: ни с монархистами (их не было), ни с социал-демократами-большевиками (считаях их революционерами). Временное Правительство вело лишь нелепую и личную борьбу внутри себя: Керенский боролся с Черновым, Милюков с Керенским, Некрасов с Карташевым, и т.д. и т.д.

Учитывая общее положение и всю его громадную трудность, не следует останавливаться на суде Временного Правительства. Его метанья, роковые ошибки, его растерянность, ослепление и бессилие — кто поставит ему в непростительную вину, если учесть грандиозность событий тех дней и недель? Но только можно сказать с уверенностью: ни один из членов этого несчастного «правительства» уже никогда никакой роли в возрожденной России играть не будет. Каждый из них, персонально, для России кончен.

Таким образом, Русская Революция, хотя, наконец, и победившая, но в своей победе оставленная без необходимой защиты, — еще раз, опять, должна была быть загнанной в землю. И так ужасен был этот последний раз, потому что контр-революция, описав полный круг, подошла к ней слева, в красной маске.

Красная маска уже не только гнала революцию: она ее била, избивала, стараясь убить, изничтожить.

(на этом обрывается рукопись)

Зинаида Гиппиус

ХОЛОДНАЯ ЗИМА

1919-1920 г. В МОСКВЕ

1

Мы погибали в голодной и холодной Москве. Зима 1919-1920 года была очень снежной — в городе снег не убирали, и по сторонам улиц возвышались огромные сугробы. Кучи золы и мусора, сброшенные на задворках, покрывались новым снегом, и все вокруг выглядело белым и нарядным. Затем грянули морозы, и Москва, застывшая в сверкании кристаллов и стеклактитов, была величественна и прекрасна.

Трамваи не ходили, кроме линий А и Б, но лучше было и не пытаться в них влезть: они были переполнены, и целые грозди смельчаков висели на подножках, схватившись за поручни и друг за друга, и только чудом удерживались на быстром ходу. Но вскоре уличное сообщение совсем прекратилось.

Люди ходили пешком, замотанные от холода во что попало, боясь поскользнуться на каждом шагу. У всех за плечами висели мешки, прозванные некоторыми москвичами «appendix dorsalis», а более счастливые тащили за собой детские салазки с каким-нибудь добытым продовольствием или с ведрами — во многих домах из-за мороза лопнули трубы и надо было носить воду.

Обыватели были запуганы. Ходили слухи оочных грабителях «прыгунчиках» с приспособлением вроде пружин на ногах, которое позволяло им высоко взлетать и скрываться

Мы публикуем первый отрывок из воспоминаний О. В. Черновой, падчерицы В. М. Чернова, лидера и идеолога партии социалистов-революционеров, быв. председателя Учредительного Собрания, разогнанного большевиками в январе 1918 г. Воспоминания О. Черновой относятся к 1917-20 г.г., когда, после разгона Учредительного Собрания В. М. Чернову приходилось скрываться от ареста агентами ЧК. РЕД.

от милиционеров. Воображение испуганных людей наделяло их фосфорическими зелеными глазами; другие говорили, что они попросту держали в руках электрические лампочки и ими ослепляли запоздалых москвичей. Время от времени — и это было более реальным — прохожих раздевали догола ночью в глухих переулках, или снимали с них шубы. Бандиты — «налетчики» — вламывались в квартиры, иногда под видом обыска, и дочиста грабили их.

По вечерам улицы были пустынны. Только изредка в ночное время проносились грузовики с красноармейцами в острых, покрытых сукном шлемах, с винтовками и торчащими вверх штыками, или такие же грузовики, переполненные людьми в черных кожаных куртках. Случайные прохожие шарагались: работники Ч. К. ехали на очередной обыск или усмирение.

Мы жили нелегально. Мой отчим — Виктор Михайлович Чернов, лидер партии социалистов-революционеров, бывший председатель разогнанного учредительного Собрания, должен был скрываться. Вся наша семья жила в «подполье» почти пещерной жизнью. Мы видели мало людей — большинство друзей и знакомых боялись встречаться с нами, и не без основания: мы все время ждали обыска и ареста.

Мне и сестре Наташе было по шестнадцать лет — мы с нею близнецы. Обе мы окончили гимназию (тогда уже Третью советскую школу) весной в Саратове, но не могли и мечтать о продолжении образования. В это время особенно строго проверялось «происхождение» студентов, желавших поступить в Университет. Получить работу тоже было невозможно из-за отсутствия необходимых бумаг.

В одной большой комнате мы жили вшестером: мама, Виктор Михайлович, я и сестры — Наташа и девятилетняя Ариадна (Адя). Еще с нами разделяла комнату приятельница мамы — Ида Самойловна Сермус, ставшая впоследствии третьей женой В. М. Ее присутствие в нашей семье делалось все более тягостным и неприятным мне и Наташе. Но мама, приютившая у нас И. С. в 1917 году в трудное для нее время, оставалась верна этой дружбе и продолжала защищать ее, когда я или Наташа высказывали свои чувства.

Осенью мы получили эту комнату в отдельном одноэтажном доме у Яузских Ворот, где жил бывший член партии с.-р.

Синицын (я не запомнила его имени). Он уступил ее нам по рекомендации партийных товарищей. Так или иначе он должен был кому-то отдать эту комнату: по жилищным правилам того времени он не мог занимать целой квартиры вдвоем с женой.

Дом, вероятно купеческий, был построен солидно, по старинному, с толстыми стенами, кафельными печами и хорошо слаженными двойными оконными рамами. Расположение комнат было очень сложным. Наше окно выходило на улицу, но парадным ходом пользовались только Синицыны, а мы проходили через двор. Из нашей комнаты запутанные коридоры вели к входной двери, обитой ватой и черной kleenкой. Дверь запиралась на засов. Звонка не было, и иногда приходилось подолгу стучать, прежде чем кто-нибудь услышит и откроет дверь.

Синицын был практичным человеком и занимал хорошее место где-то в продовольственном учреждении. Материально он был отлично устроен: целые штабели березовых дров, были аккуратно сложены во дворе. Еще молодой, крупный и широкоплечий, Синицын сразу показался нам грубоватым и не общительным. Он не сделал ни шагу для сближения с нашей семьей.

В нашей комнате поместились три кровати и диванчик. Две из нас по очереди спали на полу, на подстилках. У окна стоял письменный стол; другой, обеденный, по середине комнаты. Мы готовили на маленькой печке, из тех, что были прозваны буржуйками. Печка была хорошая — она быстро согревалась на дровишках, щепках и древесном мусоре. Когда топливо кончалось, мы жгли газеты и остатки каких-то журналов. Кухней Синицына мы не пользовались, как не пользовались и его ванной комнатой. Мы брали воду из крана в одном из пустых коридоров и носили ее в кувшине. А мыться приходилось в большом белом эмалированном тазу, и в нем же мы стирали белье — задача нелегкая, особенно когда не было мыла.

Несмотря на всю отчужденность Синицыных, между нами все же было связующее звено в виде голландской печки, стоящей в их спальне: задней стороной эта печь выходила в нашу комнату, и слегка обогревала ее. Умеренное, ровное тепло,

которое шло от белого кафеля, вероятно, помогло нам выжить в эту холодную зиму.

Однако Синицын думал по-другому: тот факт, что «его» тепло шло к нам даром, казался ему пределом жизненной несправедливости. Он начал переговоры с мамой, доказывая, что, по праву, мы должны топить печь своими дровами, хотя бы два раза в неделю. Мама, всегда деликатная в общении с людьми, попыталась объяснить ему, что мы не в состоянии этого делать. У нас нет дров — где их достать и на какие деньги? С большим трудом мы добываем мелкие щепки и дровишки, чтобы варить обед — их не хватит на топку большой голландской печи.

Впуская нас, в занимаемый им дом, Синицын, вероятно воображал, что благодаря своему положению в партии, В. М. будет получать какую-то помощь от Московской организации с.-р. или из провинции. Он не мог себе представить степени нашей бедности и неустроенности. Синицын разозлился, и его раздражение перешло в маниакальную ненависть к нашей семье. Он ничего не мог придумать, чтобы помешать физическим законам посыпать тепло в нашу комнату, и мысль об этом превратилась у него в навязчивую идею. Время от времени, встречая кого-нибудь из нас в коридоре, он начинал тот же бесмысленный разговор, переходивший в оскорблений и ругательства.

Время было нелегкое. В такие периоды испытаний, как война, оккупация, голод и террор, люди обнажаются и резко разделяются на две категории. «Средних» не бывает: одни делаются насквозь дурными — другие достигают большой духовной высоты. Сколько раз в трудные годы лишений мне приходилось наталкиваться на то, что люди (часто из более обеспеченных) при звонке или стуке в дверь поспешно прячут остатки обеда и даже сметают крошки со стола. А другие, живущие впроголодь, тащат все, что у них есть, чтобы накормить случайно зашедшего гостя.

Синицын, который в «нормальное» время вероятно был средним человеком, при этой суровой проверке оказался тупым негодяем. А его жена, может быть и добрая женщина, боялась его и молчала. Таким образом, загнанные в подполье режимом, мы боялись и Синицына и все время ждали от него к.н. грубой и мстительной выходки.

2

Наша материальная жизнь была очень трудной. Денег оставалось очень мало — мы проживали аванс, полученный Виктором Михайловичем от издателя З. И. Гржебина за мемуары, которые он начал писать. При заключении договора эта сумма казалась значительной, но цены на продукты росли, а денежные знаки обесценивались с каждым днем. Мы жили под чужими именами и, из шести человек, удалось прописать только трех. Пайки, получаемые по карточкам 3-й категории — «нетрудящихся» — были ничтожны. Я помню эти карточки с купонами из грубой серой бумаги. В центре было напечатано стихотворение неизвестного автора:

Два мира борются, мир новый и мир старый,
И бурная волна корабль кренит,
И над гнездилищем всех пролетарских маят
Стучат бетон, железо и гранит.
И на бетонном пьедестале
Мир пролетарский мы скуюм из стали
В немногие, бесстрашные годы.

На добычу продовольствия иногда уходил целый день. Все магазины, кроме государственных, где изредка выдавались продукты по карточкам, были закрыты. На работе служащие получали пайки — крупу, постное масло, сахар и керосин. Никто из нас не служил. «Кто не работает, да не ест!» было лозунгом тех лет.

Частная торговля была запрещена, но на рынках нелегально или полулегально шла оживленная купля-продажа и обмен товаров: пищевых продуктов, подержанной одежды, домашней утвари и предметов роскоши. Несмотря на запрещение, крестьяне привозили из деревень хлеб, картошку, молоко и мясо, чтобы обменять их на необходимые им соль, керосин, одежду, галантерею, посуду или гвозди. К их толпе примешивались так называемые «мешочники» или «спекулянты» — люди, которые возили в мешках по железной дороге все эти предметы и, получив взамен пищевые продукты, продавали их в городе. Этим, по моему они спасали голодающее население городов.

Со спекулянтами правительство вело беспощадную борьбу. Их арестовывали и расстреливали, сваливая на этих мелких

пронырливых торговцев всю вину за плохое снабжение, разруху и голод в городе и деревне. Причины были иные: советское правительство, прия к власти, с самого начала восстановило против себя крестьянство.

Толкучие рынки — Сухаревка, Смоленский и Трубный — были своеобразным явлением того времени. Торговцы стояли плотными рядами, другие продавали находу, громко выкрикивая и хваля товары. Толпа была настолько густая, что покупатели с трудом протискивались сквозь нее. Деревенские бабы в рыжих нагольных тулуках, с головами повязанными до самых глаз серыми платками, стояли вокруг высоких бидонов и ведер с замерзшим молоком, держа в руках кульки с крупой и мукою, или творог в обледенелой тряпочке. Мужчины клади перед собой раскрытие мешки с мерзлой черной картошкой, свеклой или капустой. Городские торговки приходили с лотками, висевшими на ремнях или на сшитых из тряпок тесьмах через плечо, или на шее.

Женщины и девушки из «бывших людей», замерзшие, с печальными лицами, стояли возле сложенных на земле зеркал, картин, бронзовых статуэток и фарфоровых безделушек, еще недавно украшавших их квартиры. Можно было за бесценок купить старинные миниатюры, портреты и редкие книги. Так, еще осенью, мама купила мне и Наташе ожерелья: Наташе — из горного хрусталя, а мне из крупного темно-красного коралла. И мы обе до сих пор их храним.

Мальчишки — подростки и совсем еще маленькие — тоже торговавшие на базаре, шныряли взад-вперед, оживляя рынок криками и создавая суetu и толкотню.

Время от времени на рынках действительно устраивались облавы — представители власти ловили «спекулянтов». При первой тревоге среди продавцов начиналась паника — они поспешно свертывали товары, хватали мешки и узлы и, волоча их, разбегались в соседние улицы и подворотни. Площадь пустела. Слышались свистки — рынок оцеплялся чекистами. Кое-кого хватали и арестовывали. У покупателей тоже проверяли документы.

Пищевые продукты постепенно исчезали, и на некоторые, более доступные товары собирались очереди, и приходилось подолгу выстаивать, чтобы купить свеклу, маленькие обледе-

нелевые кочаны капусты, морковь или черную, страшную картошку. Люди озлоблялись. Все сурово следили за тем, чтобы кто-нибудь не проник без очереди и не встал на чужое место; однако ловкачи все-таки проскальзывали вперед. Мне запомнился разговор, слышанный в длинном хвосте за овощами. Интеллигентная женщина средних лет, устало вздохнув, проговорила примирительно:

— Мяса нет, ну что-же? Ложка моркови — капля крови, как сказал Лев Толстой.

И тотчас последовала реплика стоящей за нею:

— И не одну эту глупость сказал ваш Толстой!

Дома возникала другая задача: как сварить овощи? Мы разрезали свеклу на ломтики и были рады, когда удавалось довести до кипения небольшую кастрюлю. Морковку мы грызли сырой, отогрев ее в печке. Хлеб и крупу редко удавалось купить. Иногда мы приносили с рынка замерзшее ледышками молоко, и оно постепенно оттаивало в комнате. Я брала в рот эти молочные льдинки и мне казалось, что на свете нет ничего вкуснее.

Как-то среди зимы удалось достать мешочек лука. Дома ничего не было, и мы несколько дней питались только луком. Мы его пекли в духовке — и до чего же он был вкусный, сладкий и душистый! Его аромат наполнял комнату. Однажды, по инициативе друзей, нам прислали из провинции кусок свиного сала, представлявший тогда огромную редкость. В то время у нас не было ни крупы, ни муки, ни овощей, ни хлеба. И мы ели одно сало, без ничего, слегка поджарив его для вкуса. Какая жалость! Это же сало можно было расходовать понемногу, подправляя им какие-нибудь кушанья, кашу или суп. И его хватило бы надолго!

Во времена наших переездов, скитаний и бездомности, длившихся с начала 1918 года, у нас пропали почти все вещи и книги. Одежда мало по малу износилась, кое-что у нас украли, и не оставалось ничего на продажу или обмен.

Чая и кофе не было — о них не оставалось и воспоминания. Но мы ставили самовар, данный нам на время друзьями — из той категории, которые делились своим имуществом и рады были помочь другим. Мы заваривали сушеную яблочную кожуру, или мелко нарезанную морковку — это были самые

лучшие «замены» чая. Мы перепробовали различные суррогаты, которые продавались на толкучке. Из них мне запомнился жульнический пакетик, содержащий несколько кусочков чего-то похожего на цикорий. На упаковке из серой бумаги были изображены ягоды малины, и было написано «Сладкочай, употреблять без сахара и варенья!»

Наша печка, раздобытая через знакомых, была куда усовершенствованнее обычных маленьких круглых «буржуек» и «пчелок», обогревавших московские квартиры. Она стояла на прочных чугунных ножках, поверхность плиты была большая, с двумя комфорками. В это время общей нищеты Москва волновалась от всевозможных слухов о том, что кто-то где-то «достает» необычайные вещи, которых нет у других. И это сообщало москвичам постоянное беспокойство и чувство, что надо куда-то бежать, что-то узнавать, и боязнь не успеть и пропустить исключительный случай.

Виктор Михайлович услыхал от знакомых, что существует какая-то особенная печка — настоящее чудо! — марки «Бромлей», которая потребляет очень мало топлива и дает максимальный жар.

— Вот бы нам достать этот самый «Бромлей», — повторял В. М. каждый день, разжигая щепки.

Перед нашим отъездом из синицынской квартиры, прежде, чем вернуть печку ее хозяевам, мы с Наташой решили почистить ее получше. Мы скребли ее со всех сторон ножом и терли бумагой. И что же? С краю, возле трубы, мы увидели на чугуне фабричное клеймо с отчетливой надписью «Bromley and Co.» — у нас был «настоящий Бромлей».

3

Нас спасали книги. Вечером, когда кончалась «добыча» продуктов или топлива, когда посуда после ужина и морковного чая была убрана, мы садились читать. В эту зиму я и Наташа впервые прочли Достоевского. Книги мы добывали как продовольствие — с великим упорством. И я всю жизнь буду благодарна людям, которые давали нам на прочтение книги из своей библиотеки.

Электрический ток часто прерывался и свет потухал. Тогда — если еще был керосин — мы зажигали лампу и ставили

ее на круглый обеденный стол. Мама всегда любила чтение вслух, и она читала, а мы, слушая ее, рисовали, шили или чинили одежду.

Виктор Михайлович — мы звали его Виктей — писал: он работал над своими мемуарами. Иногда он подсаживался к нам и с увлечением читал Шекспира, Гоголя, Глеба Успенского, «Соборян» Лескова. Некрасов был его любимым поэтом и он часто перечитывал его стихи и поэмы — «Мороз красный нос» и «Кому на Руси жить хорошо».

Шел девятнадцатый год — он подходил к концу. В каком-то ином мире мои сверстники учились в Университете, молодежь вступала в Комсомол и на вечерах танцевала венгерку.

Курсанты танцуют венгерку
Идет девятнадцатый год...

(В. Луговской)

Они провозглашали свою «новую правду», которая вошла в жизнь легендой, — она длится больше пятидесяти лет. Но в те годы мне пришлось увидеть жизнь совсем с другой стороны.

Было немного людей, которые еще решались поддерживать дружбу с нами. Из таких «не боявшихся» я вспоминаю семью присяжного поверенного Богорова. Он и его жена помогали нам в нашей бездомной жизни. Два раза у них лежала больная мама с высокой температурой, и жена Богорова ухаживала за нею. Они прописали меня и Наташу в своей квартире, когда это еще было возможно. Они же снабжали нас книгами. Мы дружили с их пятнадцатилетней дочерью Шурой; у них еще были сын и младшая дочь. Богоровы жили в прекрасной, хорошо обставленной буржуазной квартире на Пречистенском бульваре. До революции они были состоятельными людьми. Но в эту зиму их дом, построенный в стиле модерн, с паровым отоплением, тонкими стенами, лифтом и большими лестничными пролетами, был страшен. Трубы отопления и канализации лопнули, вода потекла и затопила лестницы и квартиры. Дом превратился в огромную ледяную глыбу. Ни печей, ни дымоходов в нем не было и Богоровы, отапливая одну единственную комнату в своей великолепной квартире, должны были вывести трубу «буржуйки» в окно.

Я не знаю, что стало с этими сердечными и щедрыми

людьми. Еще до нашего отъезда из России я слышала, что Богоров был арестован по доносу, за знакомство с В. М. Черновым. Что случилось потом?

Еще наша семья дружила с братьями Рабиновичами, бывшими меньшевиками. Они жили на Никитском бульваре. Оба брата работали в крупном издательстве и были сравнительно хорошо устроены. Их знала раньше Ида Самойловна и они — одни из немногих ее друзей — стали и нашими. Евгений и Александр Исааковичи, были всегда рады приходу кого-нибудь из нас и охотно давали нам книги.

К нам редко кто заходил. Чаще других членов ЦК партии с.-р. у нас бывала Евгения Моисеевна Ратнер, большой друг мамы. Это была энергичная женщина, умная и горячая, с большим характером, крупная и сильная. Она погибла вместе с другими эсерами после процесса 1922 года.

Жена члена ЦК Тимофеева тоже заходила к нам. В эту зиму был арестован ее муж — проходя по бульвару он попросил у прохожего огня, чтобы прикурить папиросу. При свете загоревшейся спички лицо Тимофеева осветилось и протянувший ему спичку незнакомец, оказавшийся чекистом, узнал Тимофеева и тут же арестовал его.

Но самым большим, самым верным другом нашей семьи была Юлия Михайловна Зублевич, по партийной кличке Даша Кронштадтская. По происхождению она была полькой, из интеллигентной семьи. Совсем молодой она вступила в партию с.-р. и работала в России. Она вела революционную пропаганду среди матросов в Кронштадте — одна из тех, кто готовил восстание 1905 года. Из конспирации она поступила прислугой в офицерскую семью под именем Даши; отсюда ее партийное прозвище.

Свое медицинское призвание Даше не удалось осуществить. Ей пришлось покинуть университет с третьего курса и перейти на нелегальное положение; с тех пор она целиком посвятила себя революции. Даша была человеком необыкновенно одаренным духовно — она была из тех, кто всю жизнь ищет правды, Даша нашла ее в служении людям. У нее, отшедшей от всякой религии (в юности она была католичкой), сохранилась мистическая вера в русский народ. И будь она на поколение старше, она была бы с теми, кто «ходил в на-

род». Чуждая малейшего эгоизма, тщеславия и самолюбия, она была настолько скромной, что искренне считала себя самым заурядным человеком. Чуткая и совестливая, она постоянно упрекала себя в чем-то, и, при столкновении с людьми, старалась стать на их точку зрения.

Высокая и худая, с удлиненным лицом и впалыми щеками, она своей внешностью воссоздавала образ христианки первых веков, или святой. Ее светлозеленые глаза выражали нежность и печаль. В ней не было ни суровости, ни строгого отношения к другим.

Даша всегда была одета очень скромно, даже бедно. Все, что у нее было получше, или то, что ей дарили друзья, желая ее приодеть, она отдавала другим, более молодым женщинам, считая, что им важнее быть нарядными. Однако, любя чистоту, она всегда была аккуратна и ее одежда хорошо поштопана, выстирана и подглажена. Даша умела изумительно штопать и обучила нас этому искусству. Она рассказывала нам, что еще в отрочестве, всегда садилась за штопку, чтобы за этой спокойной работой обдумывать важный вопрос, или принять трудное решение. Даша очень любила искусство, играла на рояле, но подавляла в себе эту сторону жизни. Наш дом она ценила именно потому, что, в противоположность многим социалистам того времени склонным к аскетизму, мама широко и открыто любила все проявления искусства и не отрицала его новых путей. В нашем доме признавали символистов, читали «декадентских» поэтов, тогда как многие товарищи родителей в поэзии еще не отошли от Надсона и П. Я., разделяя Толстовское отношение к искусству.

В 1905 году Даша была арестована. Она бежала из тюрьмы, скрывалась и уехала за границу. Она жила в Париже и в Италии. Полюбив «всю Черновскую семью», Даша подолгу жила в нашем доме, сначала в Местечке Феццано в заливе Специи, затем у нас на вилле в Алассио, на Лазурном побережье Италии.

Вскоре она стала для нас родным человеком. У нее был большой педагогический дар — умение преподавать и подойти к детям. Для меня и Наташи она была учительницей естественных наук и анатомии. А главное — старшим другом, оказавшим на нас большое влияние в детстве и отрочестве, которое

сохранилось на всю жизнь. Младшим детям, ровесникам Ади, жившим у нас на даче, она преподавала математику, умея сделать ее начало легким и занимательным. Своими медицинскими знаниями она пользовалась, ухаживая за больными — и это было ее настоящим призванием.

Русская революция 1917 г. застала Дашу у нас в доме, и мы с нею вместе вернулись в Россию. После разгрома партии с.-р. в 1918 году, она не примкнула к левому крылу, поддерживавшему большевиков.

В эту зиму, иногда после долгих исчезновений, Даша приходила к нам с ночевкой или, по ее словам, «забегала погреться у огонька». Мы бросались к ней, снимая с нее промерзшую одежду — «шкурки» и «хламидки», как она говорила, плохо защищавшие ее от холода, разматывали ее длинный шарф, грели руки и усаживали в теплый уголок около синицынской печки. Мы старались ее ободрить и приласкать. Усталая, голодная — она отдыхала у нас. — «Вы мне душу выглаживаете», — говорила она шутя.

Даша особенно любила наши чтения вслух — это была давняя традиция в нашем доме. Когда мама или Виктория закрывали книгу, она смеялась: — «Вот, одним позором стало меньше, а то совсем отстала от литературы и просто разучилась читать».

Даша не любила Иду Самойловну. С самого начала она показалась Даше, не склонной осуждать людей, каким-то чуждым элементом — инородным телом — в нашей семье. Ее удивляло свойство И. С. всегда хвалить и выдвигать себя на первый план, говорить о своих женских успехах и поклонниках, и ставить нам, девочкам, в пример свою энергию и жизненность. Ида Самойловна никогда не училась в университете, но постоянно вспоминала «студенческую среду», где ее окружали кавалеры и она была знаменита тем, что танцевала сразу в четырех углах комнаты.

Мама старалась объяснить Даше поведение Иды Самойловны тем, что муж ее бросил и она поневоле зависит от нашей семьи — она была унижена как женщина, и теперь, не имея ни места, ни денег, она хочет утвердить себя. Даша через силу старалась «понять» и согласиться с мамой. Товарищи родителей тоже не любили И. С. и не доверяли ей, и это еще больше чем конспирация, отмежевывало их от нашего дома.

4.

Ида Самойловна Педдер была эстонкой. В молодости вступила в партию большевиков. Вышла замуж за скрипача Сермуса, тоже эстонца, и они вместе эмигрировали и жили в Париже в эстонской колонии среди художников и богемы. Мама познакомилась с ней в 1916 году.

Вскоре после русской революции И. С. записалась в группу парижских эмигрантов, возвращающихся в Россию. Ее муж давал ряд концертов в Лондоне и она должна была встретить его там, чтобы вместе продолжать путешествие.

В это же время мы с мамой ехали в Россию из Италии, где на итальянском Лазурном побережье прожили семь лет. Виктор выехал раньше нас, еще в апреле, на одном из первых пароходов с русскими эмигрантами, возвращавшимися на родину. Вскоре по приезде он был назначен министром земледелия во Временном Правительстве. Он ждал нас в Петрограде.

Из Италии мы поехали в Швейцарию: в Цюрихе собиралась группа русских эмигрантов, стремившихся вернуться в Россию. Я помню, как в комнате нашего пансиона, австрийский социалист Адлер уговаривал маму, жену ministra земледелия, ехать в запломбированном вагоне через Германию, тем же поездом, может быть, которым ехал Ленин. «Этим вы покажете, — говорил он, — пример другим эмигрантам. Социалисты не должны считаться с империалистической войной — она их не касается». Адлер очень горячо доказывал это маме, и предупреждал ее, что морской путь опасен — Северное море минировано немцами — неужели мама возьмет на себя риск ехать на пароходе с тремя дочерьми? «Genosse Tchernoff» тоже интернационалист и циммервальдец и доводы его, Адлера, совпадают с взглядами русского левого социалиста». Однако, он не убедил маму, и мы присоединились к группе, направлявшейся в Петроград через Париж, Лондон, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Путь был действительно небезопасным: один из пароходов с русскими эмигрантами был потоплен немецкой подводной лодкой. В. М. первоначально получил билет именно на этот пароход, но он его уступил старшему товарищу, заслуженному революционеру Карповичу. Карпович погиб. Спасательных лодок не хватило на всех пассажиров. Об ужасной смерти

утопающих мне рассказывал очевидец — с.-р. Ив. Ив. Яковлев, ехавший на этом пароходе. Он сидел в переполненной людьми лодке — ее борты едва возвышались над водой — и видел, как матросы били веслами плывущих пассажиров, пытавшихся влезть в лодку.

С И. С. мы встретились в Париже. Оказалось, что мы записаны в ту же самую группу. И, когда мы приехали в Лондон, организаторы репатриации поместили нас в тот же недорогой пансион. Там мы прожили больше двух недель. С нами ехал мой двоюродный брат Василий Васильевич Сухомлин с женой. Он был сыном народовольца Василия Ивановича Сухомлина — единогубого брата мамы. Их мать, моя бабушка, Мария Михайловна Савинова была замужем первым браком за И. Сухомлиным, вторым — за писателем Елисеем Яковлевичем Колбасиным, отцом мамы.

Опасаясь немецкого шпионажа, английские власти до последнего дня скрывали дату отплытия парохода — никто не знал когда и из какого порта он отойдет и не сообщали его названия.

Незадолго до нашего отъезда И. С. постучала в наш номер. Лицо ее было заплакано. По знаку мамы мы, девочки, ушли из комнаты и спустились в гостиную.

И. С. рассказала маме, что ее муж оставил ее и, не предупредив даже письмом, женился на англичанке. Она была в отчаянии, рыдала, говорила о самоубийстве. Мама утешала ее, как могла. Вечером пришел Сермус и, уже при нас, умолял маму не оставлять Иду и взять ее с нами в Россию. Там она найдет своих прежних друзей и постепенно втянется в жизнь. Мама, горячая и отзывчивая, обещала ему позаботиться об И. С. и просто взяла ее в нашу семью.

Был июнь. Погода стояла прекрасная. Мы с Наташой гуляли по Лондону и много времени проводили вдвоем или с Адей в Национальной галлерее. В Британском музее все ценное — античные статуи и барельефы — было убрано, и перенесено в подвальные хранилища из опасения воздушных налетов и бомбардировок, но в Национальной галлерее по-прежнему все картины висели на своих местах.

Наконец нашей группе было дано знать, что мы уезжаем из Лондона, в неизвестном направлении, на другой день утром.

Я помню последний вечер в Лондоне. Сермус пришел проститься с Идой Самойловной и мамой. Он казался несчастным. В потертой гостиной отеля с линялыми креслами, в присутствии пожилых англичанок, живших в пансионе, он до поздней ночи играл на своем дивном Страдивариусе. И с того времени И. С. стала нашей постоянной спутницей.

На другой день мы доехали до Шотландского порта Абердина и ночью, при потушенных огнях, погрузились на пароход, который отплыл только перед рассветом.

В нашей группе ехал И. Г. Эренбург, еще молодой, тяжелый, с длинными нечесанными волосами по самые плечи и закутанный в темновзеленый плед. Впоследствии он описал это путешествие в своих мемуарах. И при встрече в 1962 году мы вместе вспоминали один из эпизодов переезда. На нашем пароходе ехал эстонский художник по имени Рудди — он был знакомым Иды Самойловны. Совсем небогатый, он все же купил себе специально изобретенный непромокаемый надувной костюм, способный продержать человека несколько суток на поверхности воды. Рудди, в предвидении опасности, все время ходил по палубе, облаченный в это чудное серо-зеленое одеяние.

На пароходе было тревожно: всем были выданы спасательные пояса и номера на соответствующие лодки на случай, если пароход заденет мину. Каждый смотрел, не покажется ли где нибудь среди высоких волн перископ подводной лодки. Несколько раз среди пассажиров возникала паника, и все бросались к нумерованным лодкам.

Какой-то богатый делец, датчанин или норвежец, предложил Рудди большие деньги за его надувной костюм, и, по мере путешествия постепенно набавлял цену. Но Рудди не соглашался до той самой минуты, когда на горизонте появилась узкая полоска берега. Однако покупатель, успокоенный видом уже недалекой земли, сразу отступил и независимо шагал по палубе, заложа руки за спину. А бедный художник не мог себе простить, что отказался от крупной суммы денег из-за опасности, которая теперь уже казалась призрачной.

В больших многоместных каютах 3 класса, отведенных для русских эмигрантов в самом нижнем ярусе парохода, было очень душно, а погода стояла хорошая, хотя и прохладная.

Мы с мамой сразу же решили спать на палубе, кутаясь в одеяло и пальто. Горячей пищи, кроме ужасного чая с молоком, наливаемого в эмалированные кружки — не полагалось. Всем пассажирам этого класса были разданы «куковские корзины» (вероятно по имени пароходного агентства). В них была сухая, жирная колбаса, шоколад худшего сорта, хлеб и сыр и какие-то «морские» бисквиты, до того твердые, что даже я и Наташа, славившиеся крепкими зубами, не могли их разгрызть. От этой «куковской» пищи пересыхало горло, мучила жажда и разливающийся в трюме чай казался менее противным.

Но все это было неважно: мы ехали по морю при ярком солнце — чайки белым облаком сопровождали пароход; вечером, лежа на одеялах, мы любовались закатом, отражавшимся бронзовой полосой, которая протягивалась от сверкающего низкого солнца до самого парохода. Нас ждала новая незнакомая жизнь.

Мне запомнился приезд в Берген — маленький порт, сверкающий чистотой и пропитанный запахом моря. В порту и на улицах стояли новые бочки из светлого дерева, наполненные свежей — серебристой, или копченой — медно-золотой рыбой. Возле них лежали аккуратно сложенные рыболовные снасти и свернутые канаты. Это были последние числа июня, белые ночи еще не кончились, и было совсем светло, когда мы ехали ночным поездом из Осло (Христиания) в Стокгольм, где мы провели сутки. Затем наш путь лежал через Финляндию — Гаппаранду и Торнео.

В поезде кто-то сказал нам, что в Петрограде неблагополучно (это было третье июля): большевики произвели попытку восстания и хотели арестовать Чернова. Несмотря на то, что рассказчик уверял, что все успокоилось, мы были очень встревожены.

5

В Петроград мы приехали вечером. Виктор встретил нас; он сильно охрип и с трудом мог говорить.

— Это наша общая министерская болезнь, — прошептал он. — Слишком много приходится выступать, произносить речи и спорить.

Мы сели в большую министерскую машину — кажется

это был единственный раз, мы больше ею никогда не пользовались — и поехали по улицам Петрограда. Мы медленно ехали мимо Дворцовой площади, «сторожевых львов» и набережными до дворца великого князя Андрея Владимировича на Галерной улице. В этом дворце помещался «штаб» партии с.-р. и редакция газеты «Дело Народа». Там же В. М. принимал делегатов по делам министерства земледелия.

Виктор провел нас через парадный ход: широкая мраморная лестница вела наверх, по сторонам ее стояли чучела темнобурых медведей. Белые стены были украшены золотыми лепными узорами и охотничими трофеями великого князя. Нас встретил высокий, довольно хмурый дворецкий с черными усами, из прежних служащих дворца; он называл себя «вахтером».

— Жена и детки господина министра... — И он проводил нас наверх в две более скромные комнаты, отведенные для нашей семьи.

Впоследствии Наташа и я старались разговориться с ним и узнать его отношение к революции. Но он никак не высказывался, как будто бы ему все равно кому служить во дворце, к которому он привык.

Родители поместились в одной из спален, положив Адю на диванчик. А мы с Наташей и И. С. легли втроем на одну широкую кровать. По приезде И. С. не сделала никаких усилий, чтобы найти своих прежних товарищек или устроиться самостоятельно. Она продолжала плакать, повторяя, что она одна, никому не нужна и жизнь ее кончена. Мама уговаривала ее, заботилась о ней, стараясь уверить, что она будет незаменимым секретарем для В. М., и ее присутствие в нашей семье совершенно необходимо. Наташа, Адя и я жалели ее, как всякого человека, переживающего горе. Но мы считали, что ее жизнь в нашей семье времененная. Хотя мы и привыкли к присутствию чужих людей в нашем доме, но всегда мечтали о более тесной жизни с родителями без посторонних. Но время шло, и она так и оставалась с нами, хотя это было неудобно, нелепо и, вероятно, со стороны производило нехорошее впечатление: слишком много женщин окружало В. М.

Так началась наша жизнь в Петербурге — безалаберная, неуютная и интересная. Я и сестры рассматривали дворец, про-

ходили через парадные залы, золоченые будуары с мебелью разных стилей — мавританским, ампир или Людовика XV — гуляли по длинным галереям с зеркальными окнами, выходившими на набережную Невы, прекрасную при дневном и ночном освещении.

Быт нашей семьи был неустроен. Кухни помещались в подвальных этажах дворца, мы ели всухомятку, в самые неподходящие часы. Разва два в день можно было получить чай — его устраивали для комитета партии с.-р. Несколько пожилых дам, опекавших быт Викти в отсутствие мамы, встретили нас недружелюбно и старались отстранить маму от партийной работы. Среди них самой властной была Елена Аркадьевна (фамилию ее я не помню), маленькая женщина с белоснежными волосами.

Вокруг В. М. было множество народа. Постоянно приходили люди по делам министерства, происходили заседания по подготовке выборов в Учредительное Собрание; приезжали делегаты от крестьян из провинции и ходоки из дальних деревень. Много было и неизбежных просителей со всевозможными, часто нелепыми ходатайствами: об освобождении от военной службы, о сохранении имений помещиков от реквизиций (иногда сопровождаемые угрозами), от людей, желающих получить земельные наделы. Мама принимала этих людей, стараясь разобраться и отделить серьезные просьбы от вздорных.

Мы с сестрами ходили по улицам Петербурга, открывая новые места и узнавая уже знакомые по литературе, иллюстрациям и старинным гравюрам. Дни стояли солнечные, но солнце нам казалось туманным и бледным после ослепительно-яркого, к которому мы привыкли в Италии.

Настроение улиц было тревожным — повсюду чувствовалась глухая угроза. Уличные митинги продолжались, хотя первый радостный подъем кончился. Большие группы людей собирались на углах улиц, площадях, скверах. Особенно многочисленны бывали митинги на Марсовом поле, в те годы на еще не мощеной огромной площади. Ораторы стояли на случайных, наскоро сбитых из досок эстрадах, на бочках, поставленных днищем вверх, и обращались к толпе с импровизированными речами. Меня смущало выражение лиц, собиравшихся вокруг: угрюмое, недоверчивое, настороженное.

Около булочных и продовольственных магазинов стояли длинные очереди. Меня удивили русские ярко синие вывески с наивно выписанными на них продуктами: золотистыми хлебами, кренделем, розовым окороком и молочной бутылкой. Как они отличались от больших заграничных витрин.

После Европы и даже небогатой Италии нас поразила бедность одежды жителей Петербурга. Эти люди с печальными и озабоченными лицами были совсем не похожи на тот «революционный народ», который рисовало мое воображение подростка, когда я читала заголовки и текст иностранных и русских газет в дни революции. Везде чувствовалось недоверие; уличные ораторы и газеты всех направлений предостерегали против измены — справа, слева, на фронте и при разделе земли.

Видно было, что мама, хотя она и не хотела открыто соглашаться с нами когда мы делились с нею своими впечатлениями, была сама в тревоге о том, какой оборот примет революция. Виктория, однако не терял оптимизма, и когда изредка удавалось видеть его между заседаниями министерства и партийными собраниями, он успокаивал нас, говоря, что все решит Учредительное Собрание. А по всему видно, что эс-эры в нем получат несомненное большинство.

(Продолжение следует)

Ольга Чернова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ В. В. РОЗАНОВЕ И ОБО ВСЕЙ СЕМЬЕ

ТАТЬЯНА РОЗАНОВА

Читатели обоих коробов *Опавших листьев* Розанова хорошо знают всю его семью, в том числе и Таню, о которой он писал больше, чем о других дочерях и сыне. Таня будто бы походила на купленную в булочной зебру из папье-маше: «...тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная». Перед сном она заходила в кабинет отца и говорила: «— Прощай, папушок... Как я люблю слушать из-за стены, как ты тут копаешься, точно мышка в бумагах...». В тех же *Опавших листьях* Василий Васильевич вспоминает, как Таня, еще подросток, прочла ему наизусть Воспоминание Пушкина. Многое не поняла и вместо «Киприды» сказала «Каприды»! А вот, «затвердила довольно трудные по длине строки, то привлекаемая тайной мукой, сокрытой в этих строках, (то) кого-то жалея в этих строках, с кем-то ответно разделяясь в этих строках душой».

Татьяна Васильевна родилась 22 февраля 1895 г. и умерла в Москве 11-го мая 1975 г., в 18.30. Прожила долгую трудную жизнь. Но в осень дней была она не одна, а с хорошими молодыми друзьями, ей очень помогавшими.

Т. В. писала свои воспоминания бесхитростно — умом сердца и, несомненно, живо воссоздала и отца, и всю семью, весь розановский быт в Петербурге, а позднее и в Троице-Сергиевом Посаде. Сообщила немало ценнейших, неизвестных еще, данных о жизни В. В., о его ближайших друзьях.

Т. В. как-то спросила отца, как он мог так нападать на христианство (во Христе прогорк мир). В. В. ответил: так нужно было, но ты этого понять не можешь.

Гений Розанова с его «contra и pro христианство» остается неразгаданным. А его живой — разговорный домашний язык не умрет, пока будет звучать русская речь.

Воспоминания Т. В. разделены на девять глав. Пятая глава была помещена в *Вестнике РСХД* (974 г.).

Юрий Иваск

ГЛ. I. МОЛОДЫЕ ГОДЫ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Начинаю свои воспоминания с дневника отца моего, Василия Васильевича Розанова. Дневник сохранился с гимназических лет 1871 года.

«Я родился в Ветлуге Костромской губернии. Отец мой был добр, честен, простодушен, — но вместе с тем не был слабого характера. Я лишился его на третьем году жизни. Он умер, получив простуду, когда гонялся в лесу за мошенниками, губившими лес (он был лесничий). Мамаша долго (впродолжении трех лет) горевала и дала обет никогда не выходить замуж. Она была убита смертью мужа и отца семейства. Семь человек детей осталось на руках ее; восьмой вскоре должен был появиться на свет. В Костроме, в гимназии, учились: старший брат Николай, третий брат Федор и старшая (годом моложе Коли) сестра Вера. Коля подавал блестящие надежды. С поступления в первый класс, он постоянно шагал первым. Сестра постоянно была второй ученицей. Не одно прилежание, — было причиной ее успехов, безупречная скромность и превосходное поведение, — были причиной всеобщего к ней уважения.

Сестра Павла, брат Федор, Дмитрий, я, Сергей и родившаяся сестра Любовь были с матерью. По смерти папаши она продала большую часть своего имущества и переехала в Кострому.

.....

Я помню, как мы голодали по целым неделям. Дня по три мы питались печеным луком. Просили хлеба у приезжающих к нам мужиков — угольников. Не забуду по гроб случая, когда мы, найдя где-то грош, послали Сережу купить четверть фунта черного хлеба. Это было в Великом посту.

Верочка, тихая, скромная, любящая уединение, не любящая гулять по бульвару, слабая — не вынесла всех этих страданий и умерла через год после выхода из гимназии».

.....

Впоследствии, я вспоминаю, как в разговорах за обеденным столом отец часто обращался к событиям своей жизни. Он рассказывал, что мать его происходила из обедневшего дворянского рода Шишкиных, о чем она любила с гордостью

вспоминать. Об этом писал Василий Васильевич в «Опавших листьях», короб 1, стр. 235-238.

Отец рассказывал и о том, что мать его, продав почти все свое имущество, могла купить в Костроме небольшой деревянный дом. Матушка его, хотя и дала обет не выходить более замуж, после трех лет не выдержала и сошлась с молодым художником, который являлся как-бы отчимом для всех восьмерых детей. Он был человеком озлобленным, часто пил и детям жилось очень плохо. Мать болела в конце своей жизни раком и от этой болезни умерла. Как мне помнится, по рассказам отца, он учился два года в Симбирске, а затем его взял к себе старший брат, Николай, в Нижний Новгород, где он был преподавателем и, кажется, вместе с тем и директором гимназии. Отец окончил гимназию в Нижнем Новгороде. Затем брат Николай продолжал материально помогать отцу, когда тот уже поступил в Московский университет.

По сохранившимся записям дневника отца видно, что его с детства волновали религиозные вопросы: «Еще и прежде в мою бедную голову западала мысль, — что нет Бога, — но тогда я тотчас же в слезах бежал к моей доброй мамаше и простодушно говорил ей, что невидимый демон хочет погубить меня».

.....

Вот, еще строки из его дневника:

«Часто, во время длинных, лунных ночей, когда приветливые звездочки весело мерцают в беспредельной голубой лазури небес — часто думаю о Боге. Иногда вместе с этими мыслями — воспоминания о прошедшем толпились в моей голове. Глядя на чудные небеса, я вспоминаю подобные же ночи, которые проводил года два тому назад в кругу родной семьи. Я мысленно сличаю того Василия, который два года назад глядел на эти же неподвижные звезды, — и на Василия теперешнего. Сравнивая мое прежнее и настоящее религиозное чувство, припоминая частные случаи моей жизни, я всегда прихожу к одному простому убеждению — что это светлое чувство все более и более вытесняется из моего сердца и впечатлительного ума».

.....

В старших классах гимназии и в студенческие годы его,

повидимому, захватили и научные вопросы. На странице 70-ой дневника отец записал: «Мне хотелось быть философом и общественным деятелем», а на странице 77-ой (1872 года 11 августа) следующая запись: «Мне приходит на ум, когда я читаю или рассматриваю звездное небо, — отчего это у нас нет хорошей небесной карты».

.....

«Далее сегодня я тоже думал, почему это у нас не составят атласа, который бы наглядно изображал историю земли и историю органического развития на ней. Тоже недурно было бы составить атлас геологии, показывающий строение земли, разлчные земли, минеральные граниты и прочее. Ведь это было бы великолепно!

Хорошо бы составить карту, показывающую качество почвы во всей земле (части света). И карту того, чем занимаются люди, и карту промышленности, и карту морских течений, и карту ветров и ураганов, — кстати, хорошо было бы составить целый атлас по метеорологии и прочее, по физике, в которой содержались бы все физические явления, рисунки всех машин, инструментов, препаратов и прочее, с показанием, как с ними надо обращаться».

В письмах отца к Голлербаху есть такие интересные строчки: «К чертам моего детства (младенчества) принадлежит: поглощенность воображения. Но это не фантастика, а задумчивость.

Мне кажется такого «задумчивого мальчика» никогда не было. Я вечно думал, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

.....

Продолжаю рассказ об отце. Переехав в Москву, он жил одно время в комнате с Любавским, а затем с Вознесенским Константином Васильевичем, своим университетским товарищем. В университете он числится стипендиатом им. Хомякова. Отца считали способным к научной работе и предложили ему остаться при университете. Но отец отказался, так как был убежден, что не может читать лекций по самому складу своего характера и по слабости голосовых связок.

К концу своих университетских занятий, он знакомится в 1878 году с Апполинарией Прокофьевной Сусловой. Так в

своем дневнике он записывает свои отношения с ней: «Декабрь, 1878 год. Знакомство с Апполинарией Прокофьевной Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс.

Реакция против любви к естествознанию и любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому, возможность много сделать, но не воздыханием...».

Отец по окончании университета (1882 г.) был назначен в город Брянск в неполную четырехклассную гимназию учителем по истории и географии. Затем оттуда переведен в город Елец преподавателем и воспитателем в старших классах гимназии. В это время он уже был женат на Сусловой. Университетский товарищ отца рассказал нашей маме, что «когда папа венчался на первой своей жене — Сусловой, то она (Суслова) шаферами пригласила его и Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Апполон Бельведерский; он и говорит: «Давайте увезем Ваську» (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнить». Женитьба на Сусловой была в 1880 году.

Товарищи моего отца верно угадали положение дел. Брак с Сусловой был несчастен. В Ельце уже начались неприятности между Сусловой и моим отцом. Она всячески насмехалась над его работой и ему, со своей рукописью «О понимании», приходилось уходить в номер гостиницы, дописывать ее. Книга эта была очень большая, в 700 страниц, с большими диаграммами и схемами. О ней дали два плохих отзыва в печати и что она написана под влиянием Аристотеля. Перед написанием этой книги Василий Васильевич совместно с преподавателем гимназии Первовым сделал перевод «Метафизики» Аристотеля. Первов перевел с греческого на латинский, а отец мой с латинского на русский. Об этом уже гораздо позднее, в наше время, упоминалось в прессе, как о первом и труднейшем переводе «Метафизики» Аристотеля.

Книгу «О понимании» (1886 г.) не стали покупать, а отец, нуждаясь в деньгах, продал ее на бумагу, на вес с пуда. А между тем, для того только, чтобы издать свою книгу, он откладывал по двадцать пять рублей ежемесячно из своего

учительского заработка. Суслова презрительно относилась к этой его работе, очень его оскорбляла и в конце концов бросила его. Это был большой скандал в маленьком провинциальном городе. Об их отношениях имеется письмо отца, к кому, не помню. Письмо это передано мною в Государственный литературный музей.

До женитьбы моего отца на Апполинарии Прокофьевне Сусловой, она была одним из сильных увлечений Достоевского. Он изобразил ее в своей повести «Игрок». Апполинария Прокофьевна Суслова была старше отца моего почти на двадцать лет. Когда-то она была, как папа пишет в том письме, очень красивой, но характер, как он говорил нам, был у нее невозможный. Она уехала от него, не давая ему развода, несмотря на то, что он для получения его, брал всю вину на себя. Сохранились письма В. В. Розанова о Сусловой. Они находятся в Государственном литературном музее.

В это время отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись; особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения. Его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал не то в Америку, не то в Германию и там работал.

В это время отец мой знакомится в Ельце с моей матерью — Варварой Дмитриевной Бутягиной и с ее маленькой дочерью Шурой от ее первого брака. Она жила в то время со своей матерью Александрой Андриановной Рудневой, вдовой священника. Отец сразу же ее очень полюбил, стал бывать у них в доме, а затем совсем переехал к ним на квартиру в качестве жильца. Он настаивал на браке, снова стремясь получить развод от Сусловой. Но ничего не получалось, та отказывалась дать развод, а бабушка не соглашалась отдать dochь без церковного брака. Таким образом отец оказался двоеженцем, что наложило печать на всю нашу дальнейшую жизнь и оторвало нас от наших родных. Эту трагическую историю он описал в конце жизни в книге под названием «Смертное».*

Отец, ухаживая за моей матерью, подарил ей свою фотографию. На обороте была надпись:

* Напечатана в пятидесяти экземплярах. Один экземпляр находится в Государственной библиотеке им. Ленина.

«Мое и Ваше прошлое было грустно.

Настоящее у нас хорошо.

Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не хуже».

Внизу на фотографической карточке надпись:

«Варваре Дмитриевне Бутягиной от преданного, любящего и уважающего друга

Василия Розанова.

Елец, 1889 г. — мая 25.*

А вот надпись на другой фотографии В. В. Розанова, подаренной моей матери:

«Варваре Дмитриевне Бутягиной от глубоко уважающего В. Розанова.

«Одной из трех праведниц, чистой и благородной В. Д. Бутягиной».

Елец, 5 июня 1889 г.

На своей карточке, где его узнать нельзя, столько скорбных складок на лице, он написал на обороте следующие слова:

«Много, много, свет мой, путь мой, расправила ты морщин на этом лице. Не таково оно было в 1890 году. Ты христианка в любви. Никто не умел так сочетать любовь женщины, чувство женщины с самопожертвованием христианским, как друг мой, подруга моя. Спасибо тебе дорогая. Спешу в Эртелев переулок.* Но ведь ты знаешь, куда бы я не поспешал и где бы ни был, около тебя ведь душа моя, около твоих худеньких ручек, худенького личика.

Прощай мой Ангел.

Да хранит тебя Бог, как ты меня в жизни хранила с 1891 по сей 1899 год. Твой вечно, любящий муж Вася Розанов. Варваре Дмитриевне Розановой». (Официально фамилии этой она никогда не носила. Брак был незаконный,

* Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

* В Эртелевом переулке находилась редакция «Нового Времени».

так как первая жена не давала развода. Подробности этого дела описаны отцом в книге: «Смертное»).

1899 — 8 мая, Спб.»**

В 1901 году отец мой подарил маме моей свою книгу «В мире неясного и нерешенного» с надписью:

«Дорогому моему покровителю и защитнику, который никогда не сказал слова поперек, а по глазам ее всегда видел, если что не нужно было делать, — и всегда ее слушался, как совести своей, жене моей Варюшке Розановой.

СПБ, 1901 — 21 февраля.***

«Флоренский, — писала Надя в 1918 году, — посоветовал мне, как-нибудь написать, что мама говорит, считая ее язык очень красочным и изобразительным и я решила как-нибудь записать.

Мама рассказывала, а я сидела в отдалении и записывала. Мама говорила Вознесенскому, Константину Васильевичу, папиному университетскому товарищу, с которым он одно время жил в одной комнате: «Мать моя детей учила, сама безграмотная была. Приехал Иннокентий (знаменитый архиепископ Херсонский, он приходился родственником бабушке моей. Т. Р.), он любил к нам приезжать на лошадях... «Когда Александра Андриановна дети приходят?

— «Никогда, никогда не приходят, — растерялась она. Иннокентий спросил: «— Сколько они тебе платят?».

— «Три рубля в год», — отвечала мать.

— «Так пусть они к тебе никогда не приходят, я тебе буду присыпывать...

И присыпал.

Да он скоро умер.»

.....

«Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил.

** Фотография находится в библиотеке им. Ленина в Москве.

*** Книга пожертвована в библиотеку им. Ленина.

К нему учитель-француз, пьяница, приходил — Марисонка, для него и покупал... устраивал, вино покупал, фрукты покупал... уважал его.

Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил. Навоз для топки покупал, вместо воза, сорок возов, на весь дом. Так и отапливал».

«Ложки серебряные, мое приданое, мать от Иннокентия (преосвященного) получила в наследство, одеяло пикейное и дюжину ложек серебряных, с ними я и замуж выходила».

«Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно. В платке снялась с папой. В нем и замуж выходила. Папа в Москву поехал, привез мне крест с голубой эмалью и цепочку, и обручальное кольцо, и потом два ситца на капот, — один полосатый, другой желтый, кремовый с разводами, — по двенадцати аршин. Я лучшей портнихе отдала...»

«Василий Васильевич часто квартиру менял. Сначала в доме Рогачевых, в флигельке, на Успенской улице (в Ельце), потом перешел против Покровки (Покровской) — две комнаты имел, а потом уже к нам, против Введенской церкви. С ним Коля племянник жил».

После истории с незаконным браком с моей матерью и исключением Пришвина из гимназии, отцу пришлось уехать из Ельца и в дальнейшем наша жизнь была довольно замкнута, потому что семейные люди почти у нас не бывали. Отец перевелся в город Белый преподавателем в неполную гимназию. Он очень тяготился жизнью в этом городе; сначала там был директором брат его Николай, а затем брат перевелся в другой город, а отец стал хлопотать о переводе в Петербург на службу в Государственный контроль, где в то время директором был Тертий Иванович Филиппов — славянофил. Перевод этот был устроен Н. Н. Страховым по просьбе отца, так как отец стремился уйти от педагогической деятельности и заняться литературной работой. Но жилось ему на первых порах очень тяжело. Тертий Иванович Филиппов, интересуясь литературой, часто звал отца к себе в гости. Отец тяготился своим подчиненным положением и был несвободен в своих

высказываниях. А главное, невольно сравнивал свое бедственное материальное положение с благоустроенной жизнью начальника. Он даже часто был несправедлив к Тертию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным. В это время уже была написана Василием Васильевичем книга, — «Сумерки просвещения», в которой он подвергал резкой критике постановку научного образования в России. Возврат к педагогической деятельности был закрыт. Средств было мало. Родилась дочь Надежда,* а кроме того росла падчерица Шура.

Надя, которую отец так безумно любил и так ею гордился, умерла рано — ей было всего восемь месяцев. Отец убивался очень ее смертью и считал, что у него больше не будет детей. По словам отца, Надя умерла от туберкулезного менингита. Похоронена она на Смоленском кладбище в Петербурге. Мы ежегодно весной всей семьей ездили на ее могилку, которая была посыпана песочком и обложена мелкими симпатичными камешками, а близ была могилка блаженной Ксении, которую до сих пор чтут и поминают церковно.

Карточка, на которой он снят с нею, всегда стояла на его письменном столе. Теперь эта фотография находится в библиотеке им. Ленина с чудесным автографом.

«Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.

С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. кв. 1. В. Розанов.

Заповеди ей же

1. Помни мать.
2. Поминай в молитвах отца и мать.
3. Никого не обижай на словах и паче делом.
4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки.
5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя.
6. Береги свое здоровье.
7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого.
8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.

* Названа в память матери отца.

Ну, прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает «Петербургский листок». Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец
Василий.

Все говорят, что ты и я сняты тут точь в точь похожи, и что всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).

Это написал тебе на память, если буду жить или умру».

ГЛ. 2. НАШЕ ДЕТСТВО

В 1895 году родилась я. Отец был безмерно счастлив и носил меня на руках. А когда меня крестили, боялся, что меня уронят. Это рассказывала впоследствии Евдокия Тарасовна Александрова, присутствовавшая при крестинах.

При крещении родители мои, усердно молясь, положили три записочки у образа Божией Матери с именами Татьяны, Натальи и еще с каким-то именем. Вынули записочку по жребию и дали мне имя Татьяна. Это уже когда я подросла рассказывали мне родители.

Свое детство я плохо помню.

Вспоминаются какие-то отдельные отрывки из нашей семейной жизни, но один вечер я живо помню. Горит электрический свет, мы все сидим в столовой за общим столом. На темно-коричневых обоях, на бордовых шнурах, в черных рамках, спускаются картины античного мира. Здесь и «Афинская школа» Рафаэля, и «Аполлон», и «Венера Милосская», и «Гермес». Куда девались потом эти картины — не знаю, но я очень хорошо их помню. Где-то винзу, сбоку, висит и портрет Н. Н. Страхова. Папа рассказывает о нем, о его тяжелой болезни (он умер от рака десен) и с каким терпением и мужеством он уходил из жизни. Какой это был, вообще, замечательный человек! Отец очень грустен и сидит понуро, опустив голову.

Первый раз я слышу слово: «смерть». Я теряюсь и сердце мое сжимается пронзительной жалостью к моему умершему крестному отцу.

Что это? То ли отец вспоминает день смерти Страхова, то ли это был самый день смерти; не знаю. Если день смерти,

то это значит — мне один год, так как Н. Н. Страхов был моим крестным отцом, а я родилась за год до его смерти. Это очень удивительно, случай этот я помню очень ярко, как будто это было на-днях.

Нет, наверное это было позже, скорее всего в 1904 году. когда мы уже жили на Шпалерной улице, но точно не уверена, а может оба случая соединились в одно и остались острую память о себе, — тем более, что отец часто вспоминал Страхова с любовью, нежностью и глубоким уважением.

Вспоминается из раннего детства наша поездка в Аренсбург, на дачу. Мы ехали на пароходе по Балтийскому морю, помню бурю на море, серо-зеленые волны, ударяющиеся в окна каюты, мне страшно и я молюсь Богу, чтобы миновала опасность.

В Риге помню благотворительный базар, помню немецких, надменных баронесс, которые все явились в ситцевых платьях. Папа говорил: «Посмотрите, как они бедно оделись, это они выражают презрение к русским».

Нас было тогда у родителей трое детей и ездили мы с бонной Эммой, которую мои родители очень почитали, и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась. Ее милый портрет многие годы висел у нас в детской, в плюшевой рамочке. В настоящее время он куда-то затерялся.

Эта поездка мне очень запомнилась, так как мама там впервые серьезно заболела сердцем. И было это в 1900 году, как удалось мне восстановить по папиной записи, где упоминается моя младшая четырехлетняя сестренка Вера, которая несла папе ягодку.

«Ладонь все еще держит лодочкой, —
разжимает пустую и говорит:
«Папочка. Я тебе несла, несла ягодку, и
Потеряла».

Эту сценку записал отец спустя 15 лет в своей записной книжке, вспоминая о ее доброте.

Помню себя маленькой девочкой, в детской. Стою около корзины с игрушками и что-то мне очень тоскливо, капризничаю. Вдали сидит мама, кто-то стоит, но это все в тумане.

Потом вспоминаю, как мы в Петербурге переезжали на другую квартиру, в Казачий переулок — тянется шесть или семь подвов, на одной из них восседает торжественно толстая няня Паша; уже должна родиться у мамы третья сестренка Варя.

Еще помню, как мы сидим с мамой в детской, на низеньких стульчиках, а мама показывает занимательные картинки из Библии (иллюстрации Дорэ, как я теперь понимаю) и рассказывает нам чудесные библейские истории (все картины были в черном цвете). — Вот «Изгнание Адама и Евы из Рая», «Авель и Каин», «Приношение Авраамом в жертву своего сына Исаака». Мой ужас. Мама, чуть не плача, признается: «Бога я очень люблю, но вас, моих маленьких деток, я не могла бы принести в жертву». И как я маме за это благодарна, как я ее люблю, и как она нас любит!

Помню картину: «Бегство из Содома семьи Лота», его жену, превратившуюся в соляной столб, «Дочь фараона, склонившуюся над младенцем Моисеем», «Пустыню», «Медного змея» и толпу евреев около него.

Все это на всю жизнь запечатлелось в моей памяти, а также жалостные, горячие рассказы моей матери.

В каком году, — не помню, кажется в 1903, мы ездили летом в Саров. За год до нашей поездки были открыты мощи преподобного Серафима Саровского; еще стояла деревянная позолоченная арка, воздвигнутая в честь приезда государя с семьей на открытие мощей.

Мама задумала эту поездку, тревожась за мое слабое здоровье и крайнюю нервность. Мы поехали вчетвером: папа, мама, я и брат Вася. Ехали до Тамбова поездом, а оттуда до Сарова — лошадьми. Перед этим был дождь, дорога была размыта, лошади с трудом шли, кругом стояли чудесные сосновые леса.

Приехав в Саров и остановившись в гостинице, мы пошли в храм, где стояли мощи преп. Серафима и шли молебны. Мама повела меня в исповедальню к старенькому священнику-монаху и сказала мне, что я должна на все перечисленные грехи говорить — грешна. Так как перечисление грехов было страшное, а я многих слов совсем не понимала, монах взглянул на меня недоуменно, но потом, видно, понял, что мать моя, желая, чтобы я искренне исповедалась и не пропустила греха,

так меня научила. После исповеди священник меня ласково погладил по головке и отпустил. Мы пошли в церковь. Она была богато обставлена и блестела позолотой и чистотой. Шла всенощная. Все помню ясно. Это была моя первая исповедь в жизни.

На другой день мы ходили за три версты в пустыньку Серафима Саровского, где был источник, и где, по преданию, преп. Серафим провел 1000 дней и ночей на камне в молитве. Видели и камень, весь источенный болящими богомольцами. Преп. Серафим, по преданию, сам вырыл колодец. В этот колодец шла лесенка, по ней мы спустились в купальню. Вода была студеная и животворная.

Ездили мы из Сарова в Понетаевский монастырь, который был основан учеником Серафима Саровского — Тихоном, и который как-то отделился от Сарова. Об этом папа рассказывал маме. Храм был очень обширный, богатый, монахини пели прекрасно. На обратном пути мы остановились в деревне, нам вынесли большую кринку чудесного молока. Женщина певучим голосом рассказывала о многочисленных исцелениях у раки преп. Серафима. Особенно много слепых исцелилось.

Так закончилась наша поездка в Саров, которую папа описал в своих работах.

Не помню точно, в этом же году или ранее, мы ездили с отцом и матерью в город Ярославль к архиепископу Ионафану — дяде моего отца. Отец очень почитал и уважал Ионафана Помню, что он уже был больной, на покое в Спасском монастыре. Грустил, что не может совершать богослужения по немощи физической; боялись, что он уронит чашу со св. Дарами. Папа огорчался, что церковное начальство не дало ему помощника и не разрешало служить обедню.

Как мне было жаль «дедушку»!

Он вынес мне шоколадную конфету, и с такой доброй улыбкой угостил меня, что я и сейчас помню этот случай. А прошло с тех пор 67 лет!

Да, мне было очень жаль старенького «дедушку», и я все расспрашивала родителей о нем.

Вскоре он умер и был захоронен под алтарем Спасского монастыря. Проездом в Саров, мы заезжали вновь в Ярославль, ходили в Спасский монастырь, спускались с церковным слу-

жителем в склеп под алтарем церкви, чтобы поклониться праху этого достойного пастыря.

Сохранилась ли его могила, — не знаю. Сравнительно недавно, примерно в году 1957, я читала в «Троицком листке» биографию архиепископа Ионафана, где рассказывалось о его большой благотворительной церковной деятельности. При его содействии и на его средства была создана семинария в Ярославле, он жертвовал много личных средств на украшение храмов города и на его общее благоустройство. Когда мы ехали по городу в трамвае, я обратила внимание на чистоту города, запомнился мне и трамвай, так как ни в Петербурге, ни в Москве их еще тогда не было.

«Дедушка» поразил мое детское воображение и память о нем жива до сих пор.

В нашей семье сохранялась фотография архиепископа Ионафана, а на обороте фотографии была надпись моего отца:

«Ионафан Архиепископ Ярославский, очень добрый, купил Шуре рояль, прислал через товарища по семинарии чиновника Писарева денег маме, когда она лежала в больнице в тифу, и все время присыпал плату за учение в гимназии Шуре.

В. Розанов».

(Окончание следует)

T. Розанова

ФОРМИРОВАНИЕ РОА НА ФРОНТЕ

Приступая к изложению моей темы, хочу предварить: так как организационная группа по формированию Бригады РОА имела дело с очень ненадежным партнером, деятельность ее свелась не столько к выполнению своей прямой задачи, сколько к решению целого ряда попутных вопросов, игравших тогда большую роль в жизни населения в оккупированной немцами части России.

Весной 1943-го года совершенно неожиданно возникла возможность формирования частей Русской Освободительной Армии (РОА) во фронтовой полосе. Штаб службы безопасности (Зихерхейтсдинст) СД, вдруг вызвал С. Иванова (бывшего инициатором формирования РННА в 42-м году) и предложил ему собрать свою осинторфскую группу и поехать на фронт принять русскую Бригаду полковника Гиля (он же — Родионов). Эта Бригада называлась также и Дружиной. Предложение показалось нам странным: этого же самого Иванова и всех членов его группы год тому назад не только с треском выпроводили из Осинторфа, но и категорически запретили показываться впредь в оккупированной зоне. Однако разрешение этого вопроса СД взяло на себя. Странным предложение казалось еще и потому, что 43-й год был самым неподходящим временем для формирования частей РОА. Дело в том, что когда во второй половине 42 года клевреты Гитлера донесли ему о незаконных формированиях на среднем участке фронта, он пришел в бешенство и приказал немедленно выпроводить домой всех русских эмигрантов, без права когда-либо появляться во фронтовой зоне (так мне лично было сказано в ОКВ в сентябре 1942 года), а все русские формирования перебросить с восточного фронта на западный. Весной 1943 года эта переброска производилась полным ходом. Восточные полки и батальоны снимались с позиций и целыми эшелонами отправлялись в Млаву, где переформировывались и направлялись во Францию, Италию и другие оккупированные западные

страны. О каких же новых формированиях на Востоке могла идти речь? Но об этом должно было заботиться СД.

Конечно, Гитлер отдал приказ в 1942 году не только потому, что был настроен против русских, и не только потому, что совместная борьба немцев с русскими антисоветчиками противоречила его агрессивным планам по отношению к России, но еще и в целях профилактики. Однако этот приказ оказался чреватым тяжелыми и курьезными последствиями для самих немцев, и поэтому я позволю себе немного уклониться от моей основной темы.

Как бы грозен и категоричен не был тогда приказ Гитлера (по тому же поводу и фельдмаршал Кейтель недвусмысленно грозил тогда всем командовавшим армиями и корпусами, дерзнувшим, вопреки распоряжению фюрера, заводить у себя недозволенные формирования), но практическое его осуществление оказалось не так просто и потому приказ обратился в полумеру. Начать с того, что раскинутым на широких просторах России, немцам не хватало войск, чтобы насытить фронтовую полосу и охранять свои тылы, в особенности в районах лесных массивов. Поэтому, когда пришлось снимать с позиций русские полки и батальоны, чтобы отправить на запад, оказалось, что одних нельзя было трогать, потому что они несли охранную службу и их некем было заменить, других нужно было оставить, чтобы не образовать прорыва на линии фронта, а третьих не хотели отпустить сами немецкие командиры и предпочитали пойти на риск и оставить их у себя в замаскированном виде. Таким образом приказ Гитлера с одной стороны был как бы выполнен, но с другой и фронт, и тылы изобиловали восточными формированиями.

И тем не менее не мало батальонов было переброшено на Запад. В связи с этим тылы немецких войск еще более обнажились, и партизаны стали полными хозяевами немецкого тыла. В то же время в Млаве переформированным батальонам дали немецкое командование. Когда они прибыли на место своего назначения, то оказалось, что командиры не понимают своих солдат, те — командиров, и те и другие — местное население. В штабы полетели требования прислать переводчиков, но где их взять? Наглядным примером для создавшейся тогда обстановки может служить такой случай: на француз-

ском фронте немецкий генерал, ночью, на своей машине, подъезжает к линии фронта. Его останавливает патруль. Адъютант генерала показывает патрулю соответствующую бумагу и тот пропускает машину. Но сидевший в машине переводчик спрашивает что-то у патрульного, и выясняется, что тот не владеет немецким языком. Тогда у него спросили, как он пропускает машину, если не знает, что за бумагу ему показали? На это патрульный ответил, что ему достаточно, если на бумаге есть немецкая печать. Комментарий излишни.

Но самое главное, что переброшенные на Запад восточные батальоны большой подмогой быть не могли. Если на Востоке они поднялись для борьбы против коммунистов, то на Западе они лишились врага, против которого должны были сражаться. Сами по себе англичане, французы или американцы вызывали у русских солдат скорее симпатию, чем вражду. Я позволил себе коснуться вопроса переброски русских частей на Запад только в связи с общей обстановкой, в которой СД сделало предложение Иванову, и возвращаюсь теперь к основной теме.

Иванов обратился к своим товарищам по РННА, но те, помня еще обиду от осинторфской расправы, не соглашались войти в новое начинание. Да и никто толком не знал, что это за бригада Гиля, и почему СД заинтересовано в передаче ее в другие руки.

При более близком ознакомлении выяснилось, что эта бригада была сформирована по инициативе Штаба СД для использования по своей линии. Формирование ее началось в 1942 году, частично на фронте, частично в Силезии. Когда формирование закончилось, она была брошена против партизан в районе Брянских лесов, где один полк перебил своих немцев и перешел на сторону партизан. Перепуганный штаб СД, не зная, что предпримет командир бригады со своим вторым полком, решил, пока не поздно, передать полк в другие руки. Перспектива была не особенно заманчива и договоренность между Ивановым и его группой не состоялась. Но вдруг в это дело вмешался генерал Георгий Николаевич Жиленков. Тогда на эмигрантском политическом горизонте появился новый советский генерал, бросивший вызов коммунистической власти, поработившей Россию — Андрей Андреевич Власов. Имя генерала было окружено ореолом славы, за-

служенной в рядах Красной армии, его недвусмысленные патриотические заявления внушали к нему доверие. Жиленков сделал предложение СД, как представитель ген. Власова, перенять Бригаду Гиля с условием переформировать ее в Бригаду Русской Освободительной Армии (РОА). Когда СД приняло предложение Жиленкова, тогда вся осинторфская группа согласилась войти в подчинение к Власову и ехать на фронт под командой ген. Жиленкова. Новая организационная группа состояла из следующих лиц: Г. Н. Жиленков, С. Н. Иванов, И. К. Сахаров, о. Гермоген (Кивачук), В. А. Ресслер, Г. Ламсдорф и К. Г. Кромиади.

За два дня до отъезда группа отправилась в штаб СД за документами, но оттуда ее послали в Гестапо, где были заготовлены документы. Этот неожиданный оборот дела внес в настроения группы сумятицу и недовольство, никто этого не ожидал. (Дело было однако в том, что, как указано было выше, все члены новой организационной группы год тому назад были разогнаны из Осинторфа по приказу Гитлера с запретом когда-либо появляться в оккупированной зоне, и потому разрешение на въезд могло дать только Гестапо). Я лично в категорической форме отказался от поездки: после того, как в 1938 году у меня, как у представителя германской Русской Православной Епархии без всякой причины Гестапо отобрало документы на выезд в Сремские Карловцы на Заграничный Собор русских православных иерархов, и запретило покинуть страну, я не хотел иметь с этим учреждением ничего общего. Другие члены группы не хотели ехать без меня. Почти каждый день мы собирались и обсуждали создавшееся положение. Прошло недели две, СД торопило с отъездом, а мы никак не могли договориться. Наконец, все сошлись на том, что раз документы Гестапо ни к чему не обязывают и являются всего лишь броней, то нам следует прекратить дальнейшие сомнения и ехать. Для выполнения по пути необходимых формальностей и приказа штаба на месте, группу должен был сопровождать от СД штурмбанфюрер (майор) Шиндовский. Группа выехала из Берлина за три недели до Пасхи и прибыла в Варшаву, откуда ее направили в Глубокое (Белоруссия), где находилась Бригада. Однако, она стояла в Лужках, в двадцати километрах от Глубокого, но и в Лужках мы застали

только хозяйственную часть бригады и чинов СД, находившихся при Гиле, а строевые части ушли на операцию. Каково же было наше удивление, когда офицеры СД при Гиле выступили против распоряжения своего берлинского начальства! Они и мысли не допускали, чтобы отнять бригаду у «Володи», как они называли Гиля, и передать ее нам. К нам они отнеслись холодно, чтобы не сказать больше.

Можно было только удивляться тому, что после того, как половина бригады ушла к партизанам, Гилю удалось завоевать не только доверие, но и дружбу немецких офицеров. Все они, вплоть до командовавшего тылом северо-восточного участка фронта, генерала Баха, дружили с ним, были с ним на ты, и называли Володей. Не дождавшись возвращения Гиля, Шиндовский, Жиленков и Иванов выехали в Берлин выяснить создавшееся положение, а мы, остальные, остались в Лужках. Время шло медленно, нас все сторонились. Наконец полковник Гиль вернулся со своим полком в Лужки. Впечатление от строевых частей осталось неплохое, но когда вслед за ними на улицах появился целый обоз из крестьянских телег, нагруженный бабами и всяким крестьянским скарбом, вплоть до гусей, кур и уток, то впечатление от дружины испортилось, от нее повеяло чем-то нехорошим.

В этот же день Гиль, узнав о нашем пребывании, со своими начальником штаба и адъютантом навестил нас, после чего пригласил к себе на обед. Новое знакомство производило какое-то неопределенное впечатление. Гиль был видный мужчина, прекрасный строевой офицер, хорошо знающий свое дело, веселый, гостеприимный хозяин. Но в то же время чувствовалось, что он хитрит, что эта широкая натура «рубахи парня» — показная сторона. Это и подтвердилось в дальнейшем. Мои личные встречи с Гилем в Лужках участились, так же, как и наши политические беседы. Гиль приставал ко мне, предлагая поступить к нему в Бригаду на должность начальника его штаба, а я с благодарностью отклонял это предложение, объясняя свой отказ договоренностью, связывающей меня с нашей группой.

В один прекрасный день, высказав Гилю свое удовлетворение от его строевиков, я выразил и недоумение по поводу характера и размаха его хозяйственной части. Гиль на это

недостаточно убедительно заявил, что он, мол, позволил своим офицерам и унтер-офицерам обзавестить походными женами, чтобы этим путем удержать их от побега. В искренность его ответа я не поверил, но этого вопроса больше не затрагивал. Не может быть, чтобы такой прекрасный организатор и строевик не знал, что наличие «жен» в войсковой части неминуемо приведет к падению дисциплины, деморализации солдат и офицеров, а также и к мародерству, ибо и временных жен нужно было кормить и содержать — на что?

Нужно заметить, что Гиль умел располагать к себе людей. Однако при нем состояли два отвратительных субъекта — его адъютант и командир второго батальона, майор Блажевич. Они были разными людьми, но от обоих веяло чекистским изуверством, и оба ходили за своим командиром, как тени; по-моему, они и его держали в руках. Тогда говорили, что Блажевич до прибытия к Гилю со своим батальоном в Люблине наделал немало ужасных дел. Во всяком случае, наблюдая за командным составом полка можно было установить, что наряду с прекрасными офицерами были в нем и такие молодцы, у которых шеи были толще головы, а на лицах было написано сплошное самодовольство.

Наконец наши представители вернулись из Берлина, но с пустыми руками: штаб СД внял просьбам своих людей при Гиле и решил оставить его командовать бригадой. Но, чтобы отделаться и от Жиленкова, предложили ему договориться с Гилем полюбовно. У нас же, даже после поверхностного ознакомления с Бригадой, пропало всякое желание приобрести ее, хотя в то же время не хотелось отказаться от права иметь свою бригаду.

Так или иначе, мы приступили к переговорам с Гилем. Он держал себя по отношению к нам очень корректно и я бы сказал доброжелательно, но в то же время категорически отказался сдать свой полк, предложив совместно провести опрос командного состава полка, что и было сделано. Опрос проводился в местном театре, в первые два дня Пасхи. Все опрошенные, в том числе и сам Гиль, высказывали желание поступить в РОА, но в составе своей бригады. Из всех опрошенных к нам перешли начальник Отдела пропаганды, майор Томилин (инженер), его помощник — старший лейтенант

Самутин (астроном), и еще два младших офицера. Но каково было наше удивление, когда уже опрошенные офицеры по одному ловили нас где-нибудь за углом и чуть не со слезами на глазах просили взять их с собой. Они боялись мести. На второй день опроса, когда я на сцене, где разместилась комиссия по опросу, разговаривал с Гилем, неожиданно из-за кулис высунулся ст. лейтенант Самутин и отозвав меня (Томилин и Самутин уже состояли в нашей группе) сообщил, что прошлой ночью майор Блажевич и адъютант Гиля подняли майора Томилина с постели и увезли его якобы в штаб и с тех пор майор Томилин исчез. Сам же Самутин, живший в том же чердачном помещении, и видевший все, спрятался от них. Заметно было, что появление Самутина застало Гиля врасплох, он смущился, а когда я вернулся, он молча протянул мне рапорт дежурного офицера, в котором тот сообщал, что этой ночью майор Томилин перебежал к партизанам. Стало ясно, что они прикончили Томилина и рапорт составлен самими убийцами. Майор Томилин, молодой и энергичный человек, был определенно антикоммунистически настроен, и надо полагать, что он был на особом счету у убийц, но после перехода его к нам, выскользнул из их рук и они поторопились убрать его. В этот день Самутин боялся отойти от нас и на шаг, и вечером мы увезли его с собой в Глубокое.

Таким образом наши планы относительно дружины Гиля не оправдались, и не только потому, что он отказался уступить нам свою бригаду, а еще и потому, что состав бригады был основательно деморализован и распущен. Нам оставалось согласиться на предложение самого Гиля принять его учебную и пропагандную команды и попытаться на их базе сформировать свою бригаду. С этими двумя командами мы и переехали из Лужков в Глубокое. Здесь был организован штаб новой бригады: С. Иванов был намечен командиром ее, И. Сахаров его помощником, К. Кромиади начальником штаба. Что касается ген. Жиленкова, то он оставался представителем ген. Власова при бригаде. Решено было, что намеченная первая бригада РОА будет называться Гвардейской бригадой, и следовательно, наш первый батальон (части, взятые у Гиля) носит то же название.

Глубокое — это небольшой городок в Белоруссии. Насе-

ление смешанное — русские, белорусы и поляки. Наше появление там в форме РОА многих переполошило. О Власове там знали, но о существовании РОА никто ничего не слышал, — и вдруг появились офицеры РОА. Русское население проявляло к нам очень большое внимание: нами интересовались, нас каждый день приглашали в гости совершенно незнакомые люди. На Пасху местный батюшка пригласил отца Гермогена сослужить с ним в соборе и после службы предоставил ему произнести проповедь. Темой проповеди о. Гермоген выбрал значение праздника Пасхи для нашего народа, в связи с его теперешним положением. После первых же слов народ хлынул плотной массой к амвону, стараясь уловить каждое слово проповеди. На другой день церковь уже не вмещала всех прихожан, но местное СД запретило отцу Гермогену впредь производить проповеди. Несмотря на это, люди без конца навещали о. Гермогена и приносили ему всевозможные пасхальные яства для наших солдат.

Покончив со своими делами в Глубоком, мы собирались выехать в Псков, где нам назначено было место формирования. Провожать нас на вокзал пришли толпы русских знакомых и незнакомых. Одни пришли с цветами, другие с разными пасхальными яствами для солдат.

Из Глубокого мы добрались до Режицы и здесь испортился наш паровоз. Нужно было ждать часа три на вокзале. Не зная, чем занять людей, один из офицеров попросил разрешения со своей ротой пройтись по улицам города... и тут произошло то, чего никто из нас не ожидал. Когда рота с русским национальным трехцветным флагом и с песней вышла на главную улицу города, ее мигом обступила сначала детвора, а потом и взрослые. Толпы народа сопровождали маршировавшую роту до конца улицы и обратно. А когда роту распустили и солдаты разбрелись по магазинам за покупками, в русских магазинах мало того, что отказывались брать с них деньги, но и совали им в руки товары, которых они и не намеревались купить.

Мы с отцом Гермогеном пошли осмотреть местный собор, и показывавший нам его человек — очень влиятельное лицо в городе — почти насилиу затащил нас к себе на чашку чаю. Оказалось, что он был офицером старой царской армии и хотел узнать от нас о точном положении РОА. На прощание

он предложил мне поддерживать с ним связь, обещал позабочиться, чтобы для РОА не взорвалась ни одна партизанская мина, и снабжать нас людским составом, когда мы откроем свои вербовочные пункты. Разговоры и прощание затянулись настолько, что мы опоздали на поезд и догнали его на конечном пункте нашего маршрута, на небольшом разъезде перед Псковом. Отсюда мы должны были добраться до Стремутки — места нашего формирования, в пятнадцати километрах, своими силами.

Левее разъезда, в низине, разместился небольшой лагерь военнопленных. В ожидании грузовиков для погрузки хозяйственной части, солдаты стали наблюдать за передвижениями людей в лагере и вдруг гурьбой бросились вниз, к лагерю. Часовые взяли автоматы на изготовку, толпа остановилась, и послышались упреки по адресу немцев. Такая неожиданность заставила и нас с офицером связи пойти выяснить положение. Мы успокоили своих людей, а офицер связи зашел в комендатуру и вышел вместе с комендантом, который приказал открыть ворота и впустить наших солдат в один из секторов лагеря, туда же пустили и пленных. Началось, если можно так выразиться, братание. Наши давали пленным хлеб, пасхальные яйца, куличи, пасху. Вдруг заиграл баянист, кто-то пустился в пляс, но пленные не плясали. В заключение отец Гермоген обратился к ним с очень теплой речью, и так как время было вечернее и лагерь нужно было закрыть, комendant попросил нас вывести своих людей, что и было сделано безо всяких эксцессов. Покинули мы тогда лагерь с двояким чувством: с одной стороны удовлетворенные, что хоть на минутку смогли отвлечь пленных от их долгих мучительных переживаний за колючей проволокой, а с другой стороны — жалость к людям и некоторое смущение, будто в чем-то мы виноваты, что ушли, а они и дальше остались за проволокой.

Дождавшись грузовиков, забравших хозяйственный груз, мы покинули разъезд и поздно ночью прибыли в Стремутку. Здесь нам было отведено под казарму отдельно стоящее здание школы-десятилетки, которое и до нас использовалось войсками и было приспособлено под казарму. Здание было в очень запущенном состоянии. Против него, через овраг, находились два маленьких дома для преподавательского персо-

нала, теперь отведенные под действующую начальную школу. Помещения этой школы были не в лучшем состоянии, чем наша казарма. Мало того, дорога к школе вела через овраг, по склону которого в ненастные дни дети скользили вниз, как на катке, а затем балансировали по доске, чтобы добраться до школы, как канатные плясуньи. Видимо, эта дорога и до войны была не в лучшем состоянии. Нужно было в срочном порядке отремонтировать нашу казарму и проделать всю необходимую черную работу. Заодно мы привели в полный порядок и школу, побелили помещения, снабдили классы недостававшими партами, построили прекрасную дорогу и мост через овраг. Я бы сказал, что школа стала нашей подопечной.

В ознаменование нашего появления в Стремутке, с первого же дня нашего пребывания, перед казармой на высокой мачте был поднят русский национальный бело-сине-красный флаг, а на обмундировании солдат и офицеров эмблемы СД были заменены русскими (бело-сине-красная кокарда и нарукавный знак РОА). Солдаты воспрянули духом!

Нужно заметить, что на новом месте нас подчинили местному СД, находившемуся в 15-ти километрах от нас, и дали нам офицера связи, штурмбанфюрера Хойнц. Но, видимо, задача нашего нового начальства была другая, и оно нами почти не интересовалось. Я бы сказал — пользы нам от него было мало, но и вреда никакого. В Стремутке мы были предоставлены самим себе.

На первых порах, заботами Жиленкова, мы получили два небольших пополнения, благодаря чему сформировали один стрелковый батальон, хозяйственную роту, офицерскую запасную роту и команду пропагандистов. Формирование было названо Гвардейским батальоном РОА. С первого же дня начались интенсивные занятия в ротах и командах. Прошло немного времени, как батальон превратился в образцовую воинскую единицу. В то же время команда пропагандистов заметно вошла в жизнь крестьян соседних деревень, ибо каждый день с утра до вечера крестьяне стали осаждать наш штаб своими просьбами, жалобами и заботами.

Утром и вечером, при церемонии подъема и спуска флага, люди приходили не только из окружающих деревень, но и из города наблюдать за церемонией.

Но вопрос формирования бригады с места не двигался. Жиленков и Иванов часто выезжали в Берлин хлопотать, но СД было глухо ко всем просьбам. Мы со своим батальоном вынуждены были вариться в собственном соку. За все лето в Стремутке мы два раза принимали участие в парадах в Пскове вместе со стоявшими там немецкими летчиками и три раза, по заданию коменданта города, ходили на операции по освобождению деревень, занятых партизанами. И все три раза партизан не видели: они приходили в деревни за продуктами, не надолго.

Не удержусь сказать, что 13 августа полковник Гиль, любимец СД, со своим полком перешел к партизанам (при переходе расстрелял своего начальника штаба и несколько немцев) и вместе с партизанами захватил узловую станцию Крулевчизну, вслед затем повел наступление на Глубокое, но подоспевшая эсесовская дивизия отбила его наступление и очистила Крулевчизну. Для нас этот шаг Гиля не был неожиданностью, мы удивились только, что это произшло так поздно, но для друзей «Володи» это был большой конфуз. Что касается штаба СД в Берлине, то подвох Гиля окончательно отбил у них охоту обзавестись еще какой-то новой русской бригадой.

Через несколько дней часть офицеров и солдат Гиля вырвалась от партизан обратно к немцам; но изменить дело это не могло.

Неизбежное постоянное соприкосновение наших офицеров и солдат с местным населением в Стремутке приводило к необходимости заниматься с людьми интенсивно, пока они сами не освоят идею и задачи антисоветского движения, чтобы воплотить их в жизнь. Должен заметить, что за все время нашего пребывания в Стремутке во взаимоотношениях между нашими людьми и местным населением не было ни одного эксцесса. Люди искренно полюбили наших гвардейцев, а те заботливо относились к населению.

Приведу несколько примеров из взаимоотношений Гвардейского батальона РОА и местного населения:

1) Как-то утром приходит женщина с грудным ребенком на руках и предлагает его нам. Я в недоумении спрашиваю, в чем дело. Женщина говорит, что вчера немцы пришли в деревню, собрали женщин, посадили на грузовик и увезли, в том

числе и мать ребенка, а родных никого нет; ребенок все время плачет и умрет от голода. Где его мать, никто не знает. Нам пришлось снабдить ее деньгами, чтобы она ухаживала за ребенком, а самим через полевую комендатуру вернуть мать.

2) Как-то глубокой ночью шел проливной дождь. Ко мне поступал дежурный офицер и сообщил, что пришла какая-то девушка. Я оделся и вышел. У дверей стояла бледная худая девушка, волосы и платье прилипли к телу, вокруг нее образовалась целая лужа. Не дождавшись моего приветствия, она крикливым голосом спросила: «Вы будете здешним начальником?» Я ответил, что да, и по правде сказать ждал или удара ножом, или выстрела из пистолета, так она выглядела. Но она закричала: «Называете себя освободителями. Кого от кого освобождаете? Не видите, что ваши немцы с нами делают?» Но тут я прервал ее словами: «В чем дело? Разве вы не можете говорить спокойнее, что вас привело к нам в такую погоду?» Тут она расплакалась навзрыд, а успокоившись, рассказала о своей беде. Оказалось, что она пришла к нам из леса, где скрывается от немцев, чтобы те не увезли ее на работу. Она единственная дочь глубоких стариков, которые без нее умрут от голода. Но теперь они голодают дома, а она в лесу. Дольше терпеть стало невозможно и она пришла просить помощи. В целях безопасности она выбрала дождливую ночь. Выглядела она просто покойницей, от дрожи стучала зубами.

Пришлось разбудить повара и каптенармуса, чтобы дать ей переодеться, накормить и устроить ее на кухне спать. Утром я поехал с ней в полевую комендатуру, в Кресты, и выхлопотал ей освобождение от нарядов. С комендантом полевой комендатуры Псковского района я был в хороших отношениях, и как-то обратил его внимание на безобразное поведение и злоупотребления его людей (кстати — русских), забирающих в деревнях матерей грудных детей или кормильцев семьи. На это полковник озабоченно сказал, что сам знает, что происходит в деревнях, но что ему делать, если леса полны мужчинами, а в деревнях остались одни женщины и старики. А их командование намечает какое-нибудь наступление и заранее требует от него рабочую силу для приведения в порядок дорог и мостов. Что же ему в таких случаях остается делать?

3) 2 июня, ровно в час ночи, когда батальон спал, раздался сильный взрыв, от которого наша казарма сильно затряслась, стекла разлетелись вдребезги и с крыши снесло дымовые трубы. Проснувшись, перепуганные люди, не зная, что случилось, выскакивали из постелей и бросались к выходу. В коридорах образовались пробки. Тут раздался второй такой же взрыв и одновременно послышались голоса, что горит аэродром (немецкий военный аэродром был расположен в 6 километрах от Стремутки). Это известие сразу отрезвило людей, они разошлись. Тем временем со стороны аэродрома продолжали доноситься взрывы один за другим, зарево заметно окрасило горизонт.

В таких случаях необходимо прийти на помощь пострадавшему соседу. Я взял одну роту и направился к аэродрому, помочь, чем сможем. Однако на шоссе немецкий патруль остановил нас и от него мы узнали, что горит не аэродром, а деревня — правее через шоссе. Оказалось следующее: товарный поезд, груженый боеприпасами, шел на ленинградский фронт. Партизаны на какой-то станции ухитрились всыпать песок во втулки колес двух последних вагонов, отчего вагоны загорелись. Когда поезд проходил мимо деревни, кто-то из жителей показал машинисту, что у него происходит, а тот, зная, что везет, остановил поезд, отцепил паровоз с двумя вагонами и умчался в Псков, оставив остальные вагоны догорать у самой деревни. А в вагонах были не только снаряды, мины и патроны, но и фосфор. По свидетельству погорельцев, после первого же взрыва, в воздухе над деревней появился какой-то голубой порошок, от чего воспламенялись дома.

Когда мы дошли до деревни, перед нами, из-за стройного ряда ив, растущих у обочины шоссе, развернулась целая огненная стихия; пламя охватило всю деревню, с основания домов и до крыш, и огненные языки, извиваясь, бушевали высоко над домами. Над деревней стоял вибрирующий гул пожара и треск от горящих бревенчатых стен домов. По этому огненному фону здесь и там мелькали черные человеческие фигуры.

Пришлось сразу же распустить людей, чтобы они могли оказать помощь, где можно. Сам я, по просьбе местных жителей с небольшой группой солдат пробрался к железной дороге,

где под развалинами кирпичного здания остались три семьи. Работать пришлось в ужасных условиях: кругом бушует пламя, здесь и там поблескивает фосфор, а неразорвавшиеся снаряды разбросаны повсюду и в любой момент каждый из них может взорваться. На месте, где мы работали, два солдата с ведрами не переставая обливали водой из дождевой лужи снаряд, лежавший почти у края пожара и совсем близко от нас. Работали мы на этом месте до утра и спасли всех, за исключением одной женщины, которая была задавлена рельсовой насыпью. Точно так же работали и остальные солдаты и офицеры.

Взрывы застали людей во сне и каждый спасался, в чем был. Были и искалеченные, не сумевшие выбраться из домов. Дома с имуществом сгорели полностью, десять человек погибло, а искалеченных и с тяжелыми и легкими ожогами было больше сотни. Всю ночь наши грузовики вывозили пострадавших в Псков, а тяжело пострадавших сперва к нам для перевязки, а потом в больницу. Было не мало людей с серьезными ожогами, но тем не менее отказавшихся ехать в больницу и предпочитавших вместе с оставшимися без крова соседями ютиться у знакомых и родственников в соседних деревнях. Можно было поражаться тому, что как ни молниеносно пожар охватил деревню, а женщинам все же удалось спасти какие-то узелочки своего домашнего скарба.

Борьба с огненной стихией продолжалась всю ночь. А утром, когда стало всходить солнце, на том месте, где накануне стояла деревня, осталось одно сплошное черное пятно, на котором еще то здесь, то там лениво дымились головешки. От всей деревни остались беспризорные полуодетые старики, женщины и дети, без куска хлеба и крыши над головой. Тут-то и прорвалось людское горе. Вся эта людская масса, сидевшая у обочины дороги и бессмысленно глядевшая на образовавшееся перед ними черное пятно, вдруг как заголосила, как пошли женщины каждая на свой лад причитать — нельзя было самому не расплакаться...

Наш батальон первые три-четыре дня подкармливал погорельцев, и за это время они устроились в окрестных деревнях. В самом тяжелом положении очутились те обожженные, кто не хотел отправиться в больницу, а ютились без медицинской помощи в примитивных условиях в деревнях. Стояла лет-

няя жара, а они были без медикаментов и перевязочного материала. Раны стали гноиться. Вот и начал тянуться каждое утро обоз крестьянских телег к нашему штабу и наш врач Евгений Разумовский со своими помощниками целыми днями мыл, чистил и перевязывал пациентов, пока не вылечил их. Особую благодарность за это нужно высказать офицеру связи, штурмбанфюреру Хоинцу, который видел все происходившее и молчал.

Вернувшись домой с пожара, наша штабная группа поехала в Псков в церковь. Это был праздник Константина и Елены и в соборе служил митрополит Сергий, исключительно одаренный пастырь и великолепный проповедник. Собор был полон, но Владыка заметил нашу группу и пригласил нас в миссию на чашку чая. Приглашенных оказалось много. Когда за столом зашел разговор о случившемся ночью бедствии, Владыко поблагодарил солдат и офицеров РОА и дал нам свое благословение за оказанную помощь. Между прочим, оказалось, что хотя эшелон взорвался в 20 километрах от Пскова, от взрывов на куполе псковского собора лопнули стекла.

Много позже, но в том же 43 году Владыко Сергий и его спутники были убиты на шоссе из Митавы в Ригу. Девушка, случайно оказавшаяся недалеко от места убийства, видевшая все и скрывавшаяся от убийц, свидетельствовала, что убийцы были в форме эс-эс, но говорили между собою по-русски.

Я не ошибусь, если скажу, что тогда и среди псковичей и жителей окружающих деревень Гвардейский батальон РОА приобрел очень много друзей и доброжелателей, из которых особую благодарность хочу высказать отцу Георгию Бенигсену и редакции газеты «За свободу» во главе с главным редактором, ныне покойным Хоменко. Оба они довольно часто нас навещали.

Однако были у нас и недоброжелатели, из числа оставленных большевиками своих людей для работы в немецком тылу. На железнодорожной станции Стремутка начальником охраны дороги был какой-то красивый рослый молодой блондин; немцы ему доверяли во всем, а население от него плакало. Он обесчестил принудительно многих девушек, а старики и старухи, за редким исключением, носили на спине рубцы от его резиновой палки. Мы пробовали добром его уговорить, а он по-

жаловался на нас немцам, что, мол, мы ему угрожали. Тогда наши люди вызвали его на ссору и арестовали его, а его начальнику, полевому коменданту открыли глаза на провокационную деятельность его подчиненного. Комендант от него отказался и народ вздохнул спокойно. Подстать ему были и многие из тех, кто ездил с немцами по деревням и брали на работу, кого хотели. Эти типы бывали строже и жесточе немцев, от них нельзя было ожидать пощады.

В качестве иллюстрации приведу выписку из журнала СБОНРа «С народом за народ», стр. 15 (№ 5).

ВЛАСОВЦЫ И НАРОД

В мае 1943 года в местечке Стремутка под Псковом была сформирована первая добровольческая часть, находившаяся в прямом политическом контакте с Русским комитетом Власова. По предложению Жиленкова она была названа 1-й Гвардейской бригадой РОА. Предполагалось, что эта часть явится основой для развертывания более мощных соединений задуманной Власовым Русской Освободительной Армии. Однако этим планам не суждено было сбыться. Немецкие инстанции затормозили развитие части, не дав ей перерастти за рамки батальона. А осенью того же года она вообще была расформирована.

За время пребывания в районе Пскова этот батальон РОА установил тесный контакт с местным населением. Им была проведена большая работа по пропагандированию идей комитета Власова. Командование части обследовало материальное состояние крестьянских хозяйств ближайших к Стремутке деревень. Все неимущие семьи были взяты на учет. Им оказывалась помощь продуктами и одеждой. В деревни посыпались специальные отряды, которые помогали крестьянам в уборочных работах.

Ниже печатаются некоторые уцелевшие документы, свидетельствующие о характере связей власовцев с местным населением. Все фамилии, встречающиеся в документах по понятным причинам опускаются».

«Господину начальнику Русской Армии

Господин начальник, просим мы вас, из деревни Ржовино Горбовской волости Псковского района — в том, не можете ли вы помочь нам в работе — отпустить нам ваших гвардейцев поработать, так как мы остались одинокие, с маленьkim дитем, а работать некому, в чем и подтверждает наш деревенский староста.

(подпись старосты)».

«Псковское Районное Земское Управление
 Рюжское Волостное Правление
 23 июля 1943 года.
 дер. Горелый Дуб
 Господину Полковнику

Рюжской волости старшина очень благодарны вам за ваших бойцов, отпущеных к нам на работу. Большое благодарствие от всего населения за ваше отношение. И просьба вас продлить срок насколько можно. С приветом к вам

(Две подписи).»

«Господину Полковнику

Господин полковник, ваше указание я вчера получил словесно. Сегодня с утра выйти не могу, потому что до обеда надо отремонтировать два моста. Сенокос в самом разгаре. Сено накосили и надо сушить... Я принял такое решение, что до обеда поработаем, как полагается, а после обеда снимаюсь и держу путь по направлению Кришово, в место расположения. За последние сутки чрезвычайных происшествий не произошло. Ребята работают очень хорошо. Люди очень довольны. Помогаем всем тем, в которых домах только одни женщины и дети, беженцы.

23. 7. 43 года.

Л-нт Ф....

«Господину полковнику Кромиади
 От имени Волостного старосты Рюжской области
 Господин полковник!

Прошу вас по силе возможности, или даже прошу вас с получением этого письма, явиться ко мне, Волостному старосте, в деревню Вальцово. Для того, чтобы отблагодарить вас совместно с вашими бойцами РОА, которые работали у нас в хозяйстве по уборке сено-коса. Ваши бойцы, которые работали у нас, к работе отнеслись добросовестно. А поэтому я без благодарности ваших бойцов отпустить не желаю. И еще раз прошу вас прибыть ко мне. К сему старшина волости

25/VII-43

(Подпись неразборчива)

«Отношение в РОА
 От старосты дер. Крапивенка Ядровской волости.

Прошу командование РОА оставить рабочую команду в количестве 4-х человек (следует перечень лиц). Ввиду неблагоприятной погоды и неуправки с работой. Еще хотя бы числа до 31/VII 1943 года. В чем прошу не отказать.

27/VII 1943 г.

Староста Крапивенки

«Отношение в РОА

От старосты дер. Крапивенка Ядровской в.

Прошу РОА оставить рабочую команду в количестве четырех человек до 1/VIII ввиду несправившейся работы — сенокоса. В чем прошу не отказать.

28/VII 1943 г.

Староста Крапивенки

Вспоминая события того времени, невольно вспоминаешь и о древнем красавце — Пскове. Псков — это подлинная и богатая наша история: чего только не навидался на своем веку этот город? Расположенный у северо-западной границы России, он не раз вступал в поединок с поляками, шведами, Ливонией; не раз его тяжело ранили и полонили, но он все пережил и так же гордо стоит на левом высоком берегу Великой, у впадении в нее Псковы. Уснувшие в веках полуразрушенные Баторием крепостные стены и сохранившийся поныне Кремль красноречиво говорят о той тяжелой борьбе, которую Псков веками должен был вести, чтобы оградить себя и Россию от вражеских нашествий.

Дореволюционный Псков изобиловал древними и новыми церквами и монастырями. Их там много, очень много, православных и староверческих. Такие шедевры, как Мирошников монастырь (12 века), Успенский собор (14 века) или Василий на горке (15 века) являются древними памятниками не только в смысле религиозном, но и в смысле искусства и культурного развития русского народа.

Но если бы читатель мог себе представить тот убогий и запущенный вид, в какой пришел как сам город, так и все его исторические памятники? Варварское обхождение большевиков в Пскове не могло коснуться только красавицы многоводной и быстротечной Великой. Она так же величественна, как и тогда, когда привела первых поселенцев обосноваться у впадения в нее реки Псковы, и основать славный город Псков. Все остальное носит на себе печать варварского обхождения коммунистов. Улицы и дома грязны и обмызганы; очень много церквей разрушено, другие превращены в склады и автомобильные мастерские, а древние храмы закрыты. Мало того, с церквей сняты кресты, а там, где их почему-то не могли содрать, кресты стоят косо и криво, как инвалиды. А с некоторых

куполов железные листы сорвались и висят, и в ненастье тоскливо постукивают от порывов ветра.

Город от оккупантов почти не пострадал, у базара было разбито два или три дома, но говорят, что при отступлении немцы разорили Псков тоже.

Наряду с городом, хочется сказать несколько слов о псковичах. Псковичи народ традиционный, религиозный и любит свою землю. По дороге из Стремутки в город попадаются села с такими нежными названиями: Соловушка, Горушка, Крапивенка. Сколько нежности и любви к своей земле и деревням оказывается в этих названиях! А что касается религиозности псковичей, то должен заметить, что за всю свою долгую жизнь нигде и никогда не видел такой массы людей, молящихся со слезами на глазах, как это имело место в одной из деревень недалеко от Стремутки в июле 43 года. Кроме того, на дороге Стремутка-Псков очень часто встречались религиозные процесии, переносившие иконы из одного села в другое.

Хочу привести один пример:

Как-то в походе мы остановились в одной деревне пообедать и дать людям отдохнуть. От нечего делать наш баинист сел на камень на одном из перекрестков и заиграл. В один миг его окружила сначала детвора, а потом и взрослые. (Впервые я услышал тогда частушки в народном исполнении). Я что-то спросил у одной из женщин, но она ответила, что не знает, не здешняя, я здесь всего восемь лет... Ответ меня подзадорил, и я спросил, почему за восемь лет она не стала здешней? А она и отвечает: они здесь староверы, а я православная. Меня ответ этой женщины поразил — после двадцати с лишним лет господства лозунга — «религия опиум для народа», после разгрома церквей и духовенства, после окончательного озверения правящей элиты. Я сделал вид, что не разбираюсь в сказанном, и спросил — а разве это не все равно? Тогда бедная женщина, чтобы объяснить мне, недотепе разницу, сложила три пальца правой руки для крестного знамения, но стоявшая рядом староверка перебила ее, и сделав то же самое, крикнула: «Кто так крестится! Так только котят поднимают». Я был приятно поражен. Так вот о кого разбились железные фаланги коммунистических изуверов! Вот кто, несмотря на страшные гонения коммунистических вандалов,

вот этот русский чернозем в холода и голоде, в тюрьмах и концлагерях свято носит в своем сердце крест, поднятый над Россией Владимиром святым. В его вере каждый из нас может найти не только утешение, но и опору в тяжелых случаях жизни.

В июне Иванов уехал в Берлин и больше не вернулся. А в начале июля ген. Жиленков и Сахаров поехали в Берлин по делам Бригады и тоже не вернулись. А я, не зная, что творится в Берлине и что предпринять самому, единствено, чем мог заполнить жизнь батальона — это общественно-политической работой и небольшими походами по окрестным деревням. Однако, и батальонному составу стала заметной наша неувязка; видно было, что мы никак не можем перейти от слов к делу. Меня не раз офицеры спрашивали о нашем положении и я по мере возможности должен был стараться не разочаровать их, сохранить в них веру в наше общее начинание.

Но в конце августа из Берлина пришел приказ вернуться и мне. Оказалось, что, раздосадованный поступком Гиля, Штаб СД категорически отказался от разрешения сформировать еще одну русскую бригаду. Тогда генерал Власов приказал вернуть и меня в Берлин и ликвидировать все начинание. Но как мне было это объяснить батальону, если судьба его тесно связана с жизнью и смертью людей? Я сказал им всю правду, но обещал не оставить их и вернуться к ним.

К сожалению, я своего обещания исполнить не смог, но и люди не оставлены были на произвол судьбы. После моего отъезда в Берлин, в командование батальоном был назначен капитан Григорий Павлович Ламсдорф, до того командовавший второй ротой и за свой веселый нрав, храбрость и преданность идее освободительной борьбы, снискавший любовь и уважение солдат и офицеров. Я бы сказал, что солдаты и офицеры батальона новому командиру доверяли вполне, но беда заключалась в том, что к тому времени люди убедились в том, что СД старается использовать их в своих немецких интересах, а не в интересах общей антикоммунистической борьбы и они возненавидели немцев. Они очутились на положении обманутых и обманутых в своих самых лучших побуждениях. Батальон переживал тяжелые и тревожные дни. Офицер, который стойко в течение двух лет боролся сначала в рядах РННА, а потом и в

РОА, перешел к партизанам, перешло еще и несколько солдат и офицеров, но основная масса, надежды на успех своего дела не потеряла и продолжала оставаться в рядах батальона. В этот тяжелый и решительный момент положение спас сам Ламсдорф, который, во имя избавления своих людей от неизбежного впереди бессмысленного кровопролития, согласился встретиться с командиром местного партизанского отряда Рогиным и договориться с ним друг друга не трогать. А через некоторое время остатки батальона были переданы в распоряжение Начальника Авиационных сил РОА, генерала В. И. Мальцева. Однако вернемся к моему отъезду.

28 августа я, перед отъездом на вокзал, обратился к батальону с прощальной речью, после которой обошел роты и направился к машине, но она уже была облеплена людьми с протянутыми руками: одни высказывали последние слова прощания, другие желали мне скорейшего возвращения. Так, с облепленной машиной, без заведенного мотора, все вместе спустились к мосту, а там одиноко стояли две наши учительницы и плакали. Я вышел из машины, с тяжелым сердцем прощался с этими прелестными девушкиами и поехал на вокзал.

Так кончилась наша псковская эпопея. Нам не удалось сформировать обещанной нам бригады РОА. Но Гвардейский батальон РОА тогда не только на словах, но и на деле распространил идею освободительной борьбы широко и весьма успешно. Я бы сказал, что он свою миссию выполнил и словом и делом.

1 сентября вечером я приехал в Берлин. Там меня ждали. По прибытии домой, жена дала мне номер телефона, куда я должен позвонить. Оказалось, это номер телефона штаба генерала Власова, куда генерал приглашал меня с женой. Пришлось ехать, как говорят, с корабля на бал. Поговорка оправдалась: это был день рождения генерала и гостинная была полна русскими и немецкими офицерами. Генерал нас встретил, как гостеприимный хозяин встречает своих гостей.

До того дня я не имел чести видеть генерала Власова, хотя и состоял в его организации. Все мое представление о нем было по маленькой газетной фотографии в берлинском «Новом Слове», в связи с извещением о том, что командовавший советской Второй Ударной Армией на волховском на-

правлении, генерал-лейтенант А. Власов, после разгрома его армии, в течение двух недель скрывавшийся в лесах, попал в плен. Имел еще и некоторые дополнительные сведения от других, уже видевших его. Теперь мы с женой стояли перед живым Власовым, слегка наклоненным вперед для приветствия. Это был высокого роста мужчина с крупными чертами лица, в заметно сильных очках в роговой оправе. Среди многочисленных гостей Власов выделялся своим ростом и своей импровизированной формой — нечто среднее между военной формой и штатским костюмом, без знаков различия, если не считать генеральских лампас на черных брюках. Поприветствовав нас и представив гостям, он повел нас к своему креслу и посадил рядом с собою на свободные места. С первого же раза генерал нас очаровал и вниманием и умением занимать гостей, людей совершенно ему не знакомых. И это первое впечатление от генерала Власова никогда потом не было во мне омрачено и осталось навсегда.

В эту ночь Власов отвел меня в сторону и наедине сказал: «Полковник, я о вас все знаю и больше нечего знать. Я пригласил вас спросить, хотите со мною работать или нет?» Я не задумываясь, ответил: господин генерал, спасибо за честь и за доверие. Генерал поблагодарил меня за ответ и пригласил каждый день бывать в штабе. Собственно говоря, со следующего дня фактически и началась моя работа в штабе генерал-лейтенанта А. Власова.

Май 1975 г.

K. Кромиади

МОСКОВСКИЕ ПРОПОВЕДНИКИ

Я уже не раз упоминал об особом религиозном подъеме во время первых десяти лет борьбы советской власти с Русской Православной Церковью. Для московской молодежи моего поколения это героическое десятилетие было переживанием, запечатлевшимся на всю жизнь. Часто наши отцы — русские предреволюционные интеллигенты — относились свысока к Православной Церкви, и особенно к духовенству. Революция показала их собственное банкротство. В 1920-х годах от прежней России оставалась одна Православная Церковь и ее иерархия. Патриарх Тихон стал живым символом гонимой, пограничной, всепрощающей и несломленной православной Руси. Недаром интернационалист Ленин остерегался делать из Тихона второго Гермогена, и все же сделал.

Мы как-то сразу осознали, что все действительные и мнимые грехи русского православия бесследно исчезают в огне мученичества. Осознавала это ясно с народной простотой и безыскусственностью и вся масса верующих, наполнявшая сотни московских храмов. У нас в те годы было несомненное ощущение слияния с православным народом. Не было и тени интеллигентского отщепенства. Народ в 1920-е годы еще не безмолвствовал религиозно, а очень демонстративно поддерживал патриарха. Так называемая «Живая церковь» сразу была осуждена за предательство и малодушие. К сожалению оказалось, что часть интеллигенции возвратилась в Церковь с багажом, чуждым православию. Весь мой личный опыт в концлагере, в плену, в изгнании показал, что русский интеллигент дореволюционного склада в среднем проявляет больше стойкости в отношении моральных искушений, связанных с вынужденными компромиссами, чем простой народ, будь то крестьянин, рабочий или мещанин, употребляя старую (и устаревшую теперь) терминологию. Зато, когда появляется возможность отказаться от навязанного извне компромисса, простой русский человек признает свою слабость, каётся и возвращается на

путь истины. Интеллигент после сдачи позиций непременно выдумает какую-нибудь теорию в свое оправдание, да так и останется с ней, когда и надобность уже миновала. Основано это, конечно, на гордости и самомнении, как известно наиболее трудно преодолимом грехе, особенно опасном для натур ярких, высоко развитых и одаренных. В смысле внешнего блеска русской интеллигенции было чем гордиться, — слов нет. Ну, а вот простой и ясный факт предательства живоцерковников рядовой верующий москвич двадцатых годов понимал яснее некоторых «кающихся интеллигентов».

Народу этого тогда было еще много. Чтобы зрительно представить то, что я здесь говорю, советую найти американский журнал «Нэшонал джеографик» за ноябрь 1918 года и посмотреть на серию фотографий, посвященных Русской Православной Церкви, особенно на крестный ход, заполнивший Красную площадь. Ведь шли только добровольно, никого не гнали на эту «демонстрацию». В такой толпе в несколько сот тысяч человек яостоял восемь часов во время похорон Патриарха Тихона и осознал полностью ту народную силу, которая до настоящего времени не дает атеистической власти уничтожить Православную Церковь даже после установления полного контроля над ее официальным возглавлением.

Ощущение единства с массой православного народа помогло мне и моим сверстникам, начав с «Вех» и Владимира Соловьева, довольно быстро понять превосходство Исаака Сирина, Иоанна Златоуста и других святых отцов. Тогда эти книги еще можно было достать почти в любой церковной библиотеке, где-нибудь на хорах, спрятанные в шкафах. Все это богатство исчезло после массового закрытия церквей, и только какая-то часть была спасена и спрятана по частным квартирам с риском быть обвиненным в расхищении государственного имущества. Лично мне пришлось принять участие в спасении нескольких сот таких книг и это было уже началом катакомбной деятельности.

Чтение святоотеческой литературы моими сверстниками, конечно, было недостаточно систематическим. Сказывалось и отсутствие школьной подготовки. Все это восполнялось, хотя бы частично, слушанием проповедей.

Хорошо помню серию еженедельных апологетических про-

поведей о. Димитрия Боголюбова, бывшего епархиального миссионера (после 1943 года профессора Московской духовной академии), как и серию лекций профессора протоиерея Стражова по истории русской церковной музыки. В большинстве же случаев проповеди не объединялись в систематические курсы, но каждая сама по себе давала много нужных нам сведений, а, главное, понимание православия. Качество большинства проповедей было очень высоким. Думаю, что в Москве 1920-х годов было достаточно духовных ораторов, не уступавших по умению говорить Билли Грэму, очень разных по стилю. Первым из них в Москве считался архиепископ Иларион Троицкий, которого я, к сожалению, не слышал. Он был в Соловках, когда я начал ходить в церковь. Зато я слышал от многих, что во время диспутов с живоцерковниками Иларион легко побеждал знаменитого «Митрополита Благовестника» Александра Введенского, самого известного оратора этой группы. Надо оговориться, что при полной непопулярности «Живой церкви» среди тогдашних православных москвичей, последние могли быть пристрастны в оценке чисто ораторских качеств мученика Илариона по сравнению с предателем Введенским. Тем ни менее, та молодежь, к которой принадлежал я, при полном осуждении как теории, так и практики живоцерковников, с большим интересом относилась к ораторскому дару Введенского и ходила слушать его проповеди-выступления.

Служил Введенский в храме Христа Спасителя (самом большом соборе Москвы, снесенном в 1931 г.). Живая церковь делала все, чтобы привлечь в собор больше молящихся, но молящихся почти не было, да и богослужения, с чисто внешней стороны, уступали нашим. Хор, под управлением молодого регента Мантефеля, пел не плохо, но не отлично. Протодьякон Редикульцев очень уступал лучшим протодьяконам Тихоновской церкви. Правда, как и знаменитый Михайлов, он пел позднее в Большом театре, но знаменит не был. У него был подвижный и достаточно сильный бас, но тембр не радовал, а внешность напоминала если не Гришку Отрепьева, то Швабрина из «Капитанской дочки». У митрофорного протоиерея, сослужившего Введенскому, митра была всегда почему-то надета слегка набекрень, а грубое лицо с мутноватыми глазами не соответствовало великолепию облачения. Сам Введенский слу-

жил неврастенично, очень не по-православному, но был эффективен и запоминался. Высокий, худой, узколицый, очень неспокойный, он как-то «нырял» во время поклонов, ходил порывисто, но сразу овладевал вниманием присутствующих.

Лично я старался приходить только на проповедь, к концу богослужения. Сразу после «Отче наш» Введенский появлялся на амвоне уже как оратор. Двести — триста человек, рассеянных по собору, вмещавшему десять тысяч, собирались около оратора и Введенский начинал звонким, переходящим иногда в фальцет, голосом. Проповеди его, обычно, были апологетическими. Введенский следил за новейшими течениями в науке, знал философию, литературу, музыку, а, главное, умел всем этим пользоваться. Каждый жест был рассчитан (возможно, проверен перед зеркалом), модуляции голоса отработаны. Введенский умело переходил от пиано к форте, делал торжественные паузы, замирал на мгновение и вдруг взывался вверх, и как бы с облаков разил противника молниями заготовленных фраз.

— Я спрашиваю материалиста: сколько фунтов в вашей совести? — властно воскликнул Введенский. — Я хочу знать: сколько сантиметров в вашей любви? — иронизировал он с презрением.

В условиях наростающей примитивной пропаганды безбожия все это звучало свежо, увлекательно и смело.

Не пришлось мне присутствовать на диспутах Введенского с Луначарским, происходивших неоднократно и в Москве, и в других городах. Два известных оратора гастролировали как артисты. Злые языки говорили, что оригинальность этих диспутов состояла в том, что официальный атеист Луначарский по существу был человеком верующим, а «Митрополит Благовестник» не отличался особым благочестием. Последнее было, очевидно, упрощением проблемы. Хорошо знавший Введенского А. Краснов-Левитин не сомневается в религиозности Введенского. Другое дело, с чем и как сочеталась религиозность в этом своеобразном характере. О личной жизни Введенского Краснов-Левитин предпочел умолчать, ограничившись общим неодобрением последней. Мне пришлось встретить одну из «бывших жен» Введенского. Молоденькая девушка, хорошенъкая, из интеллигентной семьи попала в Москву в на-

чале тридцатых годов, не зная обстановки, стала поклонницей ораторского таланта знаменитого проповедника и... не хватило у меня духу расспрашивать ее, какой формой брака это увлечение кончилось и была ли вообще какая-либо форма, но прожила она с Введенским около года, резко порвала и без всякой с его стороны помощи воспитывала смышленого черноглазого сынишку в тяжелых условиях советского быта. Видел я фотографии ее с худощавым, смуглым, уже не молодым человеком в рубашке «апаш» и летних брюках на курорте — в Крыму или на Кавказе. Она рассказывала, что Введенский везде и всегда служил ежедневную обедню. (Где и как я снова постеснялся спросить), потом два часа упражнялся на рояле, потом просматривал и читал массу русской и иностранной литературы, доставляемой ему дамами поклонницами из Ленинской библиотеки. В то же время, отслужив обедню, «митрополит» мог сделать какую-нибудь явную гадость. Последнее и стало причиной решительного разрыва и ухода молодой женщины.

Каждому человеку свойственны противоречия, каждый грешит, но подобная амплитуда морального колебания встречается не так часто.

Слабость моральной позиции Введенского сказывалась и на его выступлениях. Мне пришлось присутствовать на его диспуте с тихоновцами в помещении бывшего театра Зимина. Не помню, чтобы у Введенского были официальные оппоненты. Хорошо помню, как на сцене появилась высокая фигура в красивой лиловой рясе с широкими рукавами и раздался хорошо уже мне знакомый голос. Введенский говорил о порабощении Церкви государством, о том как «голубка православия попала в золотые когти двухглавого орла!» (особенно отточенно, на высокой ноте прозвучало слово «орла!»). Когда оратор окончил, все молчали. Введенский обратился к залу с предложением высказаться по поводу доклада.

Ясно помню как на сцену поднялся пожилой человек в серой толстовке и смазных сапогах. Кем он мог быть, я толком не понял. Борода была типично крестьянской, манера говорить уверенная, митинговая. Не без самолюбования, скандируя некоторые фразы не хуже Введенского, оратор заговорил о

личных и не личных слабостях живоцерковников. Как и из речи Введенского, помню только отдельные, ключевые фразы.

— Мало быть им священниками! Захотели стать во главе Церкви, заменить монахов епископов... Понадобился митрополичий клобук, но подавай им и жену, — слово «жену» бородач произнес в нос, с явной издевкой.

Введенский потерял на мгновение самообладание и, едва дав кончить своему обвинителю, почти подбежал к рампе и полным негодования голосом воскликнул:

— Нам бросают грязные обвинения, а знаете ли вы, что мы готовы жертвовать всем для очищения Церкви, для ее обновления! Знаете ли вы, что мы часто голодаем?

Это была роковая ошибка. Не успел Введенский отойти от рампы, как на сцену поднялся человек в поношенной рясе, с большой белой бородой. Старческой походкой вышел он на середину сцены и совсем не громким, но услышанным всеми голосом сказал:

— Православные, я епископ Тихоновской Церкви... я только что из ссылки и попал сюда совершенно случайно — проездом. Скажу вам, православные, одно: нас сажают в тюрьмы и ссылают за веру, но когда мы на воле, все вы, паства наша, не допускаете, чтобы мы голодали.

Наступила полнейшая тишина. Стариk епископ, даже не взглянув на оцепеневшего Введенского, той же старческой походкой сошел со сцены и скрылся в полутьме зала.

Среди проповедников Патриаршей — Тихоновской церкви — был целый ряд выдающихся и блестящих. Из тех, кого я хорошо знал и много раз слышал, хочется рассказать о Митрополите Трифоне (князе Туркестанове), о. Валентине Свенцицком и о. Дмитрии Боголюбове. Все трое люди очень разные по происхождению, воспитанию, темпераменту и стилю проповеди.

Митрополита, в двадцатых годах архиепископа, Трифона я много раз слышал и знал некоторые интересные подробности его биографии от одного из его иподьяконов, с которым был хорошо знаком и которому вполне мог верить.

О внешности Владыки Трифона можно судить по очень удачному портрету-этюду Павла Корина. Портрет многие, вероятно, видели на выставке в Нью-Йорке в 1965 году. Кто

не видел, может увидеть в монографии Михайлова, посвященной художнику (см. Михайлов, Алексей. *Павел Корин*. Москва, Советский художник, 1965, стр. 35). Портрет-этюд написан в 1929 г., когда Владыке было 68 лет, один глаз был закрыт бельмом, другой еще пылал обычным для Трифона огнем, что придает особую контрастность и драматичность портрету.

На эскизе к картине «Уходящая Русь. Реквием» (стр. 122-123 монографии Михайлова) Митрополит Трифон поставлен в центре эскиза, на кафедре, вместе с протодьяконом Холмогоровым; рядом с гигантом-протодьяконом Митрополит кажется карликом — снова контраст, подчеркнутый художником. В жизни Митрополит Трифон действительно поражал малым ростом и значительностью внешности. В двадцатых годах он был еще исключительно красив, какой-то восточной красотой, с правильными чертами лица и подлинно соколиным взглядом. Голос тоже не соответствовал росту: говорил Трифон громким, проникновенным басом, звучным, торжественным, старчески значительным. Все построение речи было старомодным, чем-то даже напоминающим оды восемнадцатого века, помпезным, с большим чувством стиля, подчеркивавшим глубину содержания. В лице Владыки Трифона говорила старая Москва, мудрая и величавая.

В своей книге «Невидимая Россия» я описал, какое потрясающее впечатление произвело надгробное слово Трифона на приведенного мною в церковь партнера одного из факультетов Московского университета. В храме «Большое Вознесение», у Никитских ворот, в том самом, в котором венчался Пушкин, хоронили Марию Николаевну Ермолову — лучшую драматическую артистку Малого театра. Уходила великая артистка и большая личность. Кому же было хоронить Ермолову, как не Архиепископу Трифону? Большой храм был переполнен. Молились искренне и горячо. На кафедре появился Архиепископ. Блестела драгоценная митра, блестело облачение, блестел взгляд проповедника. Голос наполнил храм. Трифон казался огромным. Тишина была мертвая. Говорила уходящая, но могучая Россия. Архиепископ родился в Москве, знал Москву, знал московских артистов, понимал и чтил гений Ермоловой. Говорил он о тайне Божией, когда темной стезей утробного развития приходит новый гений, особо одаренный свыше.

Когда выходили из храма, у парторга неожиданно вырвалось:

— Здорово сказал Архиепископ! Спасибо, что привел.

У Владыки Трифона не было своей епархии. Мой друг иподьякон рассказывал, что после декрета 1918 года, лишавшего Церковь юридических прав, имущества и права обучения детей, Архиепископ Трифон настаивал, чтобы Патриарх Тихон, в знак протesta, объявил всероссийский интердикт — прекратил богослужения во всех церквях страны. Патриарх отлучил коммунистов от Церкви, но на интердикт не решился. Архиепископ Трифон ушел на покой.

Трифон сам отказался от активного участия в жизни церкви. Могло ли одно это спасти епископа от ареста? В «Журнале Московской Патриархии» за 1954 год (№ 10, стр. 24-25) опубликована заметка, подписанная иеродиаконом Феофаном, в связи с двадцатилетием со дня смерти митрополита Трифона. Умер Владыка в 1934 году, а в 1931, в связи с тридцатилетием служения в епископском сане, был возведен в митрополиты. Награда не совсем обычая для епископа, находящегося на покое.

В 1920-х годах архиепископ Трифон часто служил и всегда проповедовал в московских церквях, как и многие другие архиереи, которых иногда просто не пускали в свои епархии, но которым не мешали служить в Москве.

Судя по уже упомянутой заметке в «Журнале Московской Патриархии», будущий митрополит родился в Москве в 1861 году и ушел в Оптину Пустынь по окончании гимназии; решающую роль при этом сыграл знаменитый старец Амвросий Оптинский. Уже монахом, Владыка поступил в Московскую духовную академию, которую и окончил. Одно время, в сане иеромонаха, Трифон был священником пересыльной тюрьмы, завоевал любовь и уважение преступников, а после окончания академии был ректором Московской духовной семинарии. В 1901 году архимандрит Трифон был посвящен во епископа Дмитровского — викария Московского митрополита. В Перовую мировую войну епископ Трифон ушел на фронт, совершал богослужения на линии огня, потерял, будто бы, здоровье и поэтому ушел на покой в 1918 году. Автор заметки пишет,

что москвичи называли его за проповеди «московским златоустом». Таким образом, иеродиакон Феофан подтверждает уход Владыки Трифона на покой в 1918 году, давая этому, конечно, совсем другое объяснение.

Имя отца Валентина Свенцицкого хорошо известно в связи с религиозным возрождением русской интеллигенции в начале 20 века. Я встретился с ним лично в конце 20-х годов. Отец Валентин служил в церкви Никола Большой Крест, очень красивой и старинной, снесенной вместе с частью стены Китай-города, украшавшей в то время Лубянскую площадь. На ту же площадь, как известно, выходит главное здание КГБ со знаменитой внутренней тюрьмой, столько раз описанной разными авторами, в их числе Солженицыным. В этом противостоянии было достаточно символики. Если ораторский стиль А. Введенского и Владыки Трифона в какой-то степени можно сравнивать, хотя бы по блестящей внешней отделке и некоторой (очень разной) театральности, то об ораторском стиле отца Валентина можно говорить только как о вполне ином, если, вообще, о нем можно говорить как об ораторе, а не проповеднике. На амвоне отец Валентин появлялся как-то незаметно. На фоне старинного иконостаса возникало бледное лицо с большими скорбными глазами и не вдруг начинал звучать негромкий, ровный голос. Говорил отец Валентин не реже трех раз в неделю: в субботу за всенощной, в воскресенье за обедней и, если не ошибаюсь, по средам вечером. Говорил не дольше десяти-пятнадцати минут, произнося совсем немного слов за это короткое время. Слова были обыкновенные, привычные для церковной проповеди, только очень пережитые и потому точные и верные. И падали они прямо в душу, как драгоценные жемчужины, как искренние слезы покаяния и умиротворения. Большой связи между проповедником и паствой мне ощущать не приходилось. Было в лице отца Валентина что-то от Достоевского, видел он скорбь людскую, брал ее на свои плечи, облегчал этим страждущих.

Я начал исповедоваться у отца Валентина, но вскоре он был арестован и сослан в Сибирь, в город Канск. Когда в 1934 году я возвратился из концлагеря, церковь уже была снесена, не слышал я больше и об отце Валентине. У одной старушки видел я черную толстую тетрадь с проповедями

отца Валентина. Наверное, были и другие записи. Записывать такие краткие проповеди не было трудно, но произносить их так, как произносил отец Валентин, вряд ли кто-либо и когда-либо сумеет, даже если, дай Бог, они сохранятся.

Отец Валентин был строгим постником: последние дни Страстной недели вообще не ел, а только пил и то ограниченно. Помню и его жену, такую же бледную и скорбную, как отец Валентин. Помню и маленького ребенка, очень напоминавшего отца большими, ясными глазами.

Отец Дмитрий Боголюбов до революции был епархиальным миссионером. В двадцатых годах он служил в церкви на Остоженке, недалеко от Зачатьевского монастыря. Раз в неделю (дня я не помню) он служил всенощную и проповедовал. Проповеди эти составляли, собственно, курс апологетики. Стиль отца Дмитрия был не ораторский, а лекторский. От оратора оставалась безукоризненная правильность речи и некоторый полемический задор, впрочем, тщательно сдерживаемый. По содержанию проповеди отца Дмитрия напоминали выступления Введенского, когда последний говорил в защиту Христианства против безбожия, были менее блестящи внешне, но более систематичны по содержанию. Введенский был оратор, отец Дмитрий — лектор. Введенский увлекал эмоциональностью и хлесткостью, отец Дмитрий — последовательностью и убедительностью доводов. Трудно сказать, кто из двух лучше знал и использовал тогдашних крупнейших ученых. Возможно, Введенский больше следил за последними достижениями науки. Был я тогда очень молод и не мог должным образом сравнивать эрудицию двух проповедников. По своему положению члена Патриаршей, более гонимой церкви, отцу Дмитрию приходилось быть значительно осторожнее Введенского. Когда массивная фигура появлялась на амвоне и толпа начинала тесниться к проповеднику, уверенный, сильный бас отца Дмитрия начинал с формальных оговорок: «Моя цель, православные, не агитация в пользу Церкви. Мы никого к себе не завлекаем. Но когда нас спросят о нашей вере, мы должны с кротостью и любовью отвечать на вопросы». Умные, с маленькой лукавинкой глаза отца Дмитрия чуть заметно поблескивали при этом. Большое мясистое лицо оставалось строгим. Говорил отец Дмитрий о Шестодневе Св. Григория

Богослова, о том, что для Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет, о том, что порядок появления живых существ на земле по Дарвину и по Шестодневу вполне совпадают и т.д., приводя все обычные апологетические аргументы того времени. До сих пор я храню добрую память об отце Дмитрии за его курс апологетики. При всех оговорках, опасность такого курса для лектора была несомненной. Несколько раз после конца богослужения я провожал отца Дмитрия домой и разговаривал с ним. Был он, конечно, и тут осотрожен, и тут избегал скользких тем. Но дело свое делал и долг пастыря исполнял.

Уже после ареста, в конце тридцатых годов, пришлось мне поехать в деревню Владимирской области. Вдруг недалеко от одной сельской церкви я встретил отца Дмитрия. Мы узнали друг друга. Отец Дмитрий, как Холмогоров, был в старой толстовке, поношенных брюках и каких-то сандалиях. Он мало постарел, умные глаза сохранили блеск. Оба мы обрадовались, но оба были осторожны.

Много позднее, перелистывая «Журнал Московской Патриархии», я наткнулся на некролог, посвященный отцу Дмитрию. Он-таки дожил до открытия духовных академий и семинарий в сороковых годах и умер профессором в почтенном возрасте. К сожалению, некролога этого у меня нет. Если в академии отец Дмитрий, соблюдая все правила осторожности, вел курсы так же толково и систематически, как проповедовал в двадцатых годах, то польза, принесенная им, должна быть очень значительной. Не с каждого ведь можно требовать героизма и мученичества, хотя именно на последних и зиждется духовная сила Христианства.

В. Алексеев

В АСКАНИЯ НОВА

Степной заповедник Аскания Нова занимает на юге России огромную площадь ковыльной степи. Единственный поселок на громадной территории — Аскания Нова, где расположено управление заповедника и институт акклиматизации и гибридизации животных. Население поселка состоит исключительно из служащих заповедника с их семьями. Постороннего населения на его территории нет. Что представляет собою заповедник в настоящее время, не знаю. Знаю только, что многих животных, которые были там тогда, теперь уже нет. Животные пасутся в условиях относительной свободы. Положение заповедника таково, что уйти животным в сущности некуда. С одной стороны — железная дорога в Крым, перед ней начинаются заселенные места, с другой стороны Днепр, с юга сивавши и море, а на севере начинаются сельские хозяйства. Так что если бы животных попробовали изгнать из заповедника, они сами вернулись бы в заповедную степь.

Создан этот заповедник на территории бывшего большого имения Фальц-Фейна, основное хозяйство которого заключалось в овцеводстве крупного масштаба. Есть специальные труды, посвященные истории Аскания Нова, и, я думаю, что литературу об Аскании можно найти в любой большой библиотеке, где есть русский отдел. История эта очень интересна, но она не входит в задачу настоящей статьи. Я хочу вспомнить только обстановку и удушающую атмосферу, в которой приходилось работать сотрудникам заповедника. Начал я там службу в конце двадцатых, а ушел оттуда в начале тридцатых годов, прослужив года три-четыре. Приглашен я был туда как фотограф. Работа была интересной, и работать приходилось много. Штат научных сотрудников был большой, специальностей много. Все работали не только с интересом, но и с большим увлечением. У меня было два помощника, комсомолец и комсомолка, очень милые молодые люди. Они, как и все, относились к работе с большим интересом. Призыва к соревнованию еще не

было. Был просто интерес к работе. В служебные часы лаборатория была занята преимущественно изготовлением фотографий для иллюстрирования работ научных сотрудников. Работа была самая разнообразная. Были снимки каракулевых шкурок: надо было показать различный характер рисунка каракуля, фотографировались отдельные овцы и другие животные, представленные в Аскании в большом разнообразии.

Меня лично интересовали снимки диких животных, свободно пасущихся в степи. И этому я отдавал все свободное время вне служебных занятий, включая и выходные дни, часто я задерживался в лаборатории до полуночи. В степи животные не подпускали к себе близко, просто уходили при моем приближении, особенно стада антилоп и зубро-бизонов. И я решил постепенно приучить их к своему присутствию. Чтобы не спугнуть, я ходил по степи очень медленно и, как только замечал в стаде беспокойство при своем приближении, начинал также медленно отходить от них. Потратил я на это месяцы, и начал замечать, что животные как-будто стали привыкать к моему присутствию, стали более близко подпускать меня к себе, и наконец добился того расстояния, которое мне было нужно. Это дало мне возможность сделать много очень интересных снимков, большая коллекция которых сохранилась у меня до сих пор.

Потом по указу из Москвы началась кампания по организации социалистического соревнования. Заработала специально для этого созданная бюрократическая машина, которая требовала регулярных сведений о проценте охвата служащих социалистическим соревнованием. Требовалось вызовы на соревнование, взятие на себя социалистических обязательств, объявление себя ударником и т.д. Центр требовал составления диаграмм, показателей, и это сразу превратилось в пошлую рутину. Нижестоящие учреждения под этой бюрократической машиной по социалистическому соревнованию, тоже начали соревноваться между собою: у кого больший процент охвата. Конечной целью был стопроцентный охват. Доходило до анекдотических эпизодов, когда подавальщицы и кассирши в столовых и ресторанах брали на себя социалистическое обязательство: не обсчитывать клиентов и правильно давать сдачу. Директор киевского университетского музея профессор В. М.

Артоболевский вызвал на соревнование уборщицу. Я никого на соревнование не вызывал, и ударником себя не объявлял. Может быть именно я мешал довести процент охвата до 100, — кончилось это тем, что меня вызвало партийное начальство для объяснений. Тем более, что я уже несколько раз высказывался в том смысле, что вся эта кампания по соревнованию превратилась в невероятную пошлятину, профанировала интерес к труду, и добросовестное к нему отношение.

Когда я явился в кабинет директора, за столом сидели еще два партийца, перед одним из них лежал лист бумаги, для составления протокола беседы со мной. Первый вопрос, который мне задали, — почему я не отношусь с должным уважением к кампании по социалистическому соревнованию? Я не могу не знать, что это делается по указанию вождя (так и сказали — вождя). Я ответил, что не объявляю себя ударником потому, что считаю это не скромным, а что касается вызовов на соревнование, то это просто мое ослиное упрямство, хотя я и знаю, что человек стоит гораздо ближе к обезьяне, чем к ослу. Вижу, что это записывается в протокол. Но здесь я должен отвлечься. Было еще одно обстоятельство, которое, очевидно, враждебно настроило против меня партийное начальство.

В начале тридцатых годов, как известно, на юге России вспыхнул голод, особенно на Украине. Я еще живой свидетель ужасающих картин того голода. Крестьяне буквально разбегались, пустели и большие села. Помню, как-то я поехал с геологом-почвоведом на опорный пункт Аскании в приднепровские плавни для взятия образцов почвы и фотографирования срезов почвы. Дорога в степи была длинная, было жарко, лошади устали, и их надо было напоить. Кругом безводная степь, никаких признаков жилья. Но уже подъезжая к приднепровским плавням (заросли камыша в устье реки), мы увидели на горизонте большое село, и поехали к нему, думая там дать отдохнуть лошадям, накормить их и напоить. Но когда мы подъехали к селу, то нашли его совершенно пустым, в буквальном смысле слова ни одного человека там не было. Очевидно все население разбежалось от голода. Картина была невероятная. Как-будто после татарского нашествия. Колодец мы все же нашли, и лошадей напоили. В то время не было железно-

дорожной станции или полустанка, где бы на перроне не лежали трупы умерших от голода. Как показала очередная перепись, убыль населения за тот период выражалась в миллионах.

Аскания Нова занимала особое положение. Туда часто приезжали экскурсии, приезжали и иностранные туристы, и Аскания в достаточной степени снабжалась продуктами. Но это был оазис в пустыне, куда начало устремляться голодное население со всех сторон. Голодные ходили из дома в дом, прося дать им хоть маленький кусочек хлеба. Люди питались травой и коренями. Я помню весной, когда начала цвести акация, ее цветами питались голодные, так что акации остались совершенно голыми. Местный доктор однажды повел меня в мертвцевскую при больнице, он приоткрывал губы мертвцев, и показал, что на зубах и во рту покойников была трава. Когда наплы whole голодных в Аскании стал слишком велик, партийное начальство начало устраивать облавы на голодных. Набрав душ тридцать, их усаживали в грузовик и увозили подальше от Аскании, километров за 10-15, и там, в голой безводной степи выбрасывали их, и ехали обратно за новой партией голодных. И это делалось систематически. Голодные слишком уж портили лицо Аскании, и надо было не показывать их туристам. Говорить о голоде тогда никто не смел: эта тема считалась контрреволюционной. Все должны были делать вид, что голода не замечают. Но и в больших городах, таких, как Киев или Харьков, можно было видеть на улицах трупы умерших от голода. И теперь еще живы многие тому свидетели.

В Аскании неоднократно со стороны партийцев я слышал упреки по своему адресу, что не принимаю никакого участия в общественной работе. А таких общественных работ было не мало, начиная со сборов членских взносов в МОПР (международное общество помощи рабочим). Поголовно все были членами этого общества, и имели при себе членскую книжку, куда вклеивались специальные марки, в знак уплаты очередного взноса. И таких книжечек было несколько, и все должны были иметь при себе эту библиотечку. Упрекали меня и в том, что я не принимаю никакого участия в составлении так называемой стенгазеты, куда мог бы дать фотографию часто наблюдаемого антисанитарного состояния общественной столовой и т.д. На

это я ответил, что мог бы дать фотографию вопиющей антисанитарии, но что такую фотографию они в стенгазете не поместят. Меня спросили, что именно, и я, набравшись храбрости, сказал, что рядом со зданием, где я работаю, расположена препараторская мастерская, где изготавливают чучела павших животных, отбеливают кости для составления скелетов и т.д. Что прямо против окон моей лаборатории находится выгребная яма, куда выбрасывают внутренности павших животных. Что из окна я часто наблюдаю, как голодные люди ищут себе пищу в этой выгребной яме, и едят внутренности павших животных. Партийцы переглянулись, и ничего не ответили. Вопрос касался голода, а тема эта считалась запретной.

Из райкома партии к тому времени был прислан новый (очередной) секретарь партячейки. Начал он свою кипучую деятельность (как ему и полагалось) с занятий в кружке по изучению марксизма-ленинизма. Посещение этого кружка было «добровольным», но, конечно, обязательным. Посещали «кружок» все, начиная с уборщиц и кончая старшими научными сотрудниками. Всем было жаль терять на это время. Большинство просто хотело отдохнуть после работы, но были и такие, которых это отрывало от работы, так как многие сотрудники засиживались в лабораториях после окончания служебных часов. В работе этого кружка, конечно, не могло быть обмена мнениями, вопросов, высказываний своих взглядов на обсуждаемый вопрос. Говорил только сам секретарь. Говорил очень скучно и не интересно, очевидно сам это сознавая, но все понимали, что делает он это по своей служебной обязанности. Говорил, как резину мял. Помню, одна из его бесед была посвящена обывательскому мещанству в быту. Говорил он и о канарейке в клетке, о герани на подоконниках, и тюлевых занавесках на окнах. Одна из сотрудниц, сидевшая рядом со мною, шепнула мне, что единственная квартира в Аскании, где она видела тюлевые занавески, это квартира самого секретаря, и что больше ни у кого в Аскании тюлевых занавесок нет. Одним словом занятия в этом кружке оставляли только чувство сожаления о потерянном времени. Фамилия секретаря была, насколько помню, Воробьев. Как-то проходя мимо электростанции, я присел отдохнуть на скамейке. Был обеденный перерыв, на скамейке сидели двое рабочих электростанции в

синих спецовках, пропитанных машинным маслом. В это время проходил по улице этот самый Воробьев, недавно появившийся. Один из рабочих спросил, кто это, другой ответил, что это *ИХНИЙ* поп. Слово «поп» меня не удивило, но слово *ИХНИЙ* мне хорошо запомнилось. Вообще трудящаяся часть населения Аскании не видела в партийцах своих людей, относилась к ним, как к чуждому элементу, как к паразитам. Во дворе бывшего помещика Фальц-Фейна висел колокол, в который звонили еще во времена Фальц-Фейна, давая сигнал к перерыву в работе на обед. Этот колокол сохранился и при большевиках, но им для этой цели не пользовались. Вместо этого давали гудок. И вот Воробьев решил использовать колокол для созыва служащих на занятия марксо-ленинского кружка. Я как-то сказал в присутствии нескольких человек, когда услышал звон этого колокола, что уже пора идти, звонят к вечерне. Шутка моя понравилась присутствовавшим, и кто-то поддержал меня, сказав, что да, совсем как поп к вечерне. Очевидно кто-то передал это Воробьеву, и он воспыпал ко мне жгучей ненавистью.

И когда я предстал перед тройкой в кабинете директора, в ней был и Воробьев. Началось с обычных в таких случаях вопросов о том, кто были родители, чем занимался отец, и вообще из какой я среды. Было жарко, ворот моей рубахи был расстегнут, — директор обратил внимание на цепочку на моей шее. На этой цепочке и сейчас у меня иконка, которой благословила меня мать, когда я ехал на фронт в первую мировую войну. Увидев у меня на шее эту цепочку, меня спросили, религиозный ли я человек. Надо было отвечать. Я ответил, что у меня нет уверенности, что они, задавая этот вопрос, знают, о чем меня спрашивают, что я хотел бы сначала знать, что они подразумевают под словом — религия, определили бы это понятие. Ответ был быстрый: опиум для народа. Я сказал, что это не определение, а может быть меткое, но обоюдоострое замечание, что меня самого интересовал истинный смысл этого слова, что я прочел все, что сказано об этом слове в словаре Большой Энциклопедии Брокгауза и Эфрана. Что там даны определения разных авторов, что определений этих много, и что говорят они о разном. Я даже привел некоторые из этих определений, как например: добровольное взя-

тие на себя моральных обязательств, или — высшая ступень сознания, и много других, включая определение английского философа Гобса, который говорит, что религия, — политическое учение, служащее для подчинения граждан государству. Но так как нет единого, принятого всеми определения, то я имею свое собственное определение. Меня попросили сказать это определение, и я ответил, что есть много обывательских определений, но есть только одно, отвечающее истинному смыслу этого слова, происходящего от латинского слова **ЛИГО**, что значит связь (напр. Лига Наций), что приставка «ре» имеет то же значение, что и в словах ре-ставрация, ре-конструкция и т.д. Что по-русски слово религию можно перевести, как «за-вишу», что слово это в сущности обозначает восстановление нарушенной связи. Что Бог не является обязательным признаком религии, что может быть религия и без Бога, как например буддизм. В обывательском смысле это слово можно определить, как учение, но не всякое учение мы называем религией; есть однако объективные признаки, которые данное учение представляют, как религию. Меня спросили, какие это признаки. Я ответил, что признаков этих три: 1) Принятие данного учения без критики, 2) отсутствие терпимости к какому бы то ни было другому учению, и 3) признак Гобса: принятие данного учения государством и превращение этого учения в орудие подчинения граждан государству. И что поэтому я считаю их (спрашивающих меня) в этом смысле людьми религиозными, а себя — нет. И что в этом смысле я вполне согласен с Лениным, что религию можно назвать опиумом для народа. На этом протокол был закончен, и мне сказали, что я свободен. Никогда не забуду выражения на их лицах непоколебимой уверенности в их умственном превосходстве. Я был уволен с такой формулировкой: «как чуждый элемент классово враждебных настроений и идеологии».

Положение мое было очень критическим. Я был не один, с женой и ребенком. К тому же в этот период началась паспортизация. В Аскании мне, конечно, паспорта не выдали. Куда деваться? Не знаю, что было бы со мною, если бы не помог счастливый случай. За время службы в Аскании я много работал над изобретением в области фотографии: получение фотографии не в полутонах, а в тонких линиях, как рисунок.

Послал я это изобретение в патентное бюро, еще будучи в Аскании. Поехал я из Аскании прямо в Ленинград, остановился у сестры, и пошел в ВООМП (всесоюзное объединение оптико-механической промышленности). Взял с собой и авторское свидетельство на изобретение, которое получил еще до отъезда из Аскании. При ВООМП был свой БРИЗ (бюро рационализации и изобретений), где я и предложил свое изобретение. Очередное заседание БРИЗ должно было быть через день, и я туда пошел. Докладчиком по моему изобретению был проф. Прилежаев. Он очень положительно отозвался о моем изобретении. Сказал, что логических ошибок нет, и что рисунок в линиях, без полутона, и чисто фотографическим путем должен получиться, но что для этого должен быть построен специальный точный прибор, а это уже дело Всесоюзной Оптико-механической промышленности. На заседании присутствовал представитель военного ведомства, который решил, что изобретение это может быть использовано для целей картографической аэрофотосъемки. Я знал, что для этой цели изобретение мое совершенно непригодно, я имел в виду только нужды полиграфической промышленности, но умолчал об этом, и мне выдали удостоверение, что я являюсь автором крупного изобретения, имеющего весьма важное оборонное значение, что мое присутствие в Ленинграде необходимо для разработки этого изобретения. Кончалось это удостоверение просьбой выдать мне ленинградский паспорт, и предоставить комнату.

Изобретение это так и осталось не осуществленным. Теоретически все было правильно и логично, но практически, очевидно, оказалось неосуществимым, выходя за пределы возможностей точной механики. Но я получил ленинградский паспорт и право жить в Ленинграде. В этом была для меня главная награда. Правда, комнату мне дали очень плохую, на верхнем этаже, где с потолка всегда текла вода, но я рад был и этой комнате. Эта же комната служила нам и кухней.

Случай свел меня с одним партийцем, эстонцем по национальности. Он оказался очень сердечным человеком, и, узнав о моем бедственном положении, принял во мне участие. Он устроил меня фотографом в Русском Музее, где сам заведовал фотолабораторией. Но вскоре он был арестован, так как оказался секретарем антипартийной организации внутри

самой партии. Но я остался служить в Русском Музее. Воспоминания свои о службе в Русском Музее расскажу в другой раз, а пока хочу вернуться к некоторым воспоминаниям о моей службе в Аскания Нова. Увольнение со службы коснулось не только меня. В числе уволенных был еще гельминтолог доктор Блажин, который был занят в Аскании изучением биологии кишечных паразитов диких травоядных. Его уволили за демонстративно отрицательное отношение к так называемому «кооперативу», который в Аскании был единственным, где можно было что-нибудь купить. Все дефицитные товары в этом кооперативе могли покупать только члены кооператива, т.е. внесшие свой пай на организацию кооператива. Пользуясь этим, кооператив не удовлетворялся первоначальными паевыми взносами. Применялся такой прием: с полок магазина исчезал какой-нибудь товар, например сахар или мануфактура. Оставляли население без какого-нибудь необходимого товара неделями. Наконец товар этот появлялся, но одновременно объявлялось о необходимости внести дополнительный пай. Кто не вносил дополнительного пая, тот считался выбывшим из членов кооперации, и товара этого не получал. Всем приходилось вносить эти дополнительные паевые взносы, и все должны были быть членами этой кооперации. И это повторялось систематически: не внесешь дополнительного пая — не получишь дефицитного товара, а дефицитными были предметы первой необходимости. Только один доктор Блажин упорно не желал вступать в члены этой кооперации, во всем себе отказывал, доставая иногда нужное ему с оказией, в чем ему помогала жена. Я не помню ни одного случая, когда бы правление кооператива отчитывалось перед своими пайщиками. Во главе этой кооперации стояла, конечно, партийная организация. Пользуясь нуждой в товарах, этот кооператив, не имевший конкурентов, выжимал из пайщиков последние гроши. Делал, что хотел. Доктора Блажина возмущало не столько явное жульничество, сколько само название «КООПЕРАТИВ». Ведь действительная кооперация была в сущности запрещена, или вернее были созданы условия, при которых она стала невозможной, так как все ресурсы страны были национализированы, вернее были отобраны у нации партийной мафией, начиная с источников сырья. Доктор Блажин открыто говорил,

что такая кооперация — это просто чужое, украденое слово, не имеющее ничего общего с идеей кооперации. В то время многие еще помнили деятельность самой мощной кооперативной организации в дореволюционной России. Кооперация эта называлась **ЖИЗНЬ**. Сеть филиалов этой кооперации была разбросана по всей России, и проникла в самые отдаленные уголки страны. Правление всегда выбиралось самими пайщиками, перед которыми это правление регулярно отчитывалось. Во многих случаях пайщикам по почте присыпались печатные отчеты данного кооператива. По уставу годовая прибыль могла быть разделена между пайщиками, но я не помню случая, когда бы пайщики требовали свою часть прибыли. Обычно общее собрание постановляло обратить эту прибыль на дальнейшее развитие кооперации, или на постройку в селе общественной бани, или на пополнение библиотеки новыми книгами. По уставу желающие выйти из кооперации могли получить свой пай обратно. В советских кооперативах я не помню такого случая. Люди, получая перевод по службе в другое место, должны были и на новом месте вносить пай в новый кооператив, а пай, внесенные на месте предыдущей службы, просто пропадали. Я помню, что центральное управление кооператива **ЖИЗНЬ** имело очень широкие планы. Капитал этой кооперации достиг уже такой суммы, что подумывали об открытии своих больниц, своих школ для детей членов кооперации и т.д. Были сельские районы, где кооперация **ЖИЗНЬ** совершенно вытеснила частную торговлю. К началу первой войны кооперация **ЖИЗНЬ** достигла большого расцвета, но все это рухнуло с приходом большевизма. В мечтах энтузиастов этого большого кооперативного объединения, будущее кооперации **Жизнь** представлялась им чем-то в роде государства в государстве, сосредоточив экономику страны в своих руках.

Вспоминаю еще один эпизод, относящийся к одному из советских «кооперативов». Люди обносились, трудно было купить рубаху, а уж о костюмах и говорить нечего. И вот один из таких «кооперативов» получил для продажи кажется 20 мужских костюмов. Тогда были введены так называемые червонцы. Червонец равнялся 10 рублям. Половина костюмов были дешевые, и стоили, предположим, по 35 рублей, а остальные 10 более дорогих, стоили вдвое дороже, т.е. по 70 рублей.

Конечно эти 10 более дорогих костюмов были куплены партийцами, так как они первые узнали о получении этих двадцати костюмов. Но этого мало. Эти десять лучших костюмов были проданы по цене более дешевых, т.е. по 35 рубл., а более дешевые, для простого народа, были проданы по цене более дорогих т.е. по 70 рублей за костюм. Конечно, и эти были быстро раскуплены, так как многим было буквально не во что одеться. Итак доктора Блажина возмущало не столько жульничество, сколько название этих лавочек кооперативами. Никакой Тит Титыч не додумался бы до такого откровенного жульничества. И вот человек, который не мог скрыть своего возмущения, был тоже вызван в кабинет директора для объяснений, и был уволен с той же формулировкой, что и я: как чуждый элемент, классово враждебных настроений и идеологии. Добавлю, что обвинили его и в демонстративном непосещении кружка по изучению марксизма-ленинизма и в неучастии в соцсоревновании. Был уволен и научный сотрудник Н., генетик, большой специалист по каракулю. Он много работал над закреплением у шкурки каракуля того или иного определенного рисунка. Известно, что СССР является главным поставщиком каракуля на мировом рынке. Я думаю, что Н. сделал большой вклад в это дело. Но он был мужем молодой и красивой жены, которая очень нравилась одному из видных партийцев. К тому же Н. оказался сыном священника. Уже будучи в Ленинграде, от приехавшего ко мне знакомого из Аскании, я узнал, что партиец не только убрал со своей дороги генетика Н., но и воспользовался его еще не опубликованными научными трудами, присвоив их себе. И такого рода увольнения были перманентны. Вот в какой атмосфере приходилось жить и дышать *ВНЕ АРХИПЕЛАГА ГУЛаг*. Вот в какую практику вылилась теория классовой борьбы. Дальнейшая судьба доктора Блажина, каракулеведа Н. и многих других мне не известна.

Хочется еще добавить, что доктор в Аскании, который мне показывал покойников, умерших от голода с травой во рту, с еще большим возмущением говорил о том, кому ему приходится давать направление в санатории, курорты и дома отдыха. В смысле количества, эта возможность у доктора была очень ограничена. В Аскании было достаточно своих больных,

нуждавшихся в санаторном лечении, но приезжали к нему сотрудники районного НКВД, совершенно здоровые люди, упитанные, с бычьей шеей, и доктору приходилось им отдавать направления на курорты и в санатории, лишая этим действительно нуждавшихся в санаторном лечении. Но сотрудникам НКВД доктор *НЕ МОГ* отказать.

Уезжая из Аскании, я оставил большой негативный архив, которого до меня там не было. Я завел картотеку-альбом, где были все фотографии с номерами негативного архива. Некоторыми снимками я очень дорожил, как результатом большой затраты времени, терпения и труда. Эти снимки мне потом приходилось видеть в советских журналах. В Асканию часто приезжали корреспонденты журналов, писали очерки о своем посещении Аскании, и статьи эти иллюстрировались моими снимками. Впечатление такое, что эти снимки сделаны автором очерка или статьи об Аскании, так как под снимками мое имя никогда не указывалось.

Н. Озеров

ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ

Человечество стоит перед угрозой гибели цивилизации и физического уничтожения от бесконтрольного наращивания термоядерных арсеналов и нарастания конфронтации. Устранение этой угрозы имеет безусловный приоритет перед всеми остальными проблемами международных отношений — я много раз об этом писал и считаю необходимым повторить еще раз. Поэтому так важны переговоры о разоружении, дающие проблеск надежды в темном мире самоубийственного ядерного безумия. Но мне кажется, что и в этой критической проблеме сказываются те же недостатки подхода к «разрядке», о которых я уже говорил — разобщенность Запада, иллюзии у одних и политическая игра других. Особенно важно подчеркнуть, что проблемы разоружения неотделимы от других основных аспектов разрядки — от преодоления закрытости советского общества, от укрепления международного доверия, от ослабления тоталитарного характера советского общества. Поэтому, даже если стремиться к решению только одной проблемы разоружения как самой важной, все равно для ее решения необходимо неослабное внимание к человеческим проблемам, к защите прав человека, к облегчению обмена людьми и информацией как основы международного доверия. Эту «неделимость разрядки» нельзя забывать. Соглашения Никсона и Брежнева, Форда и Брежнева о противоракетной обороне, о наступательном стратегическом оружии очень важны. Но я, выступая в качестве «аутсайдера», в первую очередь хочу подчеркнуть то, что в них кажется мне несовершенным, даже опасным.

Если говорить в общем плане — это недостаточное внимание к проблемам контроля, недооценка особенностей нашего тоталитарного государства, возможных особенностей его стратегической доктрины и закрытости.

Советская сторона во всех переговорах о разоружении всегда занимала очень жесткую позицию в вопросах контроля. Причин тут много — закрытость советского общества, тра-

диционная (и бессмысленная в наше время) шпиономания, желание блефовать (то есть создавать впечатление большей силы, чем на самом деле), желание получить преимущества внезапности и неожиданности. Этой жесткой (и в конечном счете неразумной) позиции необходимо противопоставить большую твердость Запада, основанную на реальной силе и доброй воле.

Другой столь же принципиальный вопрос — опасение, что стратегическая доктрина и практика тоталитарного государства может оказаться более безжалостной к населению своей страны и ко всему человечеству, более авантюристической, более подверженной случайностям, зависящим от личности и кабинетных решений, чем в более демократическом государстве.

Прежде чем конкретно обсуждать соглашения, я еще хочу остановиться на распространенном недоразумении, что советская сторона по экономическим причинам в большей степени заинтересована в истинном разоружении, чем ее западные партнеры по переговорам. Из этого предположения делаются далеко идущие и опасные, по-моему, выводы о целесообразности одностороннего разоружения Запада. К сожалению, дело обстоит гораздо сложней. Конечно, экономическая система нашей страны, несущая огромный груз военных расходов, крайне перенапряжена, и перевод многих миллионов рублей на мирные цели — в высшей степени в интересах большинства народа. Но реально кардинальное изменение в таком определяющем вопросе, как милитаризация экономики нашей страны, невозможно без глубоких общеполитических изменений. Сейчас доминирующая черта политики властей — по возможности ничего существенного не менять, чтобы не нарушить сложившегося равновесия вещей, а в конечном счете — чтобы не поставить под удар положение элиты и ее привилегии, тесно вплетенные в это существующее положение.* Можно опасаться, что одностороннее разоружение Запада не повлечет за собой ответной реакции — тогда это чревато нарушением равновесия.

* Я уже писал выше, что одной из основных причин падения Хрущева была его попытка уменьшить непомерные военные расходы и покушение на привилегии «номенклатуры».

Я убежден, что соглашения, которые имели бы реальное, а не только символическое значение, должны включать:

1) В качестве первого этапа, предшествующего полному запрещению ракетно-термоядерного наступательного оружия, — достаточно низкий и сбалансированный по суммарной мощности зарядов предельный верхний уровень для носителей термоядерных зарядов стратегического назначения. Эта формулировка подразумевает, что предельная суммарная мощность зарядов, размещенных на носителях стратегического назначения, устанавливается одинаковой для СССР и США, и самое главное, такой, что даже при попадании всех зарядов в города противника лишь меньшая часть застройки подвергнется разрушению и может погибнуть лишь малая часть населения.

2) Запрещение развертывания и усовершенствования противоракетной обороны стратегического назначения. Полное запрещение разделяющихся боеголовок независимого наведения. Эти требования представляются мне реальными, так как осуществление этих систем оружия находится в начальной стадии. Отказ от осуществления этих систем важен как в силу исключительной их дороговизны (в свое время писалось, что ПРО в четыре раза дороже противостоящей ей по мощности наступательной системы), так и потому, что их осуществление может способствовать стратегической неустойчивости: у каждой из сторон может появиться соблазн нанести первый удар для получения решающего преимущества.*

3) Совершенную систему контроля, включающую инспекции на местах. Дальнейшее развитие этих соглашений должно

* Связь «стратегической неустойчивости» с разработкой разделяющихся боеголовок подробно обсуждается ниже. В применении к противоракетной обороне то же смотри в ряде зарубежных работ и публикаций 1966 — 1968 гг. (и мою статью «Размышления...»), где обсуждается гипотетическая схема внезапного ракетно-термоядерного нападения стороны, имеющей столь же мощную наступательную систему, как и ее противник, и *первой* осуществляющей более эффективную противоракетную оборону. Эта сторона может рассчитывать нанести решающий ущерб своему противнику и избежать эффективного ответного удара. Сложность и опасность ситуации, связанной с проблемой противоракетной обороны, увеличивается неподходящим совершенством системы контроля.

иметь целью полное запрещение термоядерного и атомного оружия.

К сожалению, заключенные соглашения не соответствуют этому идеалу. Более того, создается впечатление, что они в некоторых отношениях как бы ведут в другую сторону.

В частности, возражения и опасения вызывает соглашение Никсона-Брежнева о ПРО. Это соглашение оставляет за СССР и США право защиты одного района (в случае СССР — района Москвы), охраняемого небольшим числом противоракет.

По некоторым оценкам необходимое для эффективной защиты число установок во много раз (например, в 30 раз) больше установленного соглашением. Поэтому при отсутствии контроля на местах не исключено, что одна из сторон тайно увеличит число своих установок.

Далее, все мы в СССР знаем, что Московский район — это не только военно-промышленное сердце страны, но главным образом ее элитарная часть. Страшное подозрение невольно закрадывается в душу, рисуется система того, что при такой оборонной системе большая часть территории и населения страны приносится в жертву соблазну получить решающее преимущество первого ракетно-ядерного удара при относительной безопасности московских чиновников.

Лишь дальнейшие соглашения могут прояснить дело. Я надеюсь, что эти соглашения будут достигнуты в самое ближайшее время.

Не меньшую тревогу вызывают некоторые стороны соглашений о наступательном ракетно-термоядерном оружии.

Опять недостаток контроля. Если подземные и наземные стационарные стартовые позиции еще как-то можно засечь с разведывательных спутников, то все остальные формы размещения ракет с подводными и подвижными стартовыми установками, стартовый вес ракет, мощность зарядов, истинная доля ракет с разделывающимися боеголовками остаются вне контроля. Чрезвычайно высок установленный потолок числа носителей — даже малой доли от разрешенного предела достаточно для нанесения ужасающего ущерба.

Существует большая опубликованная литература о действии ядерного оружия. Я напомню поэтому лишь несколько показательных цифр. Взрыв, при котором выделяется такая

же энергия, как при взрыве одного миллиона тонн тротила (условно говорят — взрыв «мощностью в одну мегатонну») — таков, по-видимому, взрыв легкого термоядерного заряда ракет типа «Полярис» и подобных ей по грузоподъемности) разрушает строения городского типа на площади около 50 квадратных километров и сжигает все, что может гореть, на той же площади; убивает, даже при наличии убежищ сотни тысяч людей. Наземный или относительно низкий взрыв сопровождается выпадением радиоактивных осадков в «радиоактивном следе» по ходу ветра. Осадки состоят из песчинок и пылинок, поднятых с поверхности земли взрывом и «напитавшихся» с поверхности радиоактивными продуктами деления урана. След от мегатонного взрыва создает смертельную дозу облучения (600 — 1000 рентген, а в центре еще выше) на площади в несколько тысяч квадратных километров. Действие излучаемых в момент взрыва гамма-лучей (которые принесли так много несчастья в Хиросиме и Нагасаки) отступает для мегатонных взрывов на второй план, так как эти лучи поглощаются в воздухе на расстояниях много меньших радиуса действия ударной волны.

По Владивостокскому соглашению каждая из сторон, СССР и США, может иметь по 2400 носителей зарядов. Мощность зарядов, переносимых одним носителем, соглашением никак не оговорена.

По данным из литературы, мощность современных термоядерных зарядов лежит в пределах от одной мегатонны (мелкие ракеты типа «Полярис» и ей подобные) до 30 мегатонн или выше (авиабомбы, самые тяжелые ракеты). В 1961 году в Советском Союзе был испытан термоядерный заряд, который имеет в полном по закладке боевом («грязном») варианте мощность более 100 мегатонн (об этом было заявлено Н. С. Хрущевым на XXII съезде КПСС).

При использовании некоторой части ракет для подавления стартовых позиций противника и в предположении, что большая часть ракет сбивается ПРО, так что до городов противника долетает только 5 % наличного (разрешенного по соглашению) арсенала (120 ракет с термоядерным зарядом суммарной мощности, которую мы оценим в 600 мегатонн) — даже в этих «скромных» предположениях неизбежно разрушение большей

части городов и гибель большей части населения в обеих вступивших в термоядерную войну странах — СССР и США.

До сих пор я писал о доставленных к цели зарядах. Но при взрыве очень большого числа зарядов или единичных сверхмощных зарядов особое значение приобретает эффект глобального (общего для всей Земли) радиоактивного поражения. Так как ветры способны разносить радиоактивные продукты по всей Земле, то для глобального эффекта место взрывов с суммарной энергией 200-500 тысяч мегатонн — полное уничтожение всего живого на Земле! Даже этот роковой предел не так уж далек от установленного потолка. Если суммарное число зарядов СССР и США достигнет разрешенной цифры 4800 при средней мощности 10 мегатонн, то суммарная мощность составит 48 тысяч мегатонн (а ведь есть еще Англия, Китай и Франция).

Сложность положения усугубляется известным из опубликованных материалов различием стартовых весов советских и американских ракет. Как заявил весной 1975 года министр Обороны США Шлезингер, советская ракета может нести 8 разделящихся боеголовок против 3 американских, то есть налицо трехкратное отличие стартовых весов.

Я предполагаю, что если в ходе дальнейших переговоров не будет достигнуто соглашение, ограничивающее суммарную мощность зарядов, причем достаточно низким пределом, то США в ближайшем будущем перевооружат свой ракетный парк более тяжелыми ракетами, СССР предпримет ответные меры, и в результате гонка вооружений только усилится.

Тревогу вызывает также, что Владивостокские соглашения как бы узаконили разделяющиеся боеголовки независимого наведения. Неоднократно отмечалось, что эта новая мода военной ракетной техники расширяет область гонки вооружений и увеличивает опасность возникновения так называемой «неустойчивой стратегической ситуации» — то есть попросту ситуации, в которой каждой из сторон стратегически выгодно и относительно безопасно нанести первый ракетно-ядерный удар (на человеческом языке — совершить величайшее в истории преступление). Западные авторы, которых мне довелось читать, следующим образом объясняют суть проблемы.

Пусть число носителей и их грузоподъемность у обоих

потенциальных противников примерно одинаковы, и половина носителей у каждого оснащена 4 — 6 разделяющимися боеголовками. Примем условно также, что на поражение одной стартовой установки требуется в среднем две боеголовки. Очевидно, тот из противников, который неожиданно наносит первый удар, получает возможность частью (70 — 100%) своих ракет с разделяющимися боеголовками сразу уничтожить все стартовые позиции противника, а остающимися «обычными» ракетами уничтожить все его города, военно-промышленные и транспортные объекты, и тем самым нанести противнику сокрушительное поражение, причинить решающий ход войны ущерб, не получив ответного удара. Это и есть «смазливство первого удара», или на более ученом языке «стратегическая неустойчивость». Конечно, во всем приведенном рассуждении содержится много упрощений гораздо более сложной реальной ситуации (не учтены подводные и скрытые старты и многое другое), но все же ясно, что разделяющиеся боеголовки дополнительно осложняют и без того необычайно трудную проблему устранения опасности ракетноядерной войны. В 1968 году я писал почти то же самое о противоракетной обороне (см. сноску выше). С тех пор положение усложнилось еще больше.

Ракетно-термоядерная война — это уже сейчас вошедшая в нашу жизнь весомая мрачная реальность современности, подобная уже осуществившейся реальности Освенцима, ГУЛАГа, голода. Быть может, я ощущаю это острее многих, ведь я более 20 лет вплотную соприкасался с этим фантастически-страшным миром. Хотя последние семь лет я не принимаю участия в секретных работах и не имею к ним допуска, и технически мои знания, конечно, сильно устарели, но психологический опыт прошедших напряженных десятилетий живет во мне, и как мне кажется, дает мне право и обязывает писать о том, что я думаю — пусть спорно, но откровенно. Я ни на минуту не могу забыть, что все это время сотни тысяч рабочих, тысячи талантливых инженеров и ученых многих специальностей работают по расширению и усовершенствованию систем нападения, которые труднее всего отразить — с синхронизированным ударом тысяч ракет с разделяющимися мультимегатонными боеголовками и ложными целями, и по созданию фан-

тастически сложных и дорогих систем обороны, служащих тем же целям войны.

В ноябре 1955 года происходили очень важные испытания термоядерного оружия (в ходе которых произошли трагические события — гибель молодого солдата, заваленного в траншею, и гибель двухлетней девочки, дочери одинокой немки, убитой обрушившейся в бомбоубежище балкой). Вечером после испытания, на небольшом банкете в узком кругу руководителей испытаний и ведущих ученых, я поднял тост за то, чтобы, как я сказал, «наши изделия никогда не взрывались над городами». Проводивший испытания крупный военачальник счел необходимым ответить мне притчей, суть которой сводилась к тому, что задача ученых — укреплять оружие, а как оно будет использовано — это не их забота, не их ума дело. По существу, он сказал то же самое, что несколькими годами позже, в более развернутой форме, на встрече с учеными в Кремле заявил Н. С. Хрущев (я уже имел случай писать об этом).

Но и тогда, и сейчас я думаю, что ни один человек не может снять с себя своей доли ответственности за дела, от которых зависит существование человечества.

А. Д. Сахаров

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА»?

21 августа исполнилось 7 лет со дня оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Известно, что в связи с этим актом насилия появился термин «доктрина Брежнева». Но верно ли исторически приписывать именно Брежневу осуществление права Советского Союза на вмешательство во внутренние дела других стран?

31 декабря 1922 года на политической карте мира возникло новое государство — СССР. За более чем 50 лет его существования люди не только привыкли к этому названию, но и способствовали тем самым стабилизации легенды о праве этого многонационального конгломерата на существование, при чем это государство-коллесс вовсе не остается неизменным, оно непрерывно растет, расширяясь и включая в себя все новые и новые нации.

Размышления над этим феноменом приводят к поискам причин роста этого многонационального конгломерата — СССР (а сейчас уже соцлагеря). Каковы взаимосвязи между СССР и теми государствами и нациями, которые являются объектом его интересов? И не могут ли и другие народы быть пока что потенциальными, а в будущем и фактическими объектами этих интересов? Где начинается и где кончается этот процесс? И может ли он вообще кончиться?

За последние несколько лет в многочисленных анализах политики СССР, которые были проведены не только на Западе, но и на Востоке, многие пользуются термином «доктрина Брежнева». На Западе этот термин стал даже какой-то аксиомой, при помощи которой можно объяснить не только оккупацию Чехословакии, но и любое возможное в будущем вмешательство советской армии в случае «непослушания» со стороны других стран блока.

В коммунистической же литературе этот термин употребляется совершенно в других взаимосвязях: — *во-первых*, когда хотят подчеркнуть принципиальное непонимание Западом политики КПСС, и *во-вторых*, когда хотят подчеркнуть «пропагандистский произвол агрессивных, милитаристских, империалистических и враждебных социализму сил Запада».

Парадоксально, что в то время как некоммунистический мир автоматически связал с именем Брежнева оккупацию Чехословакии (а в теории как «доктрину Брежнева» рассматривает отсутствие у наций, находящихся в сфере влияния СССР, права на суверенное развитие), сама КПСС, как и другие компартии советского блока абсолютно отрицают этот «приоритет генерального секретаря» в создании упомянутого нового теоретического постулата. Очень часто с формальной точки зрения аргументация этого лагеря бывает грубой и с заметным оттенком иронии и насмешки по адресу западных специалистов, утверждая, что никакой «доктрины Брежнева» вообще не существует.

Противоположная же сторона просто с удивительным упрямством не может оторваться от своей «эффектной терминологии», целиком игнорируя возражения коммунистов. Она проводит как бы границу между Брежневым и политикой КПСС как константой, приписывает именно ему политические новшества и, возможно, не сознательно создает новый миф о личности, которая в данный момент якобы представляет КПСС и СССР (то же между прочим, делается и в связи с политикой «разрядки», когда проводником этой политики в западной печати считается именно Брежnev). В результате получается, что даже критики Брежнева в действительности способствуют стабилизации его авторитета.

Почему же в данном случае СССР, где не упускают ни одной возможности «сослаться на точку зрения и теоретико-политический гений генерального секретаря» не хотят присоединиться к этому движению за повышение авторитета своего первого среди вождей и с таким упорством отрицают его право на это.

Наивно утверждать, что СССР как будто «стыдится» нападения на Чехословакию в 1968 г. или возможного нападения на другие народы в будущем — с этим, вероятно, согласны и

те, кто пользуется термином «доктрина Брежнева». Но фактом остается то, что для некоммунистического мира термин «доктрина Брежнева» стал понятием, как бы легализующим велико-державное право СССР вмешиваться во внутренние дела наций, находящихся в сфере его влияния и насаждать там порядок посредством оружия, защищая «статус quo» в мире, нарушение которого непослушными сателитами центральной и юго-восточной Европы могло бы, по мнению некоторых, привести к мировому конфликту.

Во время оккупации Чехословакии в 1968 г. западная демократия отнеслась весьма терпимо к этому событию. В США многие восприняли эту акцию как «скандал в своей семье», как «дело блока» и великодушно обошли молчанием свою прежнюю политику «сателитизма». Фактически западная демократия исключила из игры чехословацкое государство, как таковое, так как конфликт рассматривался в плоскости чисто партийной. И именно это, то есть факт, что Чехословакия была брошена на растерзание, лишил народы Чехословакии надежды на изменение их положения при поддержке их демократическим западом. Этот факт окончательно изолировал Чехословакию, поставив ее в полную зависимость от СССР и его чехословацких сотрудников.

Доктрина об «ограниченном суверенитете» и право СССР как державы поступать в пределах социалистического блока так, как он считает целесообразным, были приняты окружающим миром де-факто.



Таким образом, «доктрина Брежнева» становится абсурдным отражением положения, когда свободный мир видит в СССР государство, предполагаемая политика которого ограничена соблюдением существующего раздела мира. И как таковая, то есть географически ограниченная, воспринимается как Политика (с большой буквы), которую необходимо уважать как реально существующий факт, надеясь, что речь идет действительно о политике только по отношению к определенным странам, что речь идет об окостеневшем, нежизнеспособном учении без прошлого и без будущего, ограниченном странами определенной сферы.

Сейчас, мы можем с полной уверенностью сказать, что в термине «доктрина Брежнева» растворились надежды стран соцлагеря на уважение их суверенитета, на их право свободного участия в международной жизни. Свободный мир как бы вычеркнул эти народы из перечня суверенных наций, возможно, в надежде на то, что за это он сам останется вне сферы советской экспансии. Ответ на это даст только будущее.

Советское отрицание наличия такой доктрины проводится с циничной откровенностью, на которую способны лишь те, кто уверен, что они не натолкнутся на какое-нибудь сопротивление и что их политика всегда успешна. Эти политики, отрицают «доктрину Брежнева», прибегают к разъяснению начала возникновения СССР, к ленинской «науке» о политических лозунгах, к идеологии пролетарского интернационализма как составной части тактики в мировой стратегии коммунизма.

Итак, перед нами две политические концепции, два объяснения одного и того же факта. Независимо от того, хотят они этого, или нет, создатели термина «доктрина Брежнева» и те, кто этим термином пользуются, рассматривают политику КПСС как изолированный феномен, исторически не связанный с целым комплексом мировой политики СССР. В рамках этой концепции оккупация Чехословакии и может восприниматься как частное действие «злого дяди» в Кремле и даже может привести к выводу, что ничего, собственно говоря, тут и не произошло. Дубчки исчезают в «пропасти истории», а Брежневы, представители власти и силы, режима с бесчеловечным лицом — остаются.

Но тот факт, что КПСС систематически отвергает эту доктрину и вообще отрицает существование таковой, подчеркивая увязку действий Брежнева с теми принципами, которые легли в основу создания многонационального коммунистического государства, является предупреждением, что речь идет вовсе не о частном, исключительном случае, а о долговременной политике, и оккупация Чехословакии — лишь проявление ее, как константы коммунистического государства на данном этапе и при данном исполнителе (Брежневе).

Но разве мы можем сказать, что присоединение Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и части Финляндии в 1939-1945 гг.

было доктриной Сталина? Разве утопленные в крови надежды венгров на суверенитет был доктриной Хрущева? Почему же тогда оккупация Чехословакии и постоянная, нависшая над Югославией и Румынией угроза считаются проявлением «доктрины Брежнева»? В чем заключается то новое, благодаря чему Брежnev так вступает в мировую историю? Почему в СССР отвергают этот термин и настаивают на логичности и преемственности своей политики, а свободный мир хочет видеть в этом изолированный от общей истории СССР этап?

Разве распространение советского влияния на территории других наций не характеризуется в течение всей истории СССР общим знаменателем — интервенция советской армии или по крайней мере давление, оказываемое самим наличием колossalной вооруженной силы, всегда готовой выступить за свои интересы?

Каково же будущее мира, который уже сейчас относится с полнейшим безразличием к судьбам народов советского блока и умирает от страха перед выступлениями наций этого коммунистического конгломерата, которые могли бы подкопать стабильность власти коммунистического центра? Разве «статус quo» когда-либо в истории оказывался вечным?

Брежневу, конечно, хорошо известно, что он не великий теоретик коммунизма, не создатель новой доктрины, которой было присвоено его имя. Механизм советской власти создал не он. Он нашел его готовым, действующим и проверенным всем прошлым. В случае Чехословакии он привел его в действие, но это не был акт его воли или некоторых его сторонников по Политбюро, или, не дай Боже, некоторых его противников, победивших его при голосовании.

Обратимся к истории. После захвата большевиками власти многие (а некоторые и до сих пор) были в восторге от ленинского лозунга о праве наций на самоопределение вплоть до образования национального государства. Но те, кто действительно изучал «ленинскую национальную политику» знают, что этот лозунг должен был только стимулировать «революционную, национально-освободительную борьбу» тех наций, которые входили в состав других государств. Эта борьба должна была сыграть роль взрывчатки в колониальных империях, разложить их и перетянуть на сторону большевизма.

В свое время во многих районах мира этот лозунг принес коммунистам «славу» борцов за права порабощенных народов. Но интересен факт, что в Европе, где в результате распада Австро-Венгрии возникли новые государства, большевики вначале пользовались другой тактикой. В отношении Европы они считали, что коммунистическая партия сохранит крупное многонациональное государство, пойдет по пути мировой революции и объединится с Советской Россией. Что же касается самой многонациональной Советской России, то большевики никогда не понимали прокламированный ими лозунг о праве наций на собственное государство как право на отделение этих наций от Москвы, а лишь как тактический прием, при помощи которого можно будет восстановить государство в его прежних границах и укрепить его. И именно в первые годы (точнее в первые пять лет) существования большевицкого правительства и выкристаллизовалась доктрина ограниченного суверенитета.

Ленинская организация профессиональных революционеров пришла к власти в бурное время, когда в стране господствовал хаос, голод, разруха. Одним из первых шагов этой организации было обещание нерусским народам одинаковых прав. Несколько позже эта организация пообещала тем нерусским народам, которые не захотят остаться в РСФСР, возможность отделения и создания независимого государства. Но подлинной идеей коммунистической партии никогда не была честная поддержка такого отделения. Все программы партии и все ее вожди всегда провозглашали, что они вовсе не желают отделения нерусских наций. Право нации на самоопределение для коммунистов всегда было второстепенным вопросом, производным от основной задачи доктрины. А первоочередная задача была — государство «диктатуры пролетариата», как выражение силы партии, военной силы государства и вопрос мировой гегемонии, отраженный в лозунгах о «мировой революции».

Правительство Ленина заключило с правительствами нескольких новых государств договоры, в которых говорилось и то, что РСФСР на основе права наций на самоопределение безоговорочно признает независимость и самостоятельность данного государства и добровольно и на вечные времена отказывается от каких-либо суверенных прав по отношению к

данной территории. Но так как коммунисты под словом «нация» понимали лишь социальную группу, представленную ее коммунистически ориентирующимся слоем, то, следовательно, право наций на самоопределение было лишь правом большевицких ориентирующихся политических сил. Но даже представляя этому слову упомянутое «право», коммунисты понимали, что ни о какой «национальной свободе» не может быть и речи, так как уже сама принадлежность данного слоя к коммунистической партии делала их «интернационалистами». Так, давным давно была выработана партийная линия в национальном вопросе.

Сталин, бывший официальным большевицким комиссаром по делам национальностей (Ленин для него придумал и название «отец народов» и утверждал, что во всей России нет более подходящего человека для этой должности) открыто заявлял, что очаг мировой революции — центральная Россия — не может удержаться и развивать революцию без сырьевой и продовольственной базы окраинных территорий, населенных нерусскими нациями, так что их отделение являлось бы в наивысшей степени контрреволюционным. За их неотделение Сталин обещал этим нациям защищать их от империалистов (Чехословакию тоже, якобы, защитили от «западногерманского реваншизма»).

Так, импозантный лозунг о праве наций «на самоопределение вплоть до отделения» с самого начала большевизма потерял всякое значение. Другими словами, для создания «великого государства» большевики сами способствовали возникновению т.н. «независимых суверенных» советских республик (1918-1922 гг.), варьируя известный тезис Ленина: разделение ради воссоединения.

Ленинское правительство начало править не как правительство СССР, а как правительство РСФСР. Наряду с РСФСР существовали «независимые суверенные» Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Азербайджан. В этих «суверенных» республиках были свои «независимые» национальные правительства и собственные национальные коммунистические партии. В торжественно заключенных договорах между этими республиками и РСФСР говорилось, что факт прежней принадлежности этих республик к

российской империи данные республики ни к чему и по отношению ни к кому не обязывает. У этих республик были даже свои дипломатические представительства и свои контингенты вооруженных сил. Основное место в этих договорах занимали вопросы военно-политического и экономического союза, в которых было узаконено подчиненное положение этих «суверенных республик» по отношению к РСФСР.

Что касается национальных компартий, то они были лишь региональными организациями компартии РСФСР. Они играли роль трансмиссий между центром большевицкой власти и населением этих «суверенных» республик. Сталин в 1920 году, говоря об Азербайджанской республике, не стесняясь, заявил, что единственной причиной согласия ВКП(б) на провозглашение советского Азербайджана была опасность того, что местная буржуазия и интеллигенция обвинят РСФСР в оккупации и захвате Азербайджана. Поэтому, говорит Stalin, чтобы выуть этот козырь из рук интеллигенции, следует заявить, что Азербайджан является независимым государством. «Эта формальная независимость является вопросом нашей политической стратегии», — сказал Stalin, объясняя политику правящего центра перед верхушкой КП Азербайджана. Другими словами, «ограниченный суверенитет» в терминологии 20-х годов просто назывался «формальной независимостью».

Национальные компартии были организованы из центра и безоговорочно этому центру подчинялись. И ни одна из этих национальных компартий не обладала таким национальным тылом, который бы гарантировал ее право на власть по воле данной нации. Их псевдо интернационалистский характер, защита и реализация не национальных интересов, а интересов большевизма, требовали размещения Красной Армии на территориях данных государств как единственной гарантии правления этих партий. А иногда Красная Армия входила для того, чтобы им эту власть передать.

Об этом периоде — масса документов. Но так как советские критики часто обвиняют публикующих на Западе авторов в том, что они пользуются антисоветскими источниками, я хотел бы привести документ наиболее кошерного историка того времени и в глазах самих советских деятелей. Я имею в виду инструкцию главнокомандующему Красной Армией, которую

совместно составляли Ленин и Сталин. В этой инструкции от 29 ноября 1918 года говорится, что по мере продвижения советских войск на Запад и на Украину следует в этих областях создавать временные областные советские правительства, которые учреждят местные советы. Далее инструкция говорит:

«Это обстоятельство имеет то преимущество, что оно лишает украинских, литовских, латышских и эстонских шовинистов возможности считать продвижение наших частей оккупацией... иначе наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в весьма неблагоприятное положение и население не приветствовало бы их как освободителей»¹ (подчеркнуто мной, Ф. С.) Области оккупированные — это признается и в документе, но подумать, что ленинские солдаты являются оккупантами, могут только шовинисты. А поэтому, подавай нам соответствующее временное правительство. Другими словами, мы, большевики, знаем, что наша армия вас оккупирует, но вы должны нас встречать как освободителей. А от чего? Наверное, от тяжести национального и государственного суверенитета.

Этот же рецепт был применен в августе 1968 года в Чехословакии. Советские войска вошли с кровавым намерением создать сразу же коллаборационистское «рабоче-крестьянское» правительство, которое приветствовало бы их как освободителей. Это не вышло сразу. Но сейчас уже все нормализовано. Поэтому, когда в первые дни оккупации в Праге я читал написанные кем-то на стенах лозунги: «Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума!», то мог только с горечью подумать о том, как плохо люди знают историю КПСС. Ведь уменью превратить оккупантов в освободителей все советские вожди учились у Ленина!

Ликвидация «суверенных» республик и поглощение их центром в форме образования СССР формально не были проведены на основе постановления ЦК РКП(б), хотя в действительности так оно и было. ЦК определял тактику этого объединения народов. Руководящие группы национальных коммунистических партий получили указание попросить центральное правительство от имени своих народов оказать им любезность и объединить данные республики с СССР. Так что фактически

¹ Ленин, Сочинения, т. XXVIII, стр. 229.

в течение суток исчезли «суверенные» республики и начало действовать централизованное государство со всеми внешними атрибутами и декорациями Союза республик.

Во время образования СССР трем прибалтийским народам удалось на 20 лет отложить окончательное решение их национального вопроса, так как тогда сопротивление народа было сильнее натиска Красной Армии. Реванш был взят после заключения пакта между Сталиным и Гитлером в 1939 г. и, наконец, в 1945 г. в Ялте.

А сейчас мы видим то же в странах т.н. соцлагеря. В «суверенных», на этот раз европейских государствах, которые никогда не были частью бывшей российской империи, размещены советские войска, и национальные коммунистические партии этих государств безоговорочно признают безраздельную и ничем неограниченную «руководящую роль» КПСС. Существуют и военный, и экономический союзы в виде Варшавского договора и Совета Экономической Взаимопомощи, а ученику Ленина приписывают доктрину об «ограниченном суверенитете».

Это не просто вопрос авторских прав. Точность понятий и точность терминологии необходима для объективной оценки происходящего и конечно, для предвидения будущего.

Франтишек Силницкий

О СМЫСЛЕ РАСКАЯНИЯ

Имеет ли раскаяние положительный смысл? Не представляет ли оно собой эмоциональный пережиток прошлого, обнаруживающий свою излишность перед судом просвещенного разума? В самом деле, раскаяние, по своему смыслу, направлено на прошлое, а прошлое не находится уже во власти нашей воли. Что прошло — то прошло. «Надо не раскаиваться, а не повторять прошлых ошибок» — таков современный светский взгляд на раскаяние. Подобного же взгляда придерживался и такой глубокий, но преисполненный духовной гордыни философ, как Фихте, любивший говорить, что он «не имеет времени для раскаяния».

Однако, помимо своей моральной порочности, взгляд этот грешит грубым непониманием природы душевной жизни. Такая, отрицательная оценка раскаяния была бы правомерна, если бы наша душа жила лишь в настоящем. Для внешнего, материального мира реально, действительно, лишь настоящее, ибо прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. Однако, простое самонаблюдение показывает, что наша душа живет не только в настоящем, а в еще большей степени — в прошлом и будущем. Память о прошлом и предвосхищение возможного будущего не менее реальны, чем восприятие настоящего. Насильственное же забвение дурного прошлого невозможно. Наша душа знает гораздо больше чем наше сознательное «я» (что знал уже Гоголь, но было осознано психоанализом лишь сравнительно недавно). И, помимо логики разума, есть логика сердца. Раскаяние «не нужно» лишь с грубоматериалистической и поверхностно-рационалистической точки зрения.

Избавиться от бремени дурного поступка в прошлом вряд ли можно механическим путем. Муки угрызения совести, нормально завершающиеся раскаянием, далеко не так бессмыслены, как это может казаться с «просвещенной» точки зрения. Возьмем аналогию: незлокачественная опухоль от попавшего в организм инородного тела вовсе не вредит организму: —

она представляет собой путь, поневоле болезненный, посредством которого организм стремится избавиться от недуга. Подобно этому угрызения совести, предваряющие раскаяние (увы — далеко не всегда) имеют свой смысл, — как муки души, через которые она стремится восстановить утраченное моральное здоровье. «Надо не раскаиваться, а не повторять ошибок». Сказать это легко, но при этом даже не поднимается вопрос: что может дать душе силу не повторять роковых ошибок (только ошибок ли?) и духовно возродиться.

Тема о смысле раскаяния есть тема о радикальном зле в человеческой природе. Ибо предметом раскаяния является привнесение в прошлом объективного зла в мир, и корни того зла, которым был проникнут мой греховный акт, надо искать в самом существе раскаивающегося. Но в то же время это есть тема и о радикальном добре. Ибо раскаяние, по своему замыслу, направлено на освобождение от самого себя, и это освобождение может совершиться только радикальным же путем, — внутренним перерождением самого существа раскаивающегося.

Erquickung has Du nicht gewonnen
Wenn es nicht aus deiner eigner Seele quillt
(Angelus Silesius)

Перед духовным взором раскаивающегося встают вопросы об оправдании или осуждении им своих поступков, а через это и самого своего бытия. Именно эта направленность раскаяния на самое существо раскаивающегося сообщает этому актуальному феномену его неотменимую значительность, его нравственную значимость. Мы раскаиваемся всегда в «самом интимном», и эта интимность раскаяния сообщает ему его глубинность, его происхождение из метафизических глубин личности.

Подчеркнем еще раз, что предметом раскаяния является мое прошлое проявление. В самый момент совершения поступка я нахожусь в актуальной связи с внешним миром, с другими и, следовательно, не имею времени для раскаяния. Недаром Гёте говорил: “Der Handelnde ist immer gewissensloss”. (Действующий всегда бессовестен). Если бы предметом раскаяния были только последствия моего прошлого поступка в настоящем, то раскаяние было бы только «симптомом» (как и рассматривает его психоанализ). Оно не сопровождалось бы

прикованностью духовного взора к прошлому, то есть, не было бы раскаянием, а слилось бы в простое ощущение неудовлетворения. Между тем, раскаяние есть волевой акт, направленный на преодоление своего дурного прошлого. Иначе говоря, психоаналитики слепы к нравственному замыслу и смыслу раскаяния.

Я вижу три главных рода раскаяния, в их иерархической восходящести: наивное, несчастное и побеждающее раскаяние. Для иллюстрации наивного раскаяния возьмем пример. Попавший в беду человек просит своего друга помочь ему, но этот друг, движимый более эгоизмом, чем альтруизмом, уклонился от оказания помощи и затем успокоил свою совесть данным себе обещанием в следующем аналогичном случае прийти на помочь нуждающемуся.

Но то, что он виноват перед несчастным другом и что этот факт (неоказание помощи) раз навсегда вошел в состав его биографии, — этот факт не был воспринят таким человеком трагически. Такой человек не чувствует тайны времени: он думает, что утерянную ценность предосудительной пассивности можно возместить в будущем. Он не понимает, что прошлое содержитя в настоящем, и что, хотя его дурной поступок был (в прошлом), потенция его целиком присутствует в настоящем. Ведь время есть, по классическому описанию Бергсона, необратимый поток живой текучести, где каждый миг незаменим и неповторим, где прошлое присутствует в настоящем и настоящее предвосхищает будущее. Осознание этой необратимости времени и, следовательно, принципиальной невознаградимости нарушенной в прошлом иерархии ценностей вводит нас в следующую диалектическую степень раскаяния — в несчастное раскаяние. Человек, охваченный несчастным раскаянием, сознанием непоправимости содеянного, переживает душевные муки, могущие перейти в отчаяние. Лучше всего об этом писал Пушкин в своих известных стихах: «В уме, подавленном тоской / теснится тяжких дум избыток / воспоминание безмолвно предо мной / свой длинный развивает свиток / и с ужасом читая жизнь мою / я трепещу и проклинаю / и горько жалуюсь и горько слезы лью / но строк печальных не смываю»/.

Собственно, несчастное раскаяние есть угрызения совести,

а не раскаяние в подлинном значении этого слова. Однако, как мне кажется, русское слово «раскаяние» совмещает в себе угрызения совести плюс тенденцию к прощению вины и греха. Поэтому раскаяние не вполне тождественно угрызениям совести. Раскаяние в обычном словоупотреблении занимает некое промежуточное место между угрызениями совести и самим покаянием. (Слово «покаяние» содержит в себе завершенность раскаяния преодолением греха, поэтому я буду употреблять его в этих особых случаях).

Так или иначе, сознание непоправимости содеянного зла, если оно не завершается таинством покаяния, нередко вызывает неосуществимое, но человечески столь понятное стремление — изменить, «стереть» свое дурное прошлое. Это может быть констатировано внимательным самонаблюдением, но оно подтверждается и таким авторитетом, как Фрейд. Основатель психонализа идет так далеко, что он утверждает наличие подсознательного стремления отрицать наличие осуждаемого прошлого. Эта «отрицательная магия» (выражение Фрейда) может заходить в самые отдаленные отрезки прошлого («было, не было»). Нечего и говорить, что эта тенденция отрицания дурного прошлого не достигает своей цели и порождает новые невротические симптомы.

Как бы то ни было, взятое лишь в своем аспекте «несчастного сознания» раскаяние становится этически отрицательной ценностью, ибо оно отвлекает волю от положительного действия, и становится безблагодатным тормозом души. Это глубоко сознавал давний основоположник экзистенциализма, Серен Киркегор. Ценя в раскаянии непосредственность переживания греха, Киркегор предостерегает против опасности исключительного сосредоточения мысли на грехе, что может привести к отчаянию. В этом смысле он пишет, что раскаяние несет в себе глубочайшее этическое противоречие и что «в конце концов момент раскаяния становится нравственным дефицитом действия и раскаяние может тогда раскаяться в себе самом».

Итак, несчастное раскаяние уничтожает самое себя, раскаиваясь в себе самом. Но несчастное раскаяние есть, в сущности, лишь попытка раскаяния, заводящая в тупик — попытка, переходящая в настоящую пытку мучительной прикованности духовного взора к совершенному в прошлом греху. Го-

ризонт будущего у несчастно раскаивающегося заволокнут тьмой и он становится как бы приговоренным к своему собственному, проклинаемому им, прошлому. Такое несчастное раскаяние, повторяя, легко может перейти в отчаяние, в смертный грех уныния. В произведениях великих мастеров слова можно найти немало классических описаний мук дурной совести и неудачных попыток раскаяния. Упомянем хотя бы шекспировского «Макбета» («Макбет зарезал сон») и, особенно, абсолютную изолированность в себе Раскольникова, «как бы ножницами отрезавшего себя от других», и который не рад даже любимым им матери и сестре. Но размеры статьи не позволяют нам заняться сколько-нибудь подробным анализом этих и других примеров душевных мук угрызений совести.

Итак, одного осуждения своего дурного прошлого еще недостаточно. Раскаяние достигает своего завершения лишь при условии абсолютной искренности перед собой и перед Богом. Глубокой мудростью поэтому проникнуто требование церковью исповеди, как залога подлинного раскаяния, через которое только и достигается очищение души и отчуждение греха. Это достижимо лишь в акте рождения нового духовного человека в раскаивающемся, через очную ставку с Богом.

Побеждающее раскаяние есть всегда победа над временем, — точнее, победа над своим собственным дурным прошлым, которое становится тогда как бы не бывшим. Так, отец Павел Флоренский сравнивает акт раскаяния с актом хирургического отсечения от души зараженной ее части. Приводим цитату: «Таинственно-свободный переворот в том и состоит, что нить жизни человека как бы прерывается, и образовавшееся у него греховное прошлое теряет свою определяющую силу, как бы выбрасывается из души, становится чуждым человеку». Акт подлинного раскаяния (именуемого церковью покаянием) есть, в сущности, мистерия, совершающаяся в неисследимой глубине человеческого духа, где происходит встреча души с Богом. Это есть мистерия победы над прошлым и новооткрытия утерянного горизонта будущего. В этом смысле Исаак Сирин говорит: «раскаяние есть молитва и просьба об уничтожении прошлого, мольба о сохранении будущего». Здесь достигается освобождение от самого тяжелого вида рабства — рабства у собственного прошлого. Раскаяние есть нравственное пере-

рождение личности, есть духовное воскресение убитой грехом совести, есть восстановление связи времени с вечностью.

Если наивное раскаяние не сознает этого рабства, а несчастное загипнотизировано мощью прошлого, то победа над прошлым достигается лишь в подлинном, побеждающем раскаянии. Метафизическим условием этой победы над прошлым является стояние ядра нашей личности, «субстанциального деятеля» над потоком времени. Истинное, побеждающее раскаяние приходит лишь тогда, когда побеждена самая перспектива времени, когда дурное прошлое проявления личности онтологически приравнивается настоящему с тем, чтобы быть извергнутым из самого состава личности. И одним из главных условий возможности подлинного раскаяния является — кроме абсолютной искренности и воли к очищению — победа над гордыней собственной самости, которая подсознательно противится раскаянию, то есть, смирение перед Богом. Особенно глубокие мысли о смысле раскаяния мы находим у Иоанна Лествичника. — «Раскаяние есть второе крещение, раскаяние есть дщерь надежды и отвержение отчаяния... как мы вошли в ров беззакония, то не можем выйти из него, не погрузившись в бездну смирения кающихся... иное есть смирение кающихся, иное зазрение совести согрешающих, и иное — блаженное и богатое смирение, которое особенным Божиим действием всеяется в совершенном».

Смирение — преодоление косности и упрямого самотождества человеческой самости есть основное условие подлинности и благодатности раскаяния. Если угрызения совести исходят от нашей совести, будучи обращены к нашему «я», то подлинное раскаяние должно быть ответом нашего «я» на призыв совести, — на той глубине нашей самости, где дух наш встречается с Богом.

Истинное раскаяние есть нравственное перерождение личности, есть духовное воскрешение убитой грехом совести, есть восстановление гармонии духа, нарушенной грехом.

С точки зрения т. н. «автономной этики», то есть, этики, признающей лишь нравственные нормы, не зависящие ни от чьей либо воли, в том числе от воли Божией (такова, например, влиятельная теперь этика Николая Гартмана), — раскаяние не имеет смысла и не находит себе места в мире этических

норм. Раскаяние получает свой положительный смысл и исполнение лишь с точки зрения «теономной этики», видящей за этическими нормами их Первоисточник — волю Божию, голос Божий в человеке, Вечное в человеке.

Сергей Левицкий

P.S. Особый вопрос о «коллективном раскаянии» должен был бы составить особую тему. Однако, поскольку человеческая личность есть не только ее центр — наше «я», но и член некоего «мы», и поскольку нация может служить примером такого органического, «нерукотворного», по выражению Солженицына, «мы», — вопрос о национальном раскаянии вполне оправдан. И недавний призыв Солженицына к русскому национальному раскаянию в высшей степени актуален. К коллективной личности нации приложимы те же анализы сущности и смысла раскаяния, которые содержатся в данной статье. Не побоимся горькой правды: значительное меньшинство русского народа активно участвовало в первородном грехе большевизма, а большинство виновно в том, что «дало себя закабалить». Только осознав свою горькую вину в прошлом, и искренне раскаявшись в нем, сможет русский народ искупить свою вину, добиться победы над собственным прошлым и достигнуть того освобождения от внутреннего рабства, которое является непременным условием возможности и внешнего освобождения.

ДВЕ СУДЬБЫ

Самым неожиданным образом Пауль Каммерер вошел в жизнь Сергея Сергеевича Четверикова. Еще накануне они были едва знакомы, были просто идеиными противниками, и вдруг, в один день, в один миг судьбы их соприкоснулись, и это прикосновение, как током, ударило Сергея Сергеевича. Каммереру в тот миг уже ничто не угрожало, он был мертв, а в Четверикове поселилось с той поры тревожное ожидание, он стал жить предчувствием беды.

И ведь как немного надо, чтобы выбить человека из колеи, разрушить весь уклад его жизни. Пустяк, сущая безделица, вроде той маленькой открытки, которую в день смерти Каммерера чья-то осторожная рука опустила в почтовый ящик. Всего-то несколько слов надломили жизнь Сергея Сергеевича: «Поздравляю Комакадемию с самоубийством Каммерера. Четвериков». И все.

Нужно было взять эту бумажку двумя пальцами и бросить в печь или, на худой конец, показать преподавателю Московского университета С. С. Четверикову: «Это ваше?»

Но кто-то рассудил иначе, кому-то хотелось извлечь из этой открытки максимальную пользу. И Сергей Сергеевич попал на газетную полосу. В некрологе о Пауле Каммерере, где приводилось его последнее, выполненное стыда и муки письмо: «Я найду в себе смелость и силу, чтобы покончить с моей неудавшейся жизнью», — в том самом некрологе, где Комакадемия скорбела о потерянном друге, было приведено подложное поздравление Четверикова.

Ну что стоит Яго, что стоят все эти оперные клеветники против сочинителя такой открытки?.. Пусть Сергей Сергеевич пишет, оправдывается, что никаких открыток 'он не слал и просто не способен к такого рода приемам борьбы, пусть профессор Кольцов сверяет почерки и свидетельствует, что поздравление написано кем-то другим, что преподаватель университета С. С. Четвериков — превосходный ученый и чест-

нейший человек, пусть их пишут: открытка сделала свое дело. Тень клеветы лежала на Сергея Сергеевича много лет.

Я и поныне не знаю, кто сочинил это письмо, догадываюсь, но не уверен, да и, право же, незачем... Куда сильнее влечет меня личность самого Четверикова и, конечно, Каммерера. Ведь тот сочинитель знал, что делал: не было в ту пору более далеких, более полярных исследователей, чем эти два. И не только потому, что держались они разных взглядов, нет, характером, стилем, всем складом мышления эти натуралисты были антиподами.

Идеи, как люди, пленяют простотой. И, увы, так же часто оказываются совсем не простыми. Пауль Каммерер вынес это убеждение из собственного опыта. Вернее, из множества опытов, поставленных им в виварии венского Пратера.

Смолоду он уверовал в одну заманчивую гипотезу, хотел доказать, что всякое новое свойство, будь то потемневшая кожа пятнистой саламандры или мозоль на лапке жабы-повитухи, — что этот однажды возникший и сбереженный животным признак остается в его роду навеки.

Это было наважденье! Он возил своих тритонов и жаб по Европе, читал лекции в американских университетах, устроил публичный диспут в Москве, убеждал, язвил, обвинял, вступил в полемику с самим Морганом. Отличный экспериментатор, он временами забывал, что науку делают не полемисты, а натуралисты. Но получив отпор, снова возвращался в лабораторию, вырабатывал у лягушки какой-нибудь навык, рефлекс и годами ждал, когда он проявится в потомстве.

А его саламандры... Шесть лет он держал их на желтом грунте, выходил не одно поколение, и получил, наконец, огненно рыжую, под песок расцветку. Сколько было радости, торжества: новый признак — и в лабораторном терриуме!

Наследуется ли он? И Каммерер, странным образом примиривший в себе учение Ламарка и законы Менделя, предсказал: в первом поколении будет доминировать желтый цвет, во втором потомки рождаются согласно менделевской пропорции: на одного рыжего — три серых. Желтизна, добытая на песке, должна закрепиться, стать родовым признаком саламандр.

Смело задумал Каммерер: подтвердись его предсказание, унаследуй хоть одна пятнистая саламандра рыжий цвет, все

теории генетиков опровергли бы сами себя. Пропорцией Менделя он подтвердил бы правоту Ламарка!

И Каммерер пошел на пролом, он скрестил песочную саламандру с пятнистой, выждал детенышей, внучат, правнуков... Желтизна в них едва проступала. Не рождалось у саламандр рыжее потомство. Новый признак быстро исчез, серый цвет опять взял верх. Рухнула надежда: наследственность здесь была не при чем.

Неудачник может вызвать сочувственную улыбку, посредственный ученый, повторитель чужих идей и опытов, часто бывает одобрен и сыт. Каммерер был талантлив, напорист и зол. Таким ошибок не прощают. Он ставил опыты — их высмеивали, выпустил книгу — ее хулили, он пытался ответить — никто не хотел его слушать. Ученый мир отвергал его эксперименты, его веру, его самого.

Восемнадцать лет воевал он за эту идею, потерял лабораторию, друзей, стал бродячим лектором, перебивался журналистикой. И не бросал свои опыты. Под конец он все-таки выставил напоказ жабу-повитуху, перенявшую у родителей свежую мозоль. Признак унаследовался, он был прав! И в этот долгожданный миг его обвинили в подлоге.

Желтые саламандры, потемнев на чернозаеме, не приносили черного потомства, жаба-повитуха не переняла мозоль. Все было подделкой, везде нашли впрыснутую кем-то тушь. Доктор Нобль, проверявший препараты, пригвоздил его неопровергими фактами. Журналы подхватили, газетчики перепечатали — это был конец. Каммерер застрелился.

Но разве этим что-нибудь докажешь? Сорок лет прошло — ни один человек не посмел снять с него вины и не рискнул повторить упрек. Саламандры Каммерера унесли с собой его тайну, а сам он, неоправданный смертью, остался жертвой подлога. И все-таки, я думаю, трагедия Каммерера не в раскрытом обмане и даже не в самоубийстве.

Хуже обмана — самообман. Его считали лгуном, шарлатаном, душевнобольным, в лицо называли мошенником. А он был рабом. Да, рабом ложной, абсурдной, еще в начале века опровергнутой идеи. И в этом была главная драма его жизни. — Это был несчастливый человек, — профессор Гugo Глязер знал Пауля еще студентом, и от него я впервые услышал это

давно ожидаемое слово. Не фальсификатор, не плут — просто несчастливый человек. Идея сделала его таким. Заманчивая, пленительно простая идея. Что в ней, чем взяла она? Чем покорила Дарвина, Павлова, сто лет сбивала с толку великих и рядовых натуралистов?

Гипотеза была универсальна. Стоило на секунду допустить наследуемость нажитых свойств, и тысячи мучительных загадок решались сами собой. Дарвину одно время казалось, что так легче понять эволюцию живого мира. Павлов поддался соблазну раскрыть здесь секрет человеческого характера, увидеть, как время лепит типы нервной системы, из рода в род наслаждает этажи интеллекта, психологи готовились проследить тут историю всех приобретений ума, скотоводы мечтали найти способ выведения густошерстных овец, племенных рысаков, иным агрономам мерещились неслыханные урожаи. Но всем этим надеждам положил конец урожай, собранный однажды датским генетиком Иогансеном.

В начале века он высевал на своем поле грядку отборных семян фасоли, а рядом посадил самую что ни на есть мелкоту, взятую из той же линии бобов. Проще говоря, Иогансен рассортировал семена по размеру. Когда он собрал урожай с обеих грядок, взвесил каждую фасолину и вывел среднюю величину, случилось открытие: потомки самых крупных и самых мелких семян дали один результат. Урожай на обеих грядках был почти одинаков. И датчанин заключил: личные качества родителей, дедов и вообще каких бы то ни было предков не оказывают никакого влияния на средний характер потомков.

Если бы Каммерер захотел примерить этот вывод к своим опытам, он сразу бы понял, почему скрещивание песочных саламандр с пятнистыми принесло ему тогда сероватое потомство. Ведь он тоже отобрал два крайних типа и, понятное дело, получил промежуточный цвет.

Иогансен был прав: сколько ни отбирай крупных зерен, как ни мудри с саламандрами или даже с быками, отклонения от средней величины не наследуются, через поколение — другое все нажитые, новые признаки сходят на нет.

И слава Богу! Представляете, что было бы с нами, если бы вместе с лучшим, так сказать, родовым достоянием предков

мы переняли бы все перенесенные ими болезни, все накопленные несчастья, уродства?

Нет, ничего хорошего эта гипотеза не сулила, и едва ли Дарвин стал бы ею подпирать свою теорию, если б не столкнулся с одним неожиданным противником.

Не биолог, не какой-нибудь заядлый ламаркист, профессор физик Дженкин вдруг задал ему простой вопрос:

— Сэр, вы убеждаете нас, что эволюция держится на естественном отборе, что в море случайных отклонений, среди тысяч новых признаков он подхватывает и закрепляет только полезные. Допустим, это так. Но тогда объясните, как это происходит, каким образом отбор закрепляет эти признаки в роду? Как заносит он слепые находки природы на вечные скрижали наследственности?

Дарвин этого не знал. И Дженкин простым арифметическим расчетом загнал его в угол.

— Предположим, — сказал он, — ваш избранник получил какое-то удачное наследственное приспособление. Но ведь полезный признак дар редкий, где найдет этот счастливец достойную пару, чтобы сохранить его в своем роду? Поневоле он вступит в брак с рядовой особью. И детям их достанется лишь половина этого богатства, внукам — четверть, и так далее. Пока признак не растворится нацело. Как же тогда идет эволюция?

Дженкин торжествовал: Дарвин действительно не мог ничего возразить, он прекрасно видел, чутьем великого натуралиста угадывал, что оппонент его неправ, что случайные отклонения не всегда растворяются в поколениях потомков. Но законов наследственности, тех самых гороховых опытов, которые утверждали, что врожденный признак не дробится, а целиком переходит к детям — этих опытов Дарвин не знал. И проклятая арифметика Дженкина сбила его с толку. Профессор физики, сам того не ведая, заставил Дарвина допустить наследование приобретенных свойств.

А когда Иогансен доказал, что все это химера и никакие наследственные признаки в роду не сохраняются, Дарвина давно не было в живых. И опыты Менделя остались ему неизвестны. Но, я думаю, не нужно быть уж очень большим прозорливцем, чтобы угадать, как он оценил бы эти открытия. Ведь на горохе

и бобах был подтвержден его изначальный замысел и, зная эти опыты, он без труда разгромил бы Дженкина и еще десяток оппонентов.

Генетики устранили сомнения Дарвина, помогли объяснить эволюцию безо всякого наследования приобретенных признаков. Но не сразу. На первых порах Дарвин наверняка был бы сильно озадачен их необычными теориями. Ведь Иогансен утверждал, что все нажитые достатки исчезают, родители могут быть чемпионами, рекордсменами, самыми что ни на есть раскрасавцами, а дети все равно выйдут середняками. Что же тогда остается на долю отбора? Если все потомки равны перед природой, как будет действовать этот излюбленный дарвиновский механизм, по какому принципу станет он отличать избранных? Где тут сильные, где слабые, что сохранить, что уничтожить?

Тень Дженкина мелькнула бы перед Дарвіним, и снова он почувствовал бы, как входит в опасный конфликт со своей теорией. А если бы решил стоять на своем, пришлось бы ему до поры вступить в разлад со всей новейшей генетикой.¹

Но спорить, собственно, было не о чем: если теория верна, любые факты ей на пользу. И даже Каммерер, убежденнейший ламаркист, однажды воскликнул:

— Справедливость требует признать, что менделизм и дарвинизм не противоречат друг другу!

Но доказал это Четвериков.

Нет, ничего не пропадает в этом мире! Как бы ни был мал, ничтожен полезный признак, сколько лет ни скрывался бы он в недрах вида, пройдут сотни, может быть, тысячи поколений, он всплывет непременно выбьется наружу. И захватит весь вид. Наследственность великое дело, и даже точечная мутация, царапина на хромосоме, даже такая пустяковая осечка в наследственной механике, если полезна, будет подхвачена и закреплена.

Природа, как губка, насыщена миллионами мутаций. Скрытые до поры, они готовы проявиться при первом удачном

¹ Это уже не домысел, а подлинный факт: самый пылкий последователь Дарвина профессор Климентий Тимирязев не понял и не принял главных открытий генетики из-за вящего их противоречия дарвинизму.

скрещивании. И, выйдя на свет, творят добро или зло. Отбор сортирует их, все случайное, личное взвешивает на своих вековечных весах — и в род, и в вид. Иль отмечает прочь.

Полсотни страниц хватило Сергею Сергеевичу, чтобы развеять кошмар, мучивший Дарвина. И вот ведь что интересно: ничего нового, сверхоригинального он не придумал и выдумать не старался. Старую дарвиновскую идею о мелких мутациях он перевел на язык формул и строгих расчетов.

Четвериков был точен и неуязвим. Двести тысяч дрозофил привез он с Северного Кавказа и, рассортировав их, изучив потомство каждой мушки, подсчитал, сколько же среди них отклонений — белоглазых, короткокрылых, без щетинок. Адский труд! Но когда он был закончен, Четвериков твердо знал частоту природных мутаций дрозофилы. Он тут же сравнил ее с числом мух, мутировавших в лабораторных пробирках — цифры совпали! И сразу ожили, заговорили в его руках. Статистикой и алгеброй он доказал, что мутации, те случайные наследственные отклонения, на которых Дарвин строил свою теорию отбора, встречаются в природе не реже, чем в лабораториях. И, стало быть, вполне могут дать начало новым видам. Тот белый ворон, смущивший творца эволюционной теории, конечно, не всегда находит равно светлую подругу, но ген белизны сохранит; целиком пройдя сквозь ряд поколений, этот ген при случае всплынет, вырвется наружу — и даст расу белых ворон. Четвериков даже вычислил, сколько поколений пройдет, пока этот ген, вернее, эта мутация завладеет всей расой.

Но не о воронах, разумеется, шла речь и не мутации мух волновали Сергея Сергеевича. Свой расчет он привел как пример постоянного, для всей природы обязательного закона. Отбор, изменчивость, борьбу за существование — всю эволюцию, весь этот переменчивый, нескончаемый поток приспособлений, из века в век нарастающее совершенство организмов он связал с мутациями, игрой случая объяснил великую закономерность.

Четвериков весь ушел в подсчеты, природа казалось ему огромным виварием, где жизнь ставит свой тысячелетний эксперимент.

Прав ли он? Не слишком ли увлекся алгеброй? Ведь мир

не урна с шарами, над которой проделывают опыты по теории вероятности, и жизнь течет не в русле математических формул.

Нет, ошибки тут не было, Сергей Сергеевич знал, что случай подневолен тем же законам, как и все на свете. И объяснить эволюцию игрой случайных отклонений ничуть не менее логично, чем строить, скажем, теорию упругости газов на сумбурной дроби газовых молекул.

Но ведь это лотерея! Неужто и человек рожден прихотью случая? — я слежу за его мыслью, ищу в ней обрыв, провал... Нет, говорит Сергей Сергеевич, эта лотерея беспроигрышна. Эволюция — спираль, мутации — ее витки, по этим зыбким ступенькам идет великое, неотвратимое восхождение организмов.

Так закончил он свой труд.

Шел 1926 год, сорок шестой год его жизни, и эта работа была главным ее итогом.

Еще все впереди, донос, ссылка, тридцать лет терпеливого молчания и триумф, всемирный успех его единственной, как у Менделея, классической статьи... Все впереди, и он еще достигнет признанья, славы и патриарших лет. Но главное уже сделано. Лишь успеет он выступить на берлинском конгрессе, да на съезде зоологов в Ленинграде, мелькнет раз-другой его имя в отчетах, протоколах. И канет на годы.

ПРОФЕССОР КОЛЬЦОВ — НАРКОМУ СЕМАШКО
14 апреля 1929 г.

«Университет может гордиться, что за последние годы выпустил больше десятка хороших ученых, специализировавшихся под руководством С. С. Четверикова...»

З д е с ь

Бутырская тюрьма

Заключенному Сергею Сергеевичу Четверикову

Дорогой мой Сережа, любимый, целую тебя крепко, крепко.

Стосковалась по тебе, родной мой, жду тебя каждый день, но пока все напрасно.

Мы все здоровы, живем с Колей мирно и дружно. Асенька еще не вернулась с производственной практики...

Я хочу спросить тебя, не посыпать ли мне твои коллекции нафталином? Если ты разрешишь и доверяешь мне... В Киев я коробку с бабочками послала.

А ты, Сережа, родной мой, чувствуй себя бодрее, не падай духом...

Кланяется тебе Борис Астауров
Еще раз целую тебя, дорогой мой.

Твоя Ася

Н. К. КОЛЬЦОВ — А. М. ГОРЬКОМУ, 28 июля 1929 г.
«Многоуважаемый Алексей Максимович!

Я хотел поговорить с Вами об одном своем большом горе... В беду попал один из моих сотрудников С. С. Четвериков — превосходный ученый и еще лучший преподаватель, создавший прекрасную школу специалистов по генетике и биометрии. При бедности нашей страны специалистами эти ученики С. С. — пока еще молодежь, только что окончившая университет, — могут сыграть огромную роль в деле улучшения сельского хозяйства. Ежегодно десятки агрономов со всех концов СССР командируются ко мне, и я их сдавал на выучку С. С. Четверикову...

В начале этого года во время моего пребывания в Париже, в моем Институте среди аспирантской молодежи произошел глупый инцидент... Страсти вскипели, и часть молодежи обрушилась на С. С. Четверикова. В Университете составили против него грозное обвинение из 10 пунктов... Постановление было опубликовано и через несколько дней С. С. Четвериков был арестован и вот уже два месяца сидит в Бутырках.

Я представил доклад об этом деле Н. А. Семашко, который охотно вызвался похлопотать, но Семашко уехал в отпуск, и я мечусь из стороны в сторону, не знаю, на кого опереться...

Интересы советской науки Вам всегда были близки, и в своей тревоге, я думаю, что и Вы можете чем-нибудь помочь. Я написал заявление в ОГПУ, прося ускорить разбор дела С. С.-ча... Если Вы смогли бы поддержать мою просьбу, прибавив несколько слов, это очень помогло бы...».

Но ни Горький, да и никто другой уже не мог помочь Четверикову, прямо из Бутырок, без следствия и суда, он был выслан на Урал. А за что, так и не понял. Много лет пройдет, пока Сергей Сергеевич уловит главную причину ссылки, со-поставит факты и поймет, что не студенты предали его, а свой же брат, профессор.

Дорогой немного раздышался, отошел, охраны ему не дали, ехал один, пассажирским, вроде бы конвоировал сам себя. Но в Свердловске без промедления отправился в серый

дом на отметку, и тут некая личность во френче с ходу предложила ему стать агентом.

Сергей Сергеевич — осведомитель! Это занятно, однако он не возмутился, помолчал, протер очки и попросту ответил: «Не мое это амплуа». Личность предложила ему хорошо подумать и, пригрозив заслать еще подальше, в глубинный городок Березов, дала на размыщление два дня. Сергей Сергеевич явился точно, и снова повторив отказ, понес свой чемоданчик на вокзал. В Березов, так в Березов, теперь уж все едино. Встал на вокзале в очередь за билетом и, отмаясь, сунув наконец свою пятерку в кассу, вдруг услышал торопливый шепоток: «Не надо, не берите». Оглянулся — рядом человек из свердловской охранки. Отошли к окну и тут решилось: «Не хотите, что ж, ваше дело. Оставайтесь». Кончилось испытание, и Сергей Сергеевич понес свой чемодан обратно.

Н. К. КОЛЬЦОВ — ПРОФЕССОРУ В. В. РЕДИКОРЦЕВУ
1 января 1930 г.

Поддерживаете ли Вы связь с Вашим родным городом Свердловском? Там теперь С. С. Четвериков, без места, без работы и без знакомых. Не осталось ли у Вас там близких, с которыми он мог бы познакомиться?

В свердловском горкомхозе долго не могли понять, куда бы им пристроить подслеповатого интеллигента, наконец нашли: консультантом в зоопарк. Что ж, и это дело, надо жить. Жить надо! И он планировал зверинец. А года три спустя, уже во Владимире, учил школьников алгебре, геометрии, мог бы и физике, и астрономии... Генетикой только не интересовался, напрочь отрезал и стал вроде забывать. Из Москвы приходили журналы, брошюры, кто-то слал ему дарственный оттиск, — не читая, он складывал все в чемодан. Молчал, ждал, надеялся. Не мог он работать, жить, дышать не мог без учеников.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ, СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!
8 ноября 1916 г.

Русское энтомологическое Общество в С.-Петербурге, желая пользоваться просвещенным участием Вашим в трудах своих, в заседании сего 1916 года октября 11 дня избрало Вас, Милостивый Государь, своим Действительным членом.

Извещая Вас о сем, Общество изъявляет надежду, что Вы будете содействовать зависящими от Вас средствами процветанию его и пользам науки.

Президент

Сенатор, член Государственного Совета
П. Семенов-Тянь-Шаньский

«...Объявлено о том, что на основании постановления Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 12.IV.1932 г. мне запрещено проживание в Москве, Ленинграде и их областях, на территории УССР, БССР, ЗСФСР, Уз.ССР, ТаджССР, Сев. Края и Дагестана...».

Причина моего ареста осталась мне неизвестной, никакого конкретного обвинения мне предъявлено не было, даже допроса не было. Могу только предполагать, что поводом к этому крайне тяжелому обстоятельству моей жизни был донос одного из коллег, которому моя деятельность и популярность мешали делать свою карьеру. Очень вероятно, что эта высылка стояла в связи с гнусной клеветой, которая перед тем была направлена в Комакадемию якобы от моего имени по случаю самоубийства Каммерера. Тяжело все это сейчас вспоминать...

Письмо из Нижнего пришло через шесть лет: Четверикова звали в Университет. И сразу заведовать кафедрой. Не знаю, о чем подумал он в тот миг, может, вспомнил Моховую, вздохнул, может, радость захлестнула его и с трудом он выждал еще целый год, пока шла переписка, вопросы и запросы... В октябре тридцать пятого года он взошел на кафедру и хрипловатым, отвыкшим голосом начал читать генетику.

Наладилась жизнь, есть у него работа, ученики, есть жилье на центральной улице и быт свой наконец он обутил. Что еще? Пора, давно пора Сергею Сергеевичу вспомнить ту главную, июньским днем прерванную песню. За стол пора — к микроскопу, ведь сам же говорил, что та первая статья лишь начало, запев, отправная точка больших экспериментов. Но странное, непонятное дело, он молчит. Год, другой, третий... двадцать пять лет молчит! Дарвинизм, мутации, происхождение вида — все, что влекло, держало, годами намагничивало его мысль, точно стерлось, ушло из памяти. Ни словом, ни звуком не обмолвился он о своей главной работе. И не захотел ее продолжить. Что случилось — не пойму! Может, узнал он, что лучшие его ученики, подхватив идею, ставят уже новый, недосыгаемо широкий эксперимент?.. Побоялся отстать,

пойти хоженой тропой? Но ведь и он не оскудел умом, мог обеспечить идеями еще десяток голов... Или рук ему не хватило для проверки этих идей? Да тут еще иностранцы — Фишер, Райт, Холден разом вышли на эту дорогу — поди, догони.

Я долго думал, высматривал его друзей, учеников, почему, полный сил и замыслов, он добровольно наложил на себя бремя молчания.

Добровольно ли?

Нет, в том-то и дело, что умолк он не по своему желанию. Со дня ареста до самой осени 1953 года, целых четверть века, имя Четверикова и все его труды находились под запретом. Один лишь раз был он упомянут в скобках — и забыт, навеки вычеркнут из жизни.

Ни школы, ни друзей. Вот это-то его и надломило.

Не арест, не ссылка были его драмой, он сам шутил: «От сумы не зарекаюсь», а этот мертвый вакuum вокруг. Он потерял лучших учеников, не смел писать, обмениваться мыслью, — не он, а ум его, блестящий, гибкий, жаждавший отдачи, был под арестом. «Вся моя деятельность была сломана и втоптана в грязь».

Не стало у Сергея Сергеевича школы, а новую создать не вышло. Что мог он сделать, коли так случилось?

Сергей Сергеевич смирился и, недопев своей песни, на всегда умолк. Кто его осудит, разве лишь он сам, а мне остается повторить слова Четверикова: «Нет большего греха, чем насилие над человеческой душой!»

В Горьком, заживо похороненный, он все мечтал: вот выйду на покой, тогда засяду... Вышел — и ослеп. Тут рухнула последняя надежда. Так кончился, верней, был уничтожен в нем ученый.

И все же, мнится мне, главная причина этой летаргии была скрыта в нем самом, в его характере, манере мыслить: Сергей Сергеевич был от роду тиходум. Не умел он спешить, обогнать, лидировать, годами добивался результатов. И, добившись, нет, не торопился к столу, не тискал статью — держал все в уме. Ни одним сомнительным фактом, ни одной заманчивой, с кончика пера свисающей мыслью не соблазнился он за всю жизнь.

Полвека ловил он бабочек, собрал почти триста тысяч штук, и здесь, среди узорчатых крыльышек, среди чешуек и хоботков впервые задумался над тайной вида. Как возник, обосабился этот пестрый мирок? Как уцелел среди тысячи смертей? Бабочки привели Сергея Сергеевича к мыслям об эволюции, раскрыли ему загадку географического распространения животных и в конце концов заставили его задуматься над происхождением всего этого большого и сложного мира.

Но сколько же лет ушло на раздумья! Какой лабиринт одолел он на пути к истине. От дарвинизма к генетике, от бабочек к дрозофиле, от мелких, по крупицам собранных фактов к широким, истинно дарвиновским выводам. Сейчас, конечно, идею Четверикова можно без труда смоделировать и проверить на счетной машине, но он-то располагал лишь бухгалтерскими счетами.

Простые мысли, простые наблюдения — и такой охват, такой проницательный взгляд в самую суть жизни!

Один старый генетик убеждал меня, что не случись с Сергеем Сергеевичем беды, не потеряв он своей лаборатории, учеников, он и тогда немного прибавил бы к своим двадцати четырем статьям. Я спорил, но пусть так, пусть двадцать четыре. Зато одна из них стала классической, как говорят немцы, делающей эпоху, а другую те же немцы спустя много лет зачитали на открытии международного конгресса. Вместо речи президента огласили забытую статью давно забытого автора.

Не припомню второго такого случая.

«До-делки, за-делки, пере-делки»... — Сергей Сергеевич не спешил, и потому, может быть, так много успел.

Идут годы, под шестьдесят Сергею Сергеевичу, и временами кажется ему, что все главное, все хорошее уже было и прошло, и жизнь его тоже прошла. А с чем? Что оставил он людям? Статьи, статьи... Да кто их помнит! Уж и сам стал забывать... Забудешь! С утра до ночи лекции, зачеты, деканом стал — мука. «Приходишь домой разбитый, усталый и, как подкошенный, валишься в постель! А ведь планы какие были, планы. И вот итог: «Грустно уходить с сознанием, что жизнь твоя прошла впустую, не дав миру ничего...».

Строго судит себя Сергей Сергеевич, не в меру строго,

да и впрямь мало радости у него на душе. Забыт, совсем забыт. И труд, и сам он, точно не были на свете. «А так хочется, чтобы после смерти хоть что-то от тебя осталось!» Ах, Сергей Сергеевич... Ну, кто скажет ему, кто объяснит, что в Берлине сам президент конгресса, жертвуя собственным словом, зачитал его статью, что пройдут годы и уже после смерти его американские генетики в редкостный пример переведут и на-свежо отпечатают ту, главную, дарвиновскую, тридцать пять лет назад опубликованную работу... Нет, ничего он не знает, лишь надеется, молит у судьбы: хоть что-нибудь...

Письма, письма, день за днем листаю я страницы его горьковского бытия. И вижу, не о славе, не о памятнике печется Четвериков, не имя свое сохранить хочет, а мысль, труд. Спасти идею — вот главное, о чем думает, пишет, страдает он который год. И все чаще, уверенней повторяет: «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире...».

Удивительная штука — эта душа! Ну не все ли ему равно, будут его вспоминать или нет? Мир исчезнет для него, он для мира — о чем тут говорить? А вот оказывается не все равно: не истлеют труды, переживут мой прах!

Зимой тридцать седьмого года Четверикова неожиданно навестил учений секретарь Наркомзема. Время было строгое, предвоенное, разговор короткий: нужна чесучка, парашютная ткань, мы не можем больше зависеть от Японии. И он предложил Сергею Сергеевичу приспособить дубового шелкопряда к русским холодам, попросту, заказал ему неслыханную породу южного червя. Четвериков сразу понял: задача почти обречена, тысячи колхозов от Молдавии до Татарии пытались приютить шелконосную Сатурнию, и везде полный провал. Слишком нежен, привередлив был китайский гость, правда, дуб наш ел охотно, но каждую осень болел, мерз и дох.

Велик был риск, и Сергей Сергеевич знал, чем грозит ему срыв. Но подумав, не отказался, на то был особый расчет.

В Марьиной роще, молодой дубраве близ Оки, он устроил небольшой опорный пункт, что-то вроде сельской фермы с лабораторией, и стал здесь приучать шелкопряда к русской жизни. Собственно, приучать он как раз собирался меньше всего. Иная задумка была у Сергея Сергеевича. Генетик, он лучше многих понимал, что никакие переделки, закалки и вся-

кие перевоспитания тут не помогут, червь просто вымрет, и, если заняться делом всерьез, надо исходить из одного несомненного факта: гусеница шелкопряда зимовать под Горьким никак не может.

Но на беду именно так и выходило: китайская порода была бивольтинной, давала два урожая в год, и второй приходился как раз на октябрь... В Японии это, конечно, удобное время, там тепло, сухо, солнечно, а у нас, в средней полосе, гусеница, едва выйдя из личинки, чахла на голых дубах. И, не успев завить коконов, окуклиться, гибла. Что делать? Не заняться же ему, впрямь, яровизацией шелкопряда.

Сергей Сергеевич нашел отличный выход, даже два — на выбор. Нужно вывести скороспелую породу червя, сжать, втиснуть оба поколения в наше короткое лето или, наоборот, замедлить цикл размножения, так растянуть его, чтобы до октября шелкопряд приносил только один урожай и зимовал бы в стадии личинки или куколки. Так и решили: первую задачу Четвериков поручил ученице, за вторую взялся сам.

Из письма брату Николаю Сергеевичу, 1942 г.

«...Вчерне моновольтинная порода уже получена, и я мог телеграфировать правительству, что имею 5.300 коконов. Это, конечно, пустяки, но по дошедшим до меня сведениям в нынешнем году вследствие холодного лета и ранней осени погибли все выкормки дубового шелкопряда. Моя порода осталась единственным племенным материалом в Союзе, и, возможно, на этой базе суждено возродиться нашему шелководству...».

Ему же, 1943 г.

«Мои дела с шелкопрядом идут хорошо. В нынешнем году вся выкормка в целом дала 95,8% моновольтинных коконов...»

Ему же, 1944 г.

«...живем не очень важно, — ждем, когда поспеет собственная картошка».

Жили как многие: капуста, горох, на третье — огурцы. Суп из лопухов жена декана готовила блестящие. И стирала, и тянула хозяйство, а по утрам, дождь ли, ведро, мерила версты до опорного пункта. Ни зимой, ни летом не оставляли они шелкопряда. Сергей Сергеевич, хоть и профессорствовал и заседал, а все старался улучить минуту для Сатурнии. Войдет в дубраву — тишина, палые листья шуршат под дубками,

он на крыльце, открыл дверь и первое — не видит, а слышит своих червей: «Ах, как они едят! Войдешь в лабораторию, а там хруст, будто в стойлах лошади овес жуют!»

И вывел-таки породу, приспособил южного червяка к среднерусской суровости.

Сдал «Горьковскую моновольтинную» в испытание, получил награду и тут же занялся новым делом: решил перевести гусеницу с дуба на березу. Березового шелкопряда задумал Сергей Сергеевич. И вывел бы! Вот уж начал он снова скрещивать, отбирать, поставил опыт сразу на девяти семействах. И ждет, приглядывается к червяку... Восемь линий не вынесли, погибли, но одна прижилась, на березе завила коконы. И числом не меньше, чем на дубе. Возликовал Сергей Сергеевич, и верно, такого в природе досель не бывало. «Да еще коконы-то оказались первоклассные, лучше дубовых! — писал он брату. — Теперь от этой семьи поведу линии и березовая порода у меня в руках. Ты только подумай: шелкопряд можно будет выводить и под Ленинградом, и под Пермью, а если захочешь, хоть в твоем Миассе».

Осенью 1945 года, — вспоминает В. И. Сычевская, — я была у Сергея Сергеевича в Горьком, он уже плохо видел, но был по-прежнему полон интересных мыслей, энергичен, занимался шелкопрядом...

В октябре 1945 он еще не знал, что случится через три года. Но теперь-то уж можно рассказать.

Четверикова вызвали к ректору.

— Мы высоко чтиим вас, Сергей Сергеевич, — начал он, — и хотели бы сохранить в университете... Но вы знаете... словом, надо отречься...

Профессор сидел прямо, молчал и ректор округлил свою мысль:

— Это формальность, напишите, что вы отказываетесь от прежних ошибок, от морганизма и вернемся к делу.

Снова помолчали.

— Вы полагаете, это поможет? — усмехнулся Сергей Сергеевич.

Ректор не понял, тогда он почти закричал:

— Да если я даже отрекусь, кто вам поверит? — утих и

внятно добавил: — Справедливо или нет, но меня считают одним из основателей современной генетики...

И ушел. А в приказе было: «неисправимого морганиста-менделиста уволить... отчислить...».

Неисправимый лежал в это время с третьим инфарктом и никогда уж больше не вернулся ни в университет, ни в Марьину рощу.

«Что для меня самое главное в любом научном исследовании? Это — ПРАВДА!! Не половинчатая правда, которая хуже открытой кривды, а настоящая, полноценная, чистая и честная правда. Никаких кривотолков и никакой лжи, вольной или невольной. Так было и останется до последнего мгновения моей жизни; от этого я не могу отступиться, как бы обстоятельства ни складывались против меня...»

А шелкопряда начали перевоспитывать по методу известного яровизатора — холодом. И в ту же осень оставили гусениц на дубах, мол, был червь яровым, померзнет, помучается осень-другую станет озимым. На пункте внедрялось новое агрономическое учение. Но шелкопряд, к сожалению, этого не знал... С той поры не слышно хруста в Марьиной роще, свели четвериковскую породу.

«Вследствие моей принципиально отрицательной позиции относительно взглядов Т. Лысенко я был приказом министра отстранен от всех своих должностей».

Ушел стариk — молчать лучше, чем лгать. По крайней мере, не стыдно будет оглянуться, вспомнить прожитую жизнь. Пусть трезвые люди удивляются, негодуют: идеалист! Дон Кихот! Пусть эти реалисты осуждают, ругают, потешаются — у Четверикова свое мерило чести. Да, мог покрывать душой, мог бумажкой, фальшивым покаянием вернуть себе кафедру, почет, благополучие — мог, да не стал! Так устроен. И ни о чем не жалею. «А если бы пришлось повторить, я бы снова взгромоздился на своего Россинанта».

Ну кто его переделает, кто осилит — годы? Обстоятельства? Люди?

Никогда!

Из письма 1952 г.

И все это пустословие, все переливание из пустого в порожнее, прикрывается, как неприличная нагота, фиговым листком «мичурин-

ской науки». Уродство и убожество мысли облекается в трескучую фразу, и чем больше треска, тем, значит, лучше... Грустно за русскую науку...

1954 г.

...Я все думаю, неужели же я умру, так и не дождавшись правды, с позорным клеймом на нашей науке?

1956 г.

А завтра жду очень дорогого гостя: проездом из Свердловска в Москву ко мне должен заехать мой самый любимый, самый знаменитый ученик — Ник. Влад. Тимофеев-Ресовский. Мы не встречались почти тридцать лет... И его жизнь сильно потрепала. Да, места «не столь отдаленные», а тем более «столь отдаленные» отняли у нас десятки талантов и, может быть, крупнейшие открытия...

1956 г.

Ко мне явилась группа с просьбой ознакомить студенчество с современным положением в генетике. Предложение лестное, но я сомневался, разрешит ли начальство. Так оно и вышло! Им было объявлено: пусть слушают, кого хотят, только НЕ Четверикова!

1957 г.

Конечно, может быть, кто-нибудь другой, более цепкий и упорный, на моем месте дал бы науке что-либо покрупнее. Ну, а я не сумел и ушел из жизни, не дав и десятой доли того, на что чувствовал в себе силы.

...Еще десять лет легли на плечи Сергея Сергеевича, слеп он, глух, едва ходит, и если бы не брат Николай, Бог весть, как сложилась бы его судьба. «А все-таки жить хочется!» И нет для него большей радости, чем месяц март. Как праздник ждет он весну. Николье, Рождество, Крещенские, Афанасьевские, Сретенские морозы... Уже в декабре, в первые зазимки, когда настоящая, коренная зима только примеряется вступить на Волгу и впереди еще пять стуж, пять волн холода, уже тогда следит он, как потихоньку, на воробышний шаг прибывает день, свет, тепло. Ждет капели, солнца, мартовской синевы ждет: «Доживу или нет? А надо постараться».

И живет, памятью, духом больше живет, чем телом. Смешив веки, часами сидит он перед окном, и, кажется, ничего не видит, ни снега, ни деревьев, ни звезд на небе. «Эх, кабы не глаза, так и удрал бы куда-нибудь на волю!» Гимназистом, разглядывая в телескоп горящую голубую точку, был он пора-

жен странной мыслью: звезды-то, может, давно уж нет, угасла, рассыпалась миллион лет назад, а вот она, вижу, осязаю ее, будто живу в каком-то бесконечном прошлом. Так и сейчас, сидя у окна, вглядывается он в свою потухающую жизнь.

Красив не был, а молод был, и пришлась на его молодость первая революция. Отец, Сергей Иванович, — фабрикант, миллионер, сын, Сергей Сергеевич — член Всероссийского стаченого комитета, брат Николай Сергеевич — подпольщик, заведует нелегальными складами московской организации социалистов. Так и жили: то в усадьбе отца под Щелковым, рядом с его тонкосуконной мануфактурой, то в Бутырках, а то и просто в полицейском участке на Якиманке. Случилось, как-то взяли сперва Сергея, потом брата, спорили тогда два тюремных этажа: «У нас Четвериков! — Нет, у нас!» Пока не выяснилось: оба здесь. Свели их в одну камеру, и Сергей, смеясь, рассказал, как уберег Колину тетрадь с адресами московских явок.

— Верь, не верь, бабочки помогли, чешуекрылые, разложил всю коллекцию перед ротмистром, загляделись, сам понимаешь, какой тут обыск...

Бабочки, бабочки, с них все и началось. Тарбогатай, Хибины, Крым, Урал, Теберда — где бы ни жил Сергей Сергеевич, куда бы ни забросила его судьба, первая забота — схватить сачок, морилку и на лов. Или поставит палатку, легкую, полупрозрачную, без передней стенки, и всю ночь, от зари до зари, приманывает на свет велосипедного фонарика. «Ужасно азартный лов!»

Собрал коллекцию, рассортировал, разложил все по полочкам, подколол этикетки, и тут понял: так далеко не уйдешь, хоть весь мир в эти коробки уложи, не поймешь, откуда он, как возник. И начал он свою, четвериковскую, эволюцию: от бабочек к Дарвину — от Дарвина к Менделю, а тут прямая дорога к мухам, к дрозофиile, стал Сергей Сергеевич изучать ген.

Чем привлекла его эта мушиная наука, его, бабочколюба, созерцателя первозданной красоты?

Точностью, исконной экспериментальностью. В коробках было чудо, дивный итог эволюции, а он хотел понять механику дива. Хотел сам планировать эксперимент, да так, чтобы тысяча лет улеглись в год. Эволюцией на ладони увлекся

Сергей Сергеевич... Было ему тогда тридцать с небольшим и впереди виделся увлекательный путь. А что потом?.. Темно, совсем темно стало, и звезды разгорелись в холодном небе. Молчит Сергей Сергеевич, не шевелится и, как во сне, смотрит на себя со стороны.

Потом революция, голод, погоня за куском хлеба. Работал сразу в пяти местах — утром университет, потом генетическая лаборатория, оттуда в Политехнический, в библиотеку и не каждый день, но часто — на биостанцию Кольцова под Звенигород. Тут уж не до эволюции было. Только в двадцатых годах пришел он в себя, стряхнул все лишнее, и с головой окунулся в генетику. Тогда-то и сделал свою главную работу.

Появились идеи — пришли ученики: Астауров, Дубинин, Беляев, Ромашов, Тимофеев-Ресовский... И вот ведь какая странная вещь, ни одного собирателя, систематика среди учеников Четверикова нет, всех приохотил к опыту. Такая уж получилась неувязка: был Сергей Сергеевич полевым натуралистом — сачок, фонарик, бабочья палатка, а из школы его вышли лучшие экспериментаторы страны.

Дубинин в академии, Астауров в академии, Тимофеев-Ресовский известен всему ученному миру... Не это ли его след на земле? Его бессмертие? В учениках переживает он свой прах!

Притих Сергей Сергеевич, пусть так, пусть не в своей, в чужой лире оживет душа, лишь бы жила! А ему уж пора... «Пора, мой друг, пора», — все чаще напоминает он себе. Нелегкое это дело, носить на плечах семьдесят девять лет. «Какой-то внутренний процесс неуклонно сжигает мою жизнь».

Слежу за Сергеем Сергеевичем, дочитываю последние письма, совсем уж немного осталось ему... И вдруг вижу, ожил, засветился старик робкой надеждой:

«Что-то начали в последнее время обо мне вспоминать, сначала за границей, потом у нас. Моя генетическая работа упоминается с очень лестными эпитетами — «замечательная», «прекрасная» и даже «сделавшая эпоху...»

Что-то началось вокруг него, что-то будет... В Москве статью переиздают, тут студенты заглядывать стали, просят лекцию по генетике прочитать. Чует Сергей Сергеевич какое-то движение, всплывает его имя: в конце восьмого десятка, после

тридцатилетнего забвения, а все-таки вспомнили о нем. И снова хочется жить, ждать марта, солнцестояния. Доживу или нет? Декабрь уж на исходе, январь одолею, а февраль, как ни хмурясь, весной пахнет. Надо дожить! Брат тих, мягок, невозмутим, а Сергей Сергеевич весь тоска, ожидание. Точно знал, что готовит ему этот последний его март.

И вот тридцать первого числа долгожданного месяца марта Николай Сергеевич приносит с почты солидный конверт плотной бумаги, из Германии. Братья шутят, опять, верно, какие-нибудь дотошные немецкие издатели заслали каталог лежалых книг. Вскрывают конверт: нет, письмо... Президент Общегерманской Академии наук извещает профессора С. С. Четверикова, что в день столетия знаменитого дарвинского труда старейшая в Европе Академия натуралистов Леопольдина намерена объявить о присуждении почетных медалей — плакетт Дарвина. И тут же краткое пояснение: медаль будет присуждена всего один раз и очень ограниченному кругу ученых, имеющих особые заслуги в развитии эволюционных идей Дарвина и пограничных с ними областей генетики. Президент извещает Сергея Сергеевича, что он в числе этих немногих...

«Стараюсь разобраться в своих чувствах, почему это событие меня так взволновало и обрадовало? Что я — честолюбец? Конечно, мне оказана очень большая честь, я выдвинут на некоторую ступень выше многих других ученых эволюционистов, и это выдвижение, это отличие несомненно доставляет мне удовольствие. Но будет ли это главное? Безусловно — нет. Если бы со мной рядом такое же отличие получили сотни или даже тысячи других ученых — это не только бы меня не огорчило, а, напротив, чрезвычайно порадовало. Значит, здесь дело не в честолюбии!»

Что я — «славолюбец»? О, безусловно, нет! Если бы мне сказали, что через неделю моя фамилия будет везде вымарана (как это было после моей свердловской высылки), но работы мои останутся нетронутыми, меня это очень мало бы огорчило.

Что же, в конце концов, меня радует?

И вот, копаясь в своей душе, я прихожу к заключению, что моя радость главным образом определяется тем, что я воскрешен из покойников, что мои работы, давно написанные, но все же почти неиспользованные, не умрут вместе со мной и высказанные в них мысли и идеи будут способствовать пониманию больших биологических процессов...».

Спасена идея! И снова, в который раз, он восклицает: «Нет, весь я не умру, и радуюсь, что моя душа в моей лире тленья убежит!»

И пошли дни, апрельские, ласковые. Светло стало на душе Сергея Сергеевича. И тихо. Ничего он больше не ждет, все пережил и все-таки дожил. Ушла, вырвалась его работа из тоскливой, мертвящей безвестности. В мире нашлось только восемнадцать дарвинистов, достойных памятной плакетты, и среди них — Четвериков и три его ученика. «А нам с Добжанским и Дубининым, — писал ему в те дни Тимофеев-Ресовский, — особенно лестно, что вместе с Вами включили нас, Ваших учеников и последователей. Большое Вам спасибо за все, что Вы сделали для науки вообще, для нашей русской науки, для нас, Ваших учеников».

Что мог он ответить? Много лет ждал Сергей Сергеевич этого дня и наконец дождался, взял реванш. Ведь Академия Леопольдина присудила ему медаль как раз за те труды, идеи, за которые он был изгнан из Университета, объявлен лжеученым... Одно только омрачало его радость: признание пришло из-за рубежа. Дома, на своей земле, он так и не дождался правды.

В конце июня 1959 года академик Иван Иванович Шмальгаузен сообщил Четверикову, что принял его медаль из рук президента Леопольдины. Но письмо это уже не дошло до адресата. В знойный день 13 июня с ним случился мозговой удар, он впал в забытье. Второго июля Сергея Сергеевича не стало.

A. Шварц

О РАДОСТИ СМЕРТИ

Для всех сознательных, здравомыслящих и думающих людей постоянно встает вопрос — кончается ли наша жизнь со смертью нашего телесного существования или нет? Я долго над этим думала, вспоминала смерти самых близких мне людей.

Нет! Духовное я, душа, не умирает и это подтверждается всеми народными религиями: христианством, иудейством, буддизмом, таосизмом и другими. Я верю, что душа бессмертна, что человек не умирает, а переходит в какую то новую, неизвестную нам жизнь.

Приходит глубокая старость, трудно расставаться с жизнью, с близкими людьми, с животными, с природой. Хотя и в жизни приходилось постоянно терять, терять без конца. Иногда казалось даже, что нечем больше жить. Так было со мной, когда я потеряла отца. До 26 лет я жила его жизнью. Главная цель жизни была только в нем, работа только для него, и любила я его больше всех на свете.

В молодости не понимаешь всю красоту и величие смерти. Всю важность и значение болезни, мудрость, когда Господь посыпает страдания для великого перехода души в неизвестное.

Когда моя старая нянюшка рассказывала мне о смерти моего четырехлетнего брата Алеша, я не понимала и только теперь, в глубокой старости, я постигла всю глубину и мудрость смерти этого ребенка. Алеша умирал от крупы; я этого не помню, мне было тогда два года. В момент смерти, он вдруг широко раскрыл свои большие карие глазки и, глядя куда то вдаль и протянув ручки, он прошептал: «Вижу! вижу!», закрыл глаза, вздохнул в последний раз и умер.

Тогда я не понимала истинного, глубокого значения ухода этого чудесного младенца. Когда я смотрела на его фотографию, его большие вдумчивые, широко раскрытые глаза, мне казалось, что я его знала, особенно по рассказам старой няни, ровесницы отца. И невольно возникает вопрос, что он видел? Что они видят в момент смерти? Что видел, умирая, младенец Алеша?

Что видел отец в момент смерти? Он увидел свою любимую дочь — Машу. Она до замужества была его последовательницей, помогала ему, переписывала его сочинения, писала за него письма. Еще при жизни отца, она умерла от воспаления легких и это было для него большим горем.

И тут, умирая, он вдруг увидел ее! — «Маша! Маша!»
А какие были его последние слова?

— «Истина... я люблю», и он с трудом договорил, «много».

Потеряв отца, я не знала чем жить. После его смерти зияющая пустота. Все пропало! Разрушена была в доме капитальная стена! Все развалилось и негде, нечем было жить! И трудно было что-то создать...

Только позднее я поняла все значение, всю красоту и величие и необходимость страдания и смерти, когда близкие люди выростали в страданиях, болезнях, при переходе.

Умирала мать. Мне одной суждено было за ней ходить и закрыть ей глаза... Я никогда так не любила ее, не понимала ее, как в тот час перед ее уходом. Мы обе плакали и обе просили друг у друга прощения. И такая она была прекрасная, все понимающая, близкая — МАТЬ, и как я любила ее.

А вот еще одна радостная смерть:

«Как Илья?», был первый вопрос, когда я вошла поздно ночью к знакомым на квартиру, где я ночевала. Это было в 1934 г. в Нью Хевене, где брат лежал в больнице, а я жила у друзей и проводила с братом весь день, когда он болел.

«Как Илья?» спросили друзья, когда я пришла к ним ночевать в час ночи.

«Скончался!»

Они посмотрели на меня с недоумением и я не сразу поняла почему.

Повидимому на лице моем не было печали. Я улыбалась, что никак не полагалось. Как можно было радоваться, улыбаться, когда любимый брат умер? Они знали, как я привязалась к нему, как мы были дружны.

Обычно, когда умирают близкие люди, плачут, надевают траурные одежды, на лицах печаль, страдание... «Что может быть ужаснее, страшнее смерти?» Но я не могла им объяснить почему мне было радостно на душе, почему я улыбалась. Поняли ли бы они что значила для меня эта смерть? Могли

ли они понять это? Впервые я увидела и поняла как нужны страдания — как переход к смерти и как прекрасен этот переход в бестелесное состояние: «Жизнь — сон, смерть — пробуждение!» сказал отец.

Я увидала, как духовно вырос брат за несколько недель ужасающих страданий. (Рак печени, рак желудка) и наконец освобождение. Радость перехода.

Он, зная, что умирает, диктовал мне в продолжение нескольких дней письма, прося прощения у всех близких, начиная со своей первой жены, которую он оставил, и просил прощения даже у своей второй жены, которая интересовалась только его скромным имуществом, бросила его одного в лесу, без всякой помощи в его маленьком загородном домике.

Когда я приехала к нему, он лежал без простынь, в ванне мокла груда грязного белья, в мусорных ведрах крутились белые жирные черви и от них исходило страшное зловонье. Несколько дней я стирала, выносila мусор, мыла и дезинфицировала грязные ведра и убирала его маленький домик.

У него был рак в трех местах. Он медленно умирал. Пришлось перевезти его в Нью-Хевенскую больницу, но помочь ему уже было невозможно.

«Саша», сказал он мне за несколько дней до смерти, «ты ухаживала за мной, ты помогла мне жить — теперь, помоги мне умереть».

Странное это было ощущение: мне казалось, что я умираю вместе с ним. Он не боялся смерти, он не жаловался, не стонал, я видела как он физически слабел, но духовно выростал.

А рядом, громко, пронзительно кричал старик американец: — «Я не хочу умирать! Не хочу! Не хочу! Спасите меня! Ведь я все подготовил, чтобы ехать во Флориду. Вы бы посмотрели какую я купил машину! Все в ней есть: радио, ледник, погре-бец... Оо! Оо! Спасите меня! Где же доктора? Зачем же я им столько переплатил! К чему потратил столько денег — напрасно! Оо! Оо! Спасите! спасите! Что вы стоите надо мной? Идиоты!»

«Бедный, бедный!», шептал Илья, «как мне жалко его! Не понимает зачем он жил, с какими мыслями умирает! Бедный! бедный!». А старик все пронзительно кричал: — «Спасите! спасите! Я не хочу умирать!»

Надо превозмогать слабость, болезнь, не распускаться и,

что очень важно — не бояться смерти, а смотреть ей прямо в глаза и готовиться. Но мало этого. Надо внушить себе и помнить, что смерть не конец, не гибель, не наказание для человека, а пробуждение, начало чего то нового, неизвестного, может быть радостного. «Жизнь — сон, смерть — пробуждение», как сказал отец.

Если старый человек, почувствовав слабость, перестает работать, как умственно так и физически, садится в покойное кресло и сидит, крутя пальцами, не думая, не читая и только интересуясь едой и одеждой, он тупеет, ест и пьет и, как говорят американцы, превращается в «vegetable», в овощь. Не только мускулы теряют силы и перестают работать, но и сердце и мозг, и человек духовно постепенно гибнет.

Да, как хочется уйти от жизненного мусора. Мусора, который затемнил все настоящее, духовное, что должно быть основой жизни.

Думаю, что страдание, бессонные ночи, когда часами мучаешься, не спишь, вспоминаются грехи и, только, помолившись, поздней ночью и когда в окно уже чуть проникает серый утренний скучный свет, засыпаешь, может быть Господь услышал твои молитвы, простил, наступает блаженный, долгожданный сон.

Многие, перед кем ты виноват, давно ушли. Ты уже не можешь просить у них прощения, только мысленно, в молитвах твоих.

Днем забываешь тяжелое. Находишь радость в близких, в природе, в животных, в людях. Ласковое слово, милая улыбка, сочувствие... и легко становится на душе.

Как мы были глупы, иногда слепы! Топтали в грязь часто то к чему надо было прислушиваться, чему надо было учиться, «что единое на потребу». Искали мы счастья в славе, в удовольствиях, в глупых, ненужных занятиях, забывая, что это только мусор... и вот жизнь прошла. «*Sí jeunesse savait, si vieillesse pouvait*»... Если бы молодость знала, если бы старость могла!

А теперь, не исправишь, не вернешь! Только хочется одного: перед уходом, всем, кто еще жив, перед кем виновата, низко поклониться и сказать — «Простите!»

ВСЕ ЛИ БЫЛО БЛАГОПОЛУЧНО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ?

Известно, что 17-19 октября в Копенгагене, в здании парламента происходило т.н. Международное Слушание Сахарова, задачей которого было «представить на рассмотрение мирового общественного мнения факты нарушения прав человека на территории СССР за последние десять лет». Почему — за последние десять лет? Разве до этого советский человек «дышал вольно»? Но пусть так. Слушание все равно надо было приветствовать, как некое, пусть незначительное, но все таки пробуждение совести и разума у либеральной интеллигенции Запада.

Но, к сожалению, даже эта слабосильная попытка открыть глаза на насильническую и кровавую сущность коммунизма натолкнулась на непонятные странности. О слушании нами получена большая документация и есть свидетельства двух лиц, присутствовавших на нем, так что в фактах и в комментарии их мы вряд ли ошибемся.

В первый день слушания произошла одна непредвиденная непонятность. Редактор «Русской Мысли» З. А. Шаховская, привезшая из Парижа текст обращения А. Д. Сахарова к слушанию, отказалась огласить его и покинула зал, заявив, что не прочтет текст Сахарова, если в составе жюри будет оставаться пастор Майкл Вурмбрандт, по приглашению комитета приехавший из Америки.

Пасторы Ричард и Майкл Вурмбрандты известны не только в Америке, как непримиримые борцы против коммунизма. Они ведут большую христианскую антикоммунистическую работу в США, выпускают по-английски ценный документальный бюллетень «Голос мучеников», в котором дается материал о преследовании верующих в коммунистических странах. Кроме того о гонении на христиан (и вообще на верующих) в коммунистических странах — они выпустили много книг и бро-

шюр. К тому же Ричард Вурмбрандт отбыл в тюрьме румынского КГБ (пресловутая Секюритатэ) 14 лет прежде чем вырвался на свободный Запад. Мы глубоко уважаем антикоммунистическую бескомпромиссную борьбу за христианство и свободу пасторов Майкла и Ричарда Вурмбрантов. И поэтому — в первый момент — мы просто не поверили лежащим перед нами документам, говорящим, что именно пастора Майкла Вурмбрандта З. А. Шаховская, редактор антикоммунистической русской газеты «Русская Мысль», потребовала удалить из состава жюри, отказавшись огласить заявление Сахарова в его присутствии.

Как же отозвались члены Комитета на это заявление З. Шаховской? Увы, — НА ЗАСЕДАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (и в первую очередь, конечно, права свободного слова человека) они насилинически (силой полиции) вывели из зала пастора Вурмбрандта и его жену Джудит. Этот факт, произошедший в «Датском Королевстве», в здании датского парламента, я расцениваю, как СКАНДАЛ И ПОЗОР. Хочу думать, что З. Шаховская не ожидала к какому безобразию приведет ее заявление. Ведь каждому ясно, что Андрей Дмитриевич Сахаров, с именем которого в данном случае было связано заявление З. Шаховской, — никогда бы в жизни не потребовал удалить (да еще полицейской силой!) кого бы то ни было из зала заседания, темой которого были ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Ведь на это слушание были приглашены даже представители компартии Дании. И против этого никто (и З. Шаховская тоже!) не протестовал. И — правильно! Пусть бы послушали в СВОБОДНОМ мире показания бывших советских граждан!

Признаюсь честно, мотивов заявления З. Шаховской я не понимаю. И полагаю, что она *общественно обязана* всем нам, читателям «Русской Мысли», разъяснить их на страницах редактируемой ею газеты. Кто именно отдал приказание полиции вывести из зала слушания — антикоммуниста, христианина пастора Майкла Вурмбрандта — мы не знаем (очевидно председатель Комитета). Но мы знаем, что вскоре же после его насилиственного удаления Комитет «ин корпоре» (поняв безобразие этого факта!) обратился к М. Вурмбрандту с длинным письмом-извинением, текст которого раздавался всем при-

существовавшим на Слушании. В этом письме-извинении, между прочим, говорится следующее:

«Уважаемые слушатели! Уважаемый господин Майкл Вурмбрандт!... Случилось нечто, чего мы, организаторы Слушания, не ожидали. Мы пригласили Вас в комиссию, единственной целью которой является — путем задавания вопросов — познать правду и сделать ее достоянием мировой общественности. Официальная пропаганда СССР называет Вас, господин Вурмбрандт, реакционером и мы ни минуты не сомневаемся в том, что нас тоже так будут вскоре называть. Организаторы подчеркивают во всеуслышание, что Вы были нами приглашены и мы приносим Вам публичное извинение за то, что случилось, за то, что Вас удалили из зала Датского Парламента, любезно предоставленного Международному Слушанию Сахарова.

Я объясню Вам причину. Госпожа Шаховская, которая получила на руки речь лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова, обращенную к заседающему Международному Слушанию Сахарова, вышла с ней из зала, заявив, что не прочтет ее, если Вы будете находиться в зале. С ней вместе удалился господин Майкл Бурдо. Их реакцию можно объяснить тем, что они сказали бы, если бы им пришлось сидеть рядом с представителем Датской коммунистической партии, который был приглашен наравне с Вами?

Мы, организаторы Международного Слушания Сахарова (теперь-то мы можем признаться, что нас было не более 10 человек, работавших над подготовлением Слушания на тему нарушения прав человека в СССР в течение целого года, не жалея сил, денег, времени и здоровья) мы должны были действовать вопреки своим убеждениям и удалить Вас из зала, для того, чтобы это чрезвычайно важное для всего мира мероприятие могло начаться. Недоразумения между Вами и госпожей Шаховской возникли не по нашей вине и не нам их устранять. Я уверен в том, что, как Вы, так и Шаховская с Майклом Бурдо пали жертвой дезинформации, распространяемой неведомыми силами.

Я хочу спросить Вас, Майкл Вурмбрандт, о чем-то. Если представители датской коммунистической партии будут сидеть здесь завтра и задавать вопросы свидетелям, как того сами

свидетели желали, откажетесь ли Вы сидеть здесь? Я думаю, что Вы останетесь, так как правда на нашей стороне и нам ли бояться провокационных вопросов? Их вопросы могли бы только помочь свидетелям, а ни в коем случае не повредить.

Мы, организаторы Международного Слушания Сахарова, приглашаем Вас, господин Вурмбрандт, если Вы готовы забыть обиду, Вам причиненную, занять Ваше место в комиссии по расследованию показаний свидетелей...

От имени Комитета: Бернард Караватский».

На следующий день Слушания произошла странность другого порядка. Пять свидетелей — недавно приехавших из СССР — А. Григоренко, В. Балашов, Л. Кавачевский, В. Фейнберг и Б. Шрагин — подали в жюри письменное заявление о том, чтобы на Слушании разбираемые вопросы нарушения прав человека не переходили в «политическую борьбу» против советского режима. Об этих пяти «господах из СССР», по-моему, правильно написал Н. Отрадин в «НРС» (28.11.75), что они боялись больше всего, что «их примут за антикоммунистов». Отметим, что один из «подписантов» уже раньше выступал в зарубежье в этом же духе. В № 108 «Вестника РСХД» Б. Шрагин давал такие советы для успеха и процветания «Вестника». Журнал — «должен обезопасить себя от обвинений в антисоветизме»; «не нужно и в подтексте прятать маниакальное 'Карфаген должен быть разрушен'». От православного направления журнала Шрагин предлагал «Вестнику» отказаться: — «есть, надо признать, основания быть предубежденным против православия». Эта рекомендация Шрагина была бес tactна, ибо Шрагин не православный. Другие рекомендации были также странны в своей сути, как странно заявление пяти на слушании Сахарова о правах человека в СССР. Разве бесправие советского человека не порождено природой однопартийной тоталитарной диктатуры? Мне кажется, «подписанты» чего-то не договаривают и делают вид, что не знают определения А. Д. Сахаровым сути «советского общества». Сахаров пишет: — «Именно недостаточным пониманием того, что скрывается за фасадом советского общества, непониманием потенциальных опасностей советского тоталитаризма, объясняются многие иллюзии западной интеллигенции и, в конечном счете, удивительные просчеты и неудачи западной политики» (А. Сахаров).

«О стране и мире», стр. 7). А когда делается самая робкая попытка на слушании раскрыть глаза западной интеллигенции на «опасности советского тоталитаризма», то пять упомянутых «подписантов» своим заявлением пытаются защитить тоталитарный «советский строй» от какой-то «антисоветчины». Что это такое?

Еще более рьяно в Копенгагене ограждала доброе имя «советского общества» г-жа Мария Синявская, прибывшая на слушание из Парижа «вместо своего мужа». Эта госпожа, беспрепятственно совершающая рейсы: Москва — Париж и обратно: — Париж — Москва — Париж, — отвечая на свидетельства о концлагерях бывших заключенных на Архипелаге ГУЛАГ, заявила, что «здесь кидались миллионами», она же заявляет, что по подсчетам ее и ее мужа в советских концлагерях сейчас всего 10.000 человек. В книжке «Сахаров о себе» (А. Кнопф, Нью Йорк, 1974, стр. 19) Андрей Дмитриевич Сахаров, говоря о сегодняшних советских концлагерях, пишет: «я обращаю внимание мирового общественного мнения на эту проблему, которая является жизненно важной для *одного миллиона семисот тысяч заключенных*». Как же называется заявление Синявской?

Бывшие заключенные на Архипелаге ГУЛАГ, выступавшие свидетелями на слушании, утверждали даже, что на сегодня цифра советских заключенных колеблется между 3 — 4 миллионами человек. Г-жа Палатник (Израиль) показала, что только в украинских женских лагерях заключены 10.000 женщин.

Итак, все ли было благополучно в «Датском Королевстве» на слушании Сахарова? Думаю, что далеко не все. Но несмотря ни на что показания большинства свидетелей, бывших советских граждан, — Варди, Маркиш, Панина, Шифрина, проф. Азбеля, Краснова-Левитина, Классена, Бресендана и других дали *потрясающую картину* человеческого бесправия, насилия и террора коммунистической диктатуры. Эти показания должны быть опубликованы книгой на всех главных языках для просвещения людей всего мира о сути т.н. «советского общества».

Роман Гуль

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

По поводу одной полемики

Тема о Гоголе и Достоевском — важная и интересная, однако написать на 16 страницах «Н. Ж.» статью под названием «А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была» (№ 117) и не дать в ней ни одного доказательства, ни одного факта в подтверждение этого, а наполнить ее не относящимися к задаче домыслами и мелочной критикой двух мест моей статьи — странно для ученого достоевсковеда В. Седура, автора серьезной книги о достоевковедении в СССР.

Вместо того, чтобы привести доказательства присутствия Достоевского на встрече с Гоголем на ужине у А. Комарова в начале осени 1848 г. (записи, письма, выдержки из дневников, или хотя бы одно свидетельство современников) В. Седуро пишет о чем угодно в своей обширной статье но не об этом: о Гончарове, об увлечении Гоголя гр. Вильегорской, о семье Майковых, о кружке их друзей и о других к делу не относящихся вещах, чтобы закончить статью длиннейшими выдержками параллелей из гоголевской «Переписки с друзьями» и из «Села Степанчиково» Достоевского. Такое споставление уже сделал Ю. Тынянов еще в 1921 г. в работе «Достоевский и Гоголь. К теории пародии».

Напомним, как началась эта полемика, не потому что так уж важна эта деталь, даже если бы она имела место, а потому, что и Маргулиес в 1963 г., и В. Седуро в 1975 г. делают из нее далеко идущие и, по-моему, необоснованные выводы, искажающие отношение Достоевского к Гоголю.

Мой покойный друг Ю. Э. Маргулиес напечатал в альманахе «Воздушные пути» в 1963 г. остроумную, но необоснованную статью о возможной встрече двух писателей, об оскорбительном якобы обращении Гоголя с группой писателей, бывших на ужине у А. Комарова и о том, что из чувства «непрощенной обиды» Достоевский, по словам Маргулиеса, «выставил Гоголя на публичное посмеяние и безжалостно издевался над покойником», выведя его в образе Фомы Опискина в «Селе Степанчиково».

В моей статье («Н. Ж.» № 105) в 1971 г. я указал, что нет никакого доказательства того, что Достоевский был на этой встрече Гоголя с группой молодых писателей; что есть доводы против того, чтобы он мог быть на ней и что выводы Маргулиеса необоснованы.

К этой моей оценке «открытий» Маргулиеса впоследствии, в конце 1972 г., присоединились коментаторы третьего тома *Полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах*. Изд. «Наука» Л. стр. 503, где мы читаем: «Однако вывод этот (Маргулиеса о том, что Достоевский присутствовал на встрече с Гоголем) не подтверждается другими данными».

Ю. Э. Маргулиес любил русскую литературу, однако это его статья в «Воздушных путях» была, как будто, единственной написанной на тему из русской литературы: он был крупным специалистом синологом и интересовался гл. обр. историей. Я послал ему копию моей статьи и после этого был у него в Женеве в сентябре 1971 г. и он в разговоре со мной даже не пытался защищать своей гипотезы.

В. Седуро же о заключениях Маргулиеса пишет следующее: (Они) «прозвучали новым словом в современном достоевсковедении и имеют большое значение для выяснения многих творческих вопросов о литературном наследстве Достоевского... проливают свет на взаимоотношения двух великих писателей и по новому ставят вопросы о гоголевских традициях и романтизме в творчестве Достоевского».

Во-первых, если уж говорить о новом слове в оценке «Села Степанчикова», то оно было сказано 54 года тому назад Ю. Тыняновым, а во-вторых — проливает ли Маргулиес свет на взаимоотношения двух писателей тем, напр. что по Маргулиесу Достоевский отомстил Гоголю злой карикатурой, назвав его даже подлецом устами одного из героев повести — Бахчеева?

О «Селе Степанчикове» спорном и во многом еще не вполне исследованном произведении, которое автор, когда он его написал, считал своим лучшим произведением, я уже высказал кое-какие соображения в моей статье 1971 г., проведя параллель с «Тартюфом» Мольера. Любопытно сравнить произведение Достоевского еще напр. с повестью Тургенева «Нахлебник», в которой один из героев Кузовкин, напоминает и Фому, и Ежевикуна в «Селе Степанчикове». Повесть эта, написанная в 1848 г. под сильным влиянием ранних произведений Достоевского (она носила название «Чужой хлеб», но была запрещена цензурой, хотя ее читали среди других запрещенных книг члены кружка Петрашевского) и сама могла послужить тому же Достоевскому толчком для создания «Села».

Нужно отметить также, что не только фразы Гоголя из «Переписки с друзьями», но и из «Мертвых душ» перекликаются с фразами из «Села Степанчикова», напр. разговор Ростанева с мужиками, мечтания Кочкирева и т.д. «Село Степанчиково» большой и важный этап на творческом пути Достоевского, а образ Фомы позднее послужил писателю материалом для создания образа «подпольного человека»; как это подчеркнул до В. Седуро В. Розанов в своей «Легенде о великом инквизиторе» еще в 1906 г.

Нет, «Село Степанчиково» — не только полемика с «Перепиской» Гоголя, многое из русской и мировой литературы использовал в своей творческой лаборатории Достоевский, (даже диккенсовские «Записки Пиквикского клуба» в эпизоде похищения Татьяны Ивановны), а Фома Опискин, конечно, не Гоголь.

Н. В. Первушин

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый г. Гуль!

Только что с большим интересом я прочла статью А. Донскова «Предвестники ‘Вишневого сада’» в 112 номере Вашего журнала за 1973 г. В этой статье автор пытается доказать, что сюжет и некоторые детали «Вишневого сада» были предсказаны еще Соловьевым и Островским в пьесе «Светит, да не греет» и в самостоятельной пьесе Соловьева «Ликвидация».

Меня удивило то, что автор нигде не упомянул о статье С. Ф. Елеонского «К истории драматического творчества А. Н. Островского». (Эта статья была напечатана в книге: *A. N. Островский* под редакцией П. С. Когана, Изд. «Основа», Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 105-141.) В ней Елеонский сопоставляет пьесы «Светит, да не греет» и «Вишневый сад». Меня интересует, знаком ли проф. Донсков с этой статьей?

С глубоким уважением Ира Эсам-Зораб

Victoria University, Wellington, New Zealand.

КТО АВТОР «КАТЕХИЗИСА РЕВОЛЮЦИОНЕРА»?

Мы приводим, в переводе с французского, письмо известного публициста и историка революционного движения Бориса Суварина к Р. Б. Гулю. *РЕД.*

Дорогой Роман Борисович,

Я был очень удивлен прочтя в статье Л. Ржевского о Вашей книге «Бакунин» (кн. 119-я) фразу, что «Бакунин, который позже совместно с Нечаевым сочинит печальной памяти «Катехизис революционера». Если память мне не изменяет, я не видел этого в Вашей книге, 3-го издания (у меня нет прежних изданий).*

Ржевский фактически ошибается, Бакунин в своем письме от 2 июня 1870 г. к Нечаеву сильно критикует «*ваш катехизис*» в выражениях, которые не оставляют никакого сомнения в его негодовании. Стало-быть Нечаев уверил его, что «катехизис» принадлежал ему, Нечаеву.

С другой стороны, когда он был заключен в Петропавловскую крепость, Нечаев написал письмо, где он дезавуировал «абсурдность катехизиса» (письмо опубликовано спустя пятьдесят лет). Таким образом он признает, что лгал Бакунину, приписывая себе авторство катехизиса. Остается узнать, не лгал ли он еще раз, отрицая катехизис. Но у этого профессионального лгуня, погребенного заживо в крепости, не было уже никакого основания лгать. Не сказал ли он правду в таких условиях? А в этом случае это означало бы, что ни Бакунин, ни он не были авторами катехизиса. И что в течение века все страстные спорщики по этому вопросу, все ошибались?

Обратимся к бумагам А. А. Дмитриева в «Записках Отдела Рукописей» библиотеки имени Ленина (Москва, 1938), № 1, стр. 48-53, где автор говорит о Тетрадях Г. П. Енишерлова, одного из нечаевцев, оправданного на известном процессе 1871 г., который вдохновил Достоевского. Енишерлов рассказывает, как он и его товарищи: «Избрали также центральный комитет и комиссию для разработки программы. Эта программа стала впоследствии известна под названием 'Нечаевского катехизиса'». Дальше: «Енишерлов вел в III отделении долгие переговоры, предлагая выпустить его за границу и обещая убить там Нечаева. Главный импульс ненависти к Нечаеву был арест Томиловой и опубликование Нечаевым «катехизиса», который Енишерлов считал своим (подчеркнуто мной БС).

Позднее в «Прометея», № 5 (Москва, 1968) статья Н. Пирумовой «Бакунин или Нечаев?» ссылается также на Тетради Енишерлова и приводит цитату из разговора его с Томиловой: на ее вопрос, почему он так ненавидит Нечаева, «я отвечал правду: ее арест и опубликование *моего* Катехизиса... не ради авторства».

К сожалению, у нас нет достаточного количества выдержек из Тетрадей Енишерлова. Но — ни Бакунин, ни Нечаев...

В течение века сведущие историки и достойные доверия свидетели, все вполне добросовестно, спорили об авторстве «Катехизиса», не зная о Записках Енишерлова. Высказывания М. Сажина, подтвержденные З. Ралли (оба убежденные бакунисты), со ссылкой на существование копии «Катехизиса», написанной рукой Бакунина, убедили даже Макса Неттлау. Народовольцы, Софья Перовская и ее сестра А. Успенская, поддерживали это мнение. М. Драгоманов включил «Катехизис» в список написанного Бакуниным. Точно также и историки Тун, Стеклов, Козьмин, Ф. Меринг, Вентури и другие держались этого мнения. Теперь можно думать, что Бакунин скопиро-

* Моя книга «Бакунин» доведена только до времени побега Бакунина из Сибири в Европу. Нечаев в ней, естественно, не появляется. Р. Г.

вал документ, автором которого он не был; что Нечаев лгал ему (он лгал очень легко), приписывая авторство себе, и что сказал — один раз — правду, отказавшись от авторства, когда был уже заключен в Петропавловскую крепость; что Енишерлов играл несомненную роль в этом деле, но ни Дмитриев, ни Пирумова не дают достаточно выдержек из его Тетрадей, чтобы окончательно — раз и навсегда — установить правду в этом споре.

Париж. 19 сент. 75 г.

Ваш. Б. С.

К ПИСЬМУ Б. СУВАРИНА

Представление о М. Бакунине как авторе «Катехизиса революционера» распространено среди ученых Советского Союза (главным образом — в связи с генезисом романа Ф. М. Достоевского «Бесы»). Так, в томе 3-ем «Истории русской литературы» Академии наук СССР под ред. Д. Благого (М., 1964, стр. 385) читаем: «Достоевский знал и «Катехизис революционера», составленный М. Бакуниным и фигурировавший на нечаевском процессе». Или — в томе 7-ом «Собрания сочинений Ф. М. Достоевского» (М., 1957, стр. 726): «Явственный отпечаток на всю сюжетную ткань романа наложил составленный Бакуниным 'Катехизис революционера'».

Я, таким образом, лишь повторил принятую литературоведами версию, опровержение которой требует, конечно, убедительных доказательств.

Л. Ржевский

БИБЛИОГРАФИЯ

ИГОРЬ ГРАБАРЬ. Письма 1891-1917. Академия Наук СССР. Институт истории искусств Министерства культуры СССР. Издательство «Наука», Москва 1974. Редакторы: кандидат искусствоведения Т. П. Канедан, член-корреспондент АН СССР В. Н. Лазарев. Редакторы — составители, авторы введения и комментариев Л. В. Андреева, Т. П. Канедан.

Надо приветствовать появление I тома писем Игоря Грабаря, так много сделавшего для русской культуры. Можно прямо сказать, что только с Грабарем началось подлинное изучение русского искусства и даже теперь, после многих последующих изысканий, труды Грабаря не потеряли своей значительности, как, например, статьи

об архитектуре, или о Феофане Греке в сборнике «Вопросы реставрации».

Грабарь иногда увлекался, превозносил то, что потом сам же развенчивал, но страстный «кладоискатель» заражал своим энтузиазмом сотрудников и открыл много ценных памятников.

Приведенные письма дают возможность не только осветить научную деятельность Грабаря, но открывают отношения Грабаря с Александром Бенуа в их взглядах на современное искусство. Грабарь причисляет себя к людям, чувствующим глубокую связь с современной жизнью и видящим в современности свой особый стиль, что не мешает ему восторженно ценить Рафаэля. «Но жить одним прошлым, — говорит Грабарь, — он не может».

На утверждение Грабаря о ценности современного искусства, А. Бенуа резонно отвечает, что любить все новое, это своего рода трусость, что это похоже на восхваление каждого нового монарха. А. Бенуа утверждает, что есть все же разница в качестве искусств разных эпох.

Из писем становится известно о многих попытках Грабаря привлечь А. Бенуа к сотрудничеству в издании «Истории Русского Искусства», но А. Бенуа отказался от участия в коллективном труде. Упоминает Грабарь в письме, что Имп. Николай II субсидировал издание журнала «Мир Искусства» и приказал выдавать журналу 15.000 руб. ежегодно. Подобные сведения в советской печати раньше замалчивались.

Игорь Грабарь — сложная фигура. До революции ему приходилось иметь дело с представителями императорской власти, а после революции с заправилами коммунистов. Пришлось ему покрывать душой, когда он писал картину «Ленин у прямого провода». Не знаю, что заставило Грабаря написать эту сухую и надуманную картину, и не этой картиной, конечно, будет впоследствии заслуженно отмечаться деятельность Грабаря. Он оставил по себе «памятник нерукотворный» многолетними самозабвенными трудами над «Историей Русского искусства».

В ранних картинах Грабарь следовал заветам импрессионистов, чувствовал наступление весны, любил искрящийся на солнце снег и иней, показывал в натюрмортах сочность плодов и фруктов. В позднейшее время он уделял много времени портретам, сохранил свой оптимизм, писал свою автомонографию и труд о Репине, продолжал и свои научные изыскания в области древнего русского искусства.

В 1953 г. Грабарь принял участие в издании новой многотомной «Истории Русского Искусства», но не дожил до конца издания, он скончался в 1960 г. почти в возрасте 90 лет.

Примечания в книге писем занимают 130 страниц и очень помо-

гают лучше понять отношения Грабаря со своими друзьями и знакомыми. Если следующий том писем, готовящийся к печати, охватит период жизни Грабаря с 1917 г. по 1960 г., то можно предполагать, что он будет столь же интересен, как и первый том.

E. Клинов

ЦЮЙ ЮАНЬ. *Ли Сао*, поэма, в стихотворном переводе Валерия Перелешина с китайского оригинала. Франкфурт на Майне, 1975.

О трудности перевода с китайского писалось очень мало, но об этом необходимо сказать хотя бы вкратце. Китайская поэзия существует не только для слуха и смысла (мелопея и логопея Э. Паунда), но также для глаз: иероглифы выбираются ради каллиграфического удовольствия. Это и четыре основных тона произношения иероглифов (ровный, неровно-восходящий, восходяще-нисходящий, ровно-нисходящий) — непреодолимые препятствия. Само же произношение китайских слов (дифтонги, трифтонги, твердые согласные перед т.н. «мягкими» гласными, носовое «н» равное англ. конечному «нг», неясные гласные неполного образования и др. особенности) решено условной транскрипцией. Она очень далека от подлинного произношения, но понятна синологам и совершенно не важна для любителей поэзии. Будем ли мы произносить «сюй», как съуй или сьюй или более правильно, как фр. suis, для читающего безразлично. Его не покоробит, что «юань» один слог с зубным «н» смягченным не по-русски: вроде англ. oNion. Качество переводной поэзии от этого не пострадает.

Вышесказанное дает мне право указать, вопреки общепринятой традиции, что ошибка в имени отца Цюй Юаня — Бай-юн вместо Бо-юн, не влияет на поэтическое достоинство перевода. Конечно, педант укажет, что мнимо-ученый комментатор не знал никогда о существовании словарей древне-китайского произношения, в которых говорится... или переводчик пользовался современным произношением этого имени. Насколько такое указание нужно для наслаждения поэтическим переводом В. Перелешина пусть каждый решает сам.

Беру китайский оригинал Ли Сао, напечатанный в Чу-цы бу чжу, и читаю, скажем, 20 строф (катрены, кроме № 12-секстины). Перечитываю несколько раз, наслаждаясь виртуозностью Цюй Юаня. Затем беру перевод. Даже не замечаю, что я теперь читаю по-русски. Случилось чудо не с Э. Паундом, а с Валерием Перелешином, хотя о Паунде Т. С. Элиот писал, что тот изобрел китайскую поэзию на английском языке. С этим утверждением можно и не согласиться при всем восхищении поэтическим даром Э. Паунда. Понадобилось

48 лет, чтобы показать, как мало китайского в его Конфуцианских Одах (1915 г.).*

Сейчас же укажу, во избежание кривотолков, что у В. П. не рифмованный подстрочник. Но это и не отсебятина, обычная в т.н. поэтических переводах с китайского, где нет ничего китайского кроме «китайщины». Более правильного безукоризненного подхода к разрешению почти неразрешимой проблемы трудно найти.

В. Перелешин пишет в своем предисловии, что он «избрал скорее ритм чем размер, ибо таким способом лучше передается метрическое разнообразие поэмы». Отличное решение. Попробуйте найти ключ к размеру из такого числа иероглифов (строфы — катрены, кроме № 12 даны по порядку): 7-6-7-6, 6-6-5, 8-6-7-6, 7-7-7-6, 7-6-7-6, 7-5-7-6, 7-6-7-6, 7-6-7-7, 8-6-7-6, 7-6-8-6, 9-6-7-7, (№ 12) 7-6-7-6-8-6, 8-6-7-6, и т.д. Уже по этому началу видна трудность механического решения задачи. Нужен поэт не только со знаниями, но скорее с безукоризненным строгим вкусом. Чувство звука и чувство слова помогают оформить смысл-содержание с такой же точностью, какая в оригинале. Вот эта неуловимая интуитивная точность с самого начала параллельного чтения и околдовала меня. Пусть люди, влюбленные в наукообразность простят мне эти слова. Не знал, читал ли китайский или русский текст. Конечно, имя Цюй Юаня говорит само за себя. Недаром в 1953 году отмечалось условное две-тысячи-двести-тридцатилетие со дня его смерти.

Меня сильно занимала мысль, как В. П. справится с этой поэмой? В ней необычайно сложные, исторически затрудненные метафоры, напр. «орхидея» — имя наследника престола Чуского правителя, «перец» — имя предателя-друга, «верба» или «ва» — по звучанию (другие иероглифы) значит оставить на должности (чиновника по доверию к нему), душистая кассия из Аннама — по звучанию значит — фаворит. Как объяснить без исключительно подробных примечаний, что «Белые Воды» не только название реки, берущей начало в отрогах горного хребта Куныльунь, но и «вода бессмертия». Или «Фу-сан» значит: 1. в своем мифологическом чтении «Фо-сан» — царство блаженных и бессмертных, 2. дерево или куст *Hibiscus rosa-sinensis*, 3. дерево, которое растет там, откуда восходит солнце, 4. место недалеко от горы Янь-цызы, в пещеру которой солнце прячется на ночь.

Литературный экспрессионизм Цюй Юаня в 3 в. до Р. Х., лаконичный, благодаря меткости языка и богатый исторически-сказочными ассоциациями и намеками, исключительно труден для перевода. Не имея русского перевода, я пытался угадать перевод частицы

* L. S. Demo, The Confucian Odes of Ezra Pound, ... Univ. of Cal. Press Berkeley and Los Angeles, 1963.

«си». Этот иероглиф неустойчив в своих функциях и смыслового значения не имеет; нечто вроде восклицательного знака, или двоеточия, или многоточия, или точки с запятой. При чтении эта частица произносится, т.к. она составляет ритм, ср. наши модальные частицы: же, ка, от, то, де, чай и т.п. Признаюсь, что боялся появления этих «ах-ох-эх», которые пестрят в т.н. китайских стихотворениях. Присутствие таких междометий в стихах напоминает балаганные куплеты с припевом: — «Жили-были три китайца, Фу-ты-ли, Ну-ты-ли, Ай-ты-ли». В. П. и эту задачу разрешил блестяще: «си» не переводится, никаких ахов, но эмоциональная окраска поэмы сохранилась и целиком и китайская.

Трудность освоения многопланового зрения Цюй Юаня несколько напоминает «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева. Это та реальность, в которой прошлое становится будущим, а будущее — прошлым. Планы реальные, мифологические, исторические и индивидуально-фантастические смешиваются в гармонически выразительный рассказ-поэму. Для Цюй Юаня нет никаких сомнений, что достигнув Сянь-бу, название пика хребта Кунылунь, где живет небесный царь, он вступит на Небо, т.к. только там есть (!) сообщение с Небом. Эта вера в реально-абстрактное несколько напоминает русскую икону Св. Лавра и Глеба. Святые достигли Неба-Рая. Их принимает архангел Михаил. Но кони, с которых сошли святые, остаются ниже, у той невидимой черты, которая отделяет реальное от абстрактного. В подлинно художественном восприятии Цюй Юанем такого многопланового мира заключены невероятные трудности для перевода. И с этим В. П. отлично справился. Ясность композиции в реально-мифологических ситуациях дана с предельной простотой.

Огромное количество разных названий-имен, как напр. растений, гор, рек, местечек, собственных имён (тройные имена для одного лица: дочь импер. Фу-си называется четырьмя именами и комментатор очень подробно объясняет, почему ее надо называть Ми-фэй, — теперь общее название духа реки, -а не Фу-фэй, Ми-ши или Фу-ши) и еще многое другое специфически китайское тревожило меня. Я боялся за судьбу и качество перевода. Достаточно добавить, что словосочетание: «привязать лошадь на Лан-фиин» для периода 6-3 века до Р. Х. значило: «совершить дальнее путешествие на запад». Но страхи мои были совершенно напрасны. В. П. дал столько китайских названий и имён сколько было строго необходимо, ничего лишнего, ничего ненужного.

Читается Ли Сао с неослабеваемым интересом и восхищением. Удивляешься, как можно передать чуждый мир с чуждого языка на свой родной, не сделав ни одной неприятной ошибки. В 18 строфе слово «десять» вместо «девять» считаю опечаткой, а не ошибкой.

В 19 строфе Пэн Сянь вместо Пэн Сянь явная опечатка, т.к. на стр. 23 и 24 стоит Пэн Сянь.

Тому, кто хочет услышать подлинный Китай, а не бутафорскую оперетку, советую читать Ли Сао вслух.

П. П. Лапилен

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ. «Отражения». Париж. 1975.

Писать воспоминания не только дело сложное, но и не совсем безопасное. Как бы ни был правдив их автор, непременно найдутся критики, готовые обрушиться на него за допущенные ошибки и неточности. Без ошибок и неточностей воспоминаний не существует. Они неизбежны. Как говорит Зинаида Шаховская в предисловии к «Отражениям»: «Память не фотографический аппарат».

Да ошибки и неточности, собственно говоря, не играют большой роли. Не в них суть, а в умении создать ощущение, что время показалось назад, и читатель неизвестно каким образом попал в страну прошлого, где близко познакомился с воскресшими, ожившими героями воспоминаний.

Такое умение очень редко кому дано. Но Зинаида Шаховская обладает им. Ее «Отражения» можно было бы назвать «Живое о живых». Ей, действительно, удалось «сводить читателей в гости» к тем, о ком она так живо, увлекательно и правдиво рассказывает.

Особенно хороши ее воспоминания о Бунине. Это настоящий, оживший «портрет в четырех измерениях», как говорил Георгий Иванов. Мне придется, когда, наконец, появятся мои «На берегах Сены», вычеркнуть из них несколько страниц, чтобы меня не обвинили в плагиате, настолько то, что говорит о Бунине Зинаида Шаховская, совпадает с тем, что о нем говорю я.

Из столкновения мнений — как известно — рождается истина. Но она рождается также и из совпадения их. Поэтому я и решаюсь утверждать, что Бунин был именно таким, каким «отразился» в «Отражениях», как в магическом зеркале, со всей своей необычайной сложностью, противоречивостью и комплексами, мучавшими его.

Правильно и то, что с ним часто бывало тягостно, но скучно никогда не было, и то, что он, несмотря на все свои самоуверенность и высокомерие, был в сущности застенчив и ни в чем в себе — кроме писательского дара — уверен не был. Все так правильно, что мне хотелось бы многое из того, что она так зорко разглядела в нем, переписать здесь.

Глава, посвященная ему, безусловно лучшая в «Отражениях». Ей уступает даже замечательная глава о Ремизове, написанная совсем в другом ключе — Ремизов не сумел, как это сделал Бунин, очаро-

вать ее. Она не поддалась ему и даже временно — несмотря на свою молодость, энтузиазм и впечатлительность — не подпала под его влияние. И это понятно.

Ремизов был, конечно, тоже очарователен, но не тем здоровым, солнечным очарованием, исходившим от Бунина, а темным, болезненным, колдовским, как утверждал Кузмин, называвший его «укротителем тараканов» и уверявший, что они шуршат в его бумагах и в его мозгу.

Зинаиде Шаховской, описывая Ремизова, удалось понять его и проникнуть в его ревностно им скрываемый тайник, в его «нутро», осветить его и разгадать загадку этого загадочного писателя и человека. Она с большой прозорливостью находит в нем сходство с персонажами Достоевского, в подтверждение своего мнения приводя два отрывка из «Записок из подполья», которые действительно могли быть написаны о Ремизове — и даже им самим о себе. Это уже открытие литературоведческого порядка.

Очень хорошо, умно и человечно все то, что касается трагической судьбы Мариной Цветаевой. Зинаида Шаховская, с первого знакомства с ней почувствовала ее обреченность и рок, тяготевший над ней, и то, что Цветаева, раздавленная бедностью и тяжестью быта, как бы не замечая их, жила на недосягаемых для обыкновенных смертных высотах, и общаться с ней было затруднительно. Ей люди представлялись такими, какими она творчески преображала их, а не теми, какими они в действительности были. Оттого она и была — хотя всегда предлагала, даже навязывала свою дружбу, свою любовь — так беспредельно одинока и непонята — «одна за всех — из всех — противу всех».

Зинаида Шаховская признается: «ни один из писателей русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса». Теперь многие испытывают это трепет и этот священный ужас перед ее тенью. Тогда же большинство эмигрантов относилось к ней не только безразлично, но даже недоброжелательно, с недоверием. То, что Зинаида Шаховская старалась прийти ей — мучительно страдавшей от этого — на помощь, заслуживает нашей глубокой благодарности.

В Тэффи, Дон Аминадо, Ходасевиче, Софии Прегель и целом ряде молодых и старых писателей Зинаида Шаховская умела увидеть не только самое характерное, самое главное в них, но и то, что ускользало от глаз, менее зорких и внимательных. Во всех — за исключением одного Адамовича. Впрочем, впечатление, которое он производил в последние годы своей жизни, вполне верно. Но факты, к сожалению, совсем не соответствуют истине. Настолько, что я считаю себя вынужденной заступиться за него.

Нет, Адамович не проигрывал в карты деньги, вырученные им

от продажи принадлежавшей его матери виллы на Лазурном берегу, и не лишал ее тем последних остатков ее состояния. На такой скверный поступок Адамович, примерный сын, боявшийся хоть чем-нибудь огорчить свою мать, никак не мог быть способен.

Но никакой виллы на Лазурном берегу у нее и в помине не было. Отец Адамовича умер, когда Адамович был еще мальчиком, оставив семью без всяких средств кроме скучной генеральской пенсии. В эмиграции его мать с незамужней дочерью жила в Ницце при своей очень богатой и столь же властной и скупой сестре. Она-то действительно и продала свою роскошную виллу-дворец. Но к этой продаже Адамович, разумеется, никакого отношения не имел.

Недоумеваю, как могла возникнуть такая фантастическая легенда. Не исключена возможность, что сам Адамович был автором ее, иногда «от скуки, чтобы забавнее было» рассказывавший о себе невероятные небылицы и говоривший мне со смехом потом: «А ведь, представьте, поверили!»

Неправильно и то, что Адамовичу жилось трудно в последние его годы. Напротив, тут-то он впервые, вернувшись из надоевшего ему Манчестера, зажил легко, спокойно и обеспеченно. До войны он вследствие своих катастрофических проигрышней был далек от какого бы то ни было благополучия и часто «стоял на краю страшной бездны». А тут он даже открыл банковский текущий счет — чему не переставал сам удивляться. Жил он, правда, в двух комнатах для прислуги. Но не по бедности, а скорее из каприза. Эти две комнаты находились вблизи Елисейских Полей. Ему неоднократно предлагали обменять их на «комфортабельную квартиру со всеми удобствами» в менее элегантном районе. Но он об этом и слышать не хотел. Он, как кошка, привязался к своему углу и был им вполне доволен, как и своим «одиночеством и свободой», о которых он давно мечтал.

— Я мог бы зарабатывать гораздо больше, — говорил он мне, — если бы согласился, как меня просят, чаще писать в газетах и скрипты для Мюнхена. Но на что мне деньги? Их у меня, впервые, на все с излишком хватает. Я предпочитаю, превозмогая свою лень, писать для себя и для вечности — и полунасмешливо пояснял — ставить себе при жизни посмертный памятник. Свою мечту о посмертном памятнике он вряд ли кому кроме меня поверял, стремясь казаться совершенно лишенным тщеславия, каким его многие и считали. Но разве существуют писатели, совершенно лишенные тщеславия?

В «Отражениях» приведено много писем тех, о ком в книге говорится. В них отражена целая эпоха и уже во весь рост — встает сама Зинаида Шаховская. Письма эти свидетельствуют о том, сколько добра она делала старым и молодым писателям, энергично и неутомимо стараясь прийти им на помощь, что ей часто удавалось.

В последнем отделе, озаглавленном «Из моего альбома», поме-

щены русские стихи и записи ее многочисленных друзей и поклонников.

Альбом этот, подаренный ей Ремизовым в день ее свадьбы 21 мая 1926 г. — своего рода эмигрантская Чукокола — представляет собой большую ценность для будущих литературоведов.

Ирина Одоевцева

ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО. *Пропуск в былое.* Изд. «Сеятель». Буэнос Айрес. 1975. 64 стр.

Надо приветствовать выход этого сборника Татьяны Фесенко. Т. Фесенко известна, как прозаик: автор «Повести кривых лет», литературных очерков библиографических трудов и критических статей. Отдельные ее стихотворения печатались в «Новом Русском Слове», «Возрождении», «Современнике». Эти стихи показывали автора, как интересного поэта, и это впечатление подтверждается отчетным сборником. Он состоит из пяти разделов. Сборнику предпослано обстоятельное предисловие Гейно Цернаска, известного аргентинского журналиста, указывающее главные темы творчества поэта.

Первый раздел, «Ветры войны», посвящен тяжелому прошлому и в сильной степени автобиографичен. Там — «опаленная земля», по которой прошли солдаты, там — Германия, Бамберг со старинными улицами, там — «ветер бродит по Европе» и этому ветру дается поручение найти «самый лучший в мире дом» с тремя ступеньками на веранде, «дом наш в городе старинном». Но «нам никогда не напишут те, кто тоскует по нас» в этом оставленном доме.

Тема любви во втором разделе — те же ностальгические воспоминания о молодости — это тоже: «узкой дорожки потерянный след». Центральной частью сборника является третий раздел, одноименный с заглавием всего сборника. Он тоже о ностальгии:

А вот руки — они тоскуют,
И души угадав мечты,
Ей сажают в землю чужую
Детством пахнущие цветы.

Но прекрасна своей красотою и чужая, теперь ставшая своей, земля.
По закатным дорогам.

Нас, рожденных в стране березовой,
Тешит красок набор небывалый —
Этот сумах багряно-розовый,
Этот клен вызывающе алый.

Из стихотворений сборника надо выделить циклы «Письма» и

«Возвращение», где лиризм доходит как бы до ясновидения. Поэзия Татьяны Фесенко — ответ попыткам маньеризма сделать поэзию «грамотой за семью печатями»:

Старомодно

Пусть старомодно,
Говорите, что вам угодно....

В заключение хочется остановиться на сильной стороне стихов Татьяны Фесенко — на образности. Ее стихи не рассуждают: они убеждают свежими образами. Приведем хотя бы немногие из них. В туманах Силезии «У старых елей мокры ресницы Льет слезы горькие рябины гроздь...» В разделе «Три любви» образы соответствуют по тональности теме: видится не просто дерево ночью, а «липа нарядная в лунной накидке», тогда «гладит лица рукой золотую / Ярило — смеющийся бог». В августе — «месяце звездных разлук» сад «засыпан звездами», а в «Чужом лете» «золотою ниткой налету / светляки пришли темноту». В стихах о бессоннице два человека «настроены на одну, / прямо бьющую в сердце волну». Образы Татьяны Фесенко всегда органически связаны с темой. Сборник «Пропуск в былое» — несомненный вклад в поэзию русского Зарубежья.

Борис Нарциссов

ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА. Перевод с португальского. Художественная литература. Москва, 1974.

В сборнике «Португальская поэзия XX века» на двухстах двадцати страницах представлены португальские поэты, начиная от крупнейшего из них — Фернандо Пессоа, и кончая бесконечно малыми величинами. Вводный очерк по шаблону открывается выдержанной из Ленина — своего рода «Благослови, владыко!» безбожников. Стихам каждого поэта и «поэта» предпослана био-биографическая справка. Отмечу: составители явно колеблются между передачей португальских имен собственных по принципу графическому и «по звуку».

Во всех кратких справках об авторах упоминаются «прогрессивные силы», «демократическое движение», «антифашисты» (читай: коммунисты). Даже гениальный Фернандо Пессоа, поэт по-моему распадающейся личности, пессимист, отвергавший всякое вообще бытие и не нашедший бытия, оплакивавший иллюзорное и мучительное существование вообще, а вовсе не «прозябанье в буржуазном мире», поэт, гордившийся минувшей славой Португалии, открывшей путь в Индийский океан, поэт-монархист, дразнивший республиканское правительство не красными тряпками, а именами королей и

инфантов, завоевателей и мореплавателей, — даже он объявлен «прогрессивным поэтом»!

Не в «Португалии» московского сборника, а в подлинной Португалии XX века нет поэта, равного Фернанду Пессоа. Этого не отрицают и составители сборника, уделившие его творчеству почти шестьдесят страниц. Одним из первых дано стихотворение «Абажур» с переходом к «свету нездешнему», которое завершается свыше дарованной, а не сочиненной строфой:

«И по звездной кромке
я к нему плыву,
бередя потемки
снами наяву».

Нахожу в сборнике и милого «Котенка» и «Портрет моей души», которые я тоже в свое время перевел. Да будет мне позволено привести здесь «Автопсихографию» в переводе А. Гелескула:

«Пути у поэта окольны,
и надо правдиво до слез
ему притворяться, что больно,
когда ему больно всерьез.

Но люди, листая наследье,
почувствуют в час тишины
не две эти боли, а третью,
которой они лишены.

Приведу и свой перевод «Портрета моей души» после перевода советского мастера:

«Поэт — притворщик, и роль
Он так разыграть умеет,
Что впрямь превращает в боль
Ту боль, которой болеет.

А те, для кого он пишет,
В той боли, что прочтена,
Не те две боли услышат,
А ту, что им не дана.

Натянут на обод узкий,
Взлетает, смеша умы,
Клубок сухожилий тусклый,
Что сердцем прозвали мы».

Есть в сборнике несколько сонетов. Правильно, то есть с точными рифмами, с соблюдением чередования мужских и женских краестroчий, переведен только один сонет — «Ненадежность» (автор Жозэ Терра, переводчица А. Косс). По своей природе, сонет должен

быть чеканным, точным, строгим, сонарным. В переводе португальских сонетов применение «грязных» рифм недопустимо. Любая застасканная рифма («кровь — любовь», «она — весна — луна — волна») лучше, чем самый оригинальный рифмоид («пружинам — жиром»): лучше, ибо ближе к подлиннику. Увы, в советских переводах дурная рифма стала повсеместным явлением.

Может быть слабое знание метрики побуждает советских переводчиков оставлять без ударения значительные по смыслу слова. В переводах с португальского оставлены без перевода слова: реальность, континенты, бесформенный, фальшив, такелаж, святая Барбара, интересен, астральный, идея, мачете то есть топорик, руины, автосхография.

Погрешностей и грамматических, и смысловых не счесть. Некий поэт (из «прогрессивных») рассказывает: «Сколько раз день-деньской / молча бродил у реки я! Птицы и волны морские...» — морские волны на реке? У другого «цветок, зачатый в корне», у третьего «сердце глубоководной рыбой, кверху рвущейся неустанно...» — но глубоководная рыба заведомо предпочитает уход вглубь, а не «кверху».

Кроме стихов Фернандо Пессоа, хорошо выбраны и переведены стихи Марио де Са-Карнейро. Неожиданной силой блещут «Публичный дом» Фернандо Намора и «Когда в моем краю...» Жозэ Терра. Много стихотворений просто хороших. Много посредственных. А дальше, во второй половине книги, преобладает казенное чтиво. С «прогрессивностью» можно было бы мириться, если бы она не исключала поэзии, но читатель не будет знать, плакать ему или смеяться над «стихами», помещенными в этой части.

«Португальская поэзия XX века» — блин не первый, но все-таки он вышел комом. В книге представлены прекрасные и хорошие поэты, — но только у надзирателей сумасшедшего дома (для здоровых) может возникать бредовая мысль «впрячь в одну повозку» умнейшего, тончайшего, противоречивейшего Фернандо Пессоа с унылыми посредственостями и бездарностями, понадобившимися из-за их «прогрессивности» или даже партийности.

Валерий Перелешин

«ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ». Составители Л. В. Мочалов и Н. А. Барабанова. Издательство «Аврора», Ленинград. 1974.

Среди лекций по вопросам русского искусства, которые приходилось мне читать за последние годы в США и Канаде, была лекция на тему «Русские женщины по изображениям русских художни-

ков». Эта лекция в переработанном и дополненном виде была опубликована издательством В. Камкина в 1967 г. в виде небольшой брошюры с черно-белыми репродукциями. К сожалению репродукции были неясны и не давали, конечно, представления об оригиналах.

На сходную тему появилась теперь в 1974 г. в издательстве «Аврора» (Ленинград) роскошная книга с 80 красочными репродукциями и с вступительной статьей Л. В Мочалова на английском и русском языках. Должен признаться, что это имя встречается мне впервые среди многих имен советских искусствоведов, пишущих о русском искусстве.

При всем внешнем богатстве издания — меловая бумага, отличные красочные репродукции, изящный переплет — выбор иллюстраций вызывает полное недоумение. Десять первых красочных репродукций посвящены... иконам Божьей Матери! Представлять икону Владимирской Б. М., или икону Толгской Б. М. и икону Донской Б. М. как портреты совершенно бессмысленно, — они создавались из других побуждений и на основе византийских традиций. Да и сама икона Владимирской Б. М. написана была в Византии. В подборе иллюстраций этого альбома оказывается полное непонимание сути иконы и задач портрета. На подобные сопоставления никогда не решались знатоки русского искусства, как Грабарь, Лазарев, Алпатов и др. Возможно, что желание трактовать иконы Б. М. как русские женские портреты, продиктовано партийным учением и т. ск. одобрено «сверху» по идеологической линии.

Если уж начинать с 11-го века, то можно было бы дать изображения дочерей Ярослава Мудрого из фрески Софийского собора в Киеве, или показать княжескую семью по миниатюре «Изборника Святослава» 1073 г. Можно было бы показать жену боярина Кузьмина по иконе 15-го века, а также царицу Марию Ильинишну Милославскую, первую жену царя Алексея Михайловича, изображенную Симоном Ушаковым на иконе «Насаждение Древа Государства Российского», 1668 г. Это были первые попытки изображения русских женщин.

Удивляет и дальнейший выбор иллюстраций. Репин представлен только *одним* портретом художницы Стрепетовой, а Петров-Водкин *семью* работами (но среди них нет портрета Анны Ахматовой), Серебрякова — *пятью*. Всецело уважая двух последних названных художников, я все же полагаю, что подобная диспропорция материала вредит целности издания, ибо нельзя отбрасывать такие работы, как «Портрет дочери» Левицкого, «Неизвестную» Крамского, «Портрет кн. Орловой» Серова, «Портрет Кругликовой» и «Портрет Мухиной» работы Нестерова.

И еще некоторые замечания. В картине Венецианова «На жатве. Лето» главное внимание художник уделил пейзажу, а маленькие

фигурки сидящих крестьянок ни в какой степени нельзя назвать портретами. У Сурикова в картине «Боярыня Морозова» показана группа женщин, смотрящих на провозимую Морозову. Но это никак не самостоятельные портреты, а только часть общей картины, в которой черты каждой из женщин подчинены идее картины. Совсем не подходит под понятие портрета картина Брубеля «Сирень», да и его «Царевна-Лебедь», хоть мы и знаем, что его жена служила ему моделью; здесь портретная задача преодолена сказочным мифом. Облики послушниц и монахинь в картине Нестерова «Великий постриг» написаны с натуры, но настолько преображенны художником, что об их портретности нельзя и говорить. Художник Рябушкин писал в 1896 г. стилизованный «Портрет семьи купца 17-го века», а в 1903 г. «Московскую девушку 17-го века». Эти работы также причислить к подлинным портретам нельзя.

Поражает в данном альбоме огромное число опечаток, а на последней странице, где обычно в советских изданиях отмечается тираж и типография, этих указаний нет. По всем признакам, даже по количеству опечаток, книга напечатана вне СССР и расчитана на иностранный рынок. Издательство «Автора» предпочитает не называть типографии и прикрывается фразой: издано в СССР. Маскировка довольно наивная.

E. Климов

ПОРТРЕТНАЯ МИНИАТЮРА. Из собрания Государственного Русского Музея. Том I и II. Издание «Художник РСФСР» 1974, Научный редактор В. А. Пушкирев. Авторы вступительной статьи — К. В. Михайлова и Г. В. Смирнов.

О портретной миниатюре трудов сравнительно мало, особенно на русском языке, поэтому надо приветствовать изящно изданные небольшого формата два тома, посвященные собранию портретных миниатюр Гос. Русского Музея в Ленинграде.

Обстоятельная вступительная статья К. В. Михайловой и Г. В. Смирнова (на русском и английском языках) знакомит с техникой эмалевой миниатюры и техникой акварели и масляной живописи на костяной или медной пластинке. Что особенно привлекает в этом издании — это прекрасно выполненные 300 красочных репродукций, рассматривать которые одно наслаждение. Репродукции даны в раз- мер оригинала, некоторые в уменьшенном виде. В двух томах приведены не только работы русских мастеров, начиная с эпохи Петра I до начала XX в., но и многих иностранцев, работавших в России. В примечаниях даны краткие биографические сведения о художниках и о лицах, изображенных на миниатюрах.

Все может удовлетворить взыскательного любителя искусства — прекрасная печать, меловая бумага, переплет — одно только печалит: неужели такое издание нельзя напечатать в СССР? В конце книги не назван город, где книга напечатана, но названа только типография — Kossuth Nyomda — это, по всей вероятности, Будапешт.

E. Клинов

ЦЮЙ ЮАНЬ. *Ли Сао*. В стихотворном переводе Валерия Перелешина с китайского оригинала. Франкфурт-на-Майне. 1975. 29 стр.

Цюй-Юань жил в IV-III вв. до Р. Х. Был он аристократ, консерватор. Управлял одним из китайских царств, но был изгнан и безуспешно пытался найти другого государя, которым мог бы руководить. Не благодаря ли своим неудачам он всецело посвятил себя поэзии и полностью проявил свой гений. О своей жизни, включая задуманное самоубийство, он рассказывает в своей лирической поэме *Ли Сао*, что в приблизительном переводе Перелешина значит: *Преодолевая скорбь*. Горести Цюй Юань преодолевал творчеством, но в жизни сдался: он утопился в горной речке Ми Ло. Для китайцев Цюй Юань — классик, и они еще в школе читают *Ли Сао* и чтевают его память в пятый день пятой луны.

Цюй Юаня обуревали политические страсти, но о политике он часто говорит на поэтическом языке эротики, отожествляя себя с «любовником», который ищет идеальную «невесту» — т.е. достойного и послушного ему властителя. Вместе с тем, его политика и эротика сливаются с эстетикой. Этот страстный честолюбец, мечтавший стать благодетелем своих соотечественников, был неизменно, очень по-китайски изящен. Его образы и символы преимущественно цветочные, и не только зрительные, но и обонятельные. Так, утверждая, что прошлое лучше настоящего, он сетует:

В старину, при прославленных трех государях,
Было каждому запаху место, был и срок,
Шэнънский перец спорил с запахом мальвы, —
Ну, а нынче в моде только один цветок.

Цюй Юань жил в трагедии, как Царь Эдип или Король Лир, но и в идиллии — в царстве возлюбленной флоры, а иногда и фауны. Негодовал, отчаялся, но, преодолевая скорбь, без устали восхищался цветами. Этот изгнаник пил росу с магнолий, ел лепестки хризантем, шил платье из кувшинок и лотосов. Он и гордый беснующийся несчастливец, и смиренный нежный счастливец. На нашем Западе таких трагических и лирических поэтов не было.

Явно: Цюй Юань — великий поэт, и великая поэзия не стареет. Кое что актуально даже в его не совсем ясной для нас политике. Так, Цюй Юань возмущается: одичавшие орхидеи стали сорной травой и на месте душистых трав разрослись полынь, бурьян, лебеда. Культивируемые орхидеи и травы — не символы ли настоящей драгоценной культуры, которую в наше время душат разные сорняки в тоталитарном Китае и ССР?

Из-за незнания китайского языка не могу судить о точности перевода. Но меня захватили ритмы тонических стихов (дольников), которыми Перелешин перевел или переложил поэму *Ли Сао*:

Да, я часто боюсь и подолгу плачу,
Что теперешний век безумен, страшен и дик.
Орхидею сорвав, стираю горькие слезы,
Что сбегают волнами на пестрый мой воротник.

Перелешин хорошо знает все почти непреодолимые трудности перевода с китайского языка. Ведь поэты Китая мыслят не только словами, звуками, ладом, но и знаками — идеограммами, выражающими недоступные нам (не варварам ли?) — оттенки чувств и дум. В русской поэзии переводы Перелешина, несомненно, событие, как прежде — переводы тонических стихов Гейне, английских и немецких баллад, а также верлибров Уота Уитмэна. Все эти адоптации оказали влияние на русское стихосложение. Может быть, и перелешинские, более длинные (обычно пятиударные) дольники найдут поклонников.

Цюй Юань и другие китайские поэты, которых Валерий Перелешин включил в антологию (*Стихи на вёлере*) не только хорошо «звучат» по-русски, но, и — это самое ценное — остаются китайцами: они иначе думают, мечтают, воображают тем расширяя наше понимание поэзии.

Ю. Иваск

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. С горы Нево. Восьмая книга стихотворений. Франкфурт, Посев, 1975, 71 стр.

Господь не дал Моисею войти в Землю Обетованную, которую он увидел с горы Нево (Втор., XXXII, 49-50, 52). Так и многим эмигрантским поэтам не суждено будет вернуться на родину, видимую духовными глазами. Все же, Перелешин верит:

Но в этот край бессмертным я войду...
т.е. поэтом, хотя бы посмертно — «в 2040-ом году».

Немало странствовал он по глобусу, как и многие из нас и, поистине, недаром странствовал. Перелешин стихом завоевал для российской поэзии Китай. Изумительны его переводы с китайского

языка, и не с подстрочника, а с подлинника, в антологии классической китайской поэзии (*Стихи на веере*, 1970). Очень хороши и его стихотворения, посвященные Китаю, напр., включенный в этот сборник *Пекин*:

В колеснице моей лечу
Над землей на четыре «чи»,
и закутан я не в парчу,
а в одежду из чесуки.

Недаром прожил он долгие годы в Бразилии, которая для него сама по себе хороша, но иногда поэтически сливается с Россией: обе уживаются на «острове Розилии-Брассии». А во сне он видит ...«мирный мир, где с русским медведем рядом / бразильский грелся тапир».

Наш мир совсем не мирен и чреват войнами и революциями. Но уже издавна он объединяется любовью поэтов: может быть, начиная с великого Камоэнса. В своих *Лузиадах* он прославлял не только португальцев, но и другие европейские народы, включая отдаленных московитов (москош). С этого начинаются еще едва намеченные лузо-русские культурные отношения, которые теперь, вне всякой текущей политики, так вдохновенно, бескорыстно и творчески настойчиво развивает Валерий Перелешин, переводчик Камоэнса, современного нам Фернандо Пессоа, и многих бразильских поэтов. Его творческие заслуги для возрождения неблизкой русско-китайской дружбы едва ли будут скоро оценены. Но португальцы и бразильцы могли бы, наконец, заметить его роман с лузитанцами по обе стороны Атлантического океана.

Юный Перелешин, родившийся в Сибири, учился писать стихи у Гумилева, но еще в Харбине, где он тогда жил, он уже далеко ушел от своего учителя. Он, мастер строгих, даже строжайших сонетов, не увлекается модными экспериментами западных поэтов, хотя и не чуждается неологизмов и парадоксальных метафор, но, несомненно, говорит на современном — в лучшем смысле современном языке поэзии. Перелешин-странник, славивший Китай и Бразилию, также и метафизический поэт (в английском значении этого слова). Есть у него тяга не только к библейским темам, но и к библейскому откровению, а также и в неизвестные еще просторы духа,

в —

...Заграницье, Зарубежье,
Забездомье, Заизгнанье,
Завеликоокеанье,
Забразилье, Запланетье,
За-двадцатое столетье.

Такие духовные порывы характерны для многих лучших поэтов нашей «адской» эпохи. Пусть Перелешин, как и другие одаренные

эмигрантские поэты, пребывает в относительной неизвестности, но его лирическая речь находит отклик в русском «подполье» в СССР, а в Техасе он недавно выступал на международном фестивале поэзии.

Ю. Иваск

О СПОРЕ Ю. МАРГУЛИЕСА, Н. ПЕРВУШИНА И В. СЕДУРО

Мне кажется, что теперь можно установить несомненное, отделив от гипотетического и сомнительного.

- 1) Ф. Достоевский знал И. Гончарова до 1861 года.
- 2) *Нет никаких непосредственных указаний*, что на обеде у А. Комарова осенью 1848 г. был Ф. Достоевский.

Все (А. Панаева-Головачева, И. Панаев, А. Суворин, П. Анненков) Достоевского на обеде не вспоминают. Если собрать всех писателей ими перечисленных, то выйдет: П. Анненков, В. Белинский, В. Боткин, Н. Гоголь, И. Гончаров, Д. Григорович, А. Дружинин, А. Кронеберг, А. Панаева и И. Панаев. Среди мало известных в 1848 г. людей имя Достоевского тоже никто не помянул. Конечно, ошибки памяти возможны. В. Белинский был уже мертв осенью 1848 г. Но В. Седуро слегка ошибся, умер критик не 28 мая 1848 г., а 26 мая (7 июня) 1848 г., (см. хотя бы новые данные в «К.Л.Э.»). Доказывать на основании близости Н. Гоголя к Вильегорским и прежде всего к Анне Вильегорской, что ее интерес к автору «Бедных людей» обязал Гоголя пригласить Достоевского на обед у А. Комарова едва ли можно, и сказать: «Гоголь пожелал присутствия Ф. Достоевского на вечере у Комарова», это — смело. (*«Новый журнал»*, № 117).

Ссылка же на Л. Гроссмана, опущение им, не отрицание, прежнего утверждения о времени знакомства Достоевского с Гончаровым, не существенна.

3) Я не думаю, что есть ныне люди, изучавшие Достоевского, кто бы стал отрицать сатиру на Н. Гоголя и его «Выбранные (избранные) места из переписки с друзьями». Достоевский очень часто бывал беспощаден в своей сатире. Вспомним его издевки над И. Тургеневым, В. Белинским, Т. Грановским, Н. Чернышевским, И. Прыжовым и другими. Сатиру на «Выбранные места» и на личность их автора заметили и современники, а позднее литературоведы Ю. Тынянов и др. Параллели В. Седуро в ряде выписок очень хороши. Но следует отметить некоторую натянутость в одной-двух выписках: тридцать пять тысяч не значат тридцать тысяч. Даже «зернистые мысли» и «...все зернисто, крупно, как сам жемчуг» (Гоголь) не вполне убедительно. В русском языке давно (см. Даль) найдем выражения «зернить, подзернил бы = исправил»; «рожь зернистая» (Кольцов);

«манера речи... сочная, округлая, зернистая»... (Ю. Юрьев «Записки») и т.д. Фигура же, слова и действия Фомы Фомича в «Селе Степанчикове» сложный сплав. Тут и Гоголь и русские приживальщики, и, главное, «Тартюф» Мольера. Это заметили и иноземные критики, например, проф. Э. Свобода в пражском сборнике 1931 года. Сложен образ и Степана Трофимовича в «Бесах», хотя тут есть, вероятно, и воспоминания о Грановском, Белинском и прочих либералах. Не менее сложен образ и Федора Павловича в «Братьях Карамазовых». Сатира на лицо делается собранием разных лиц, в разные времена давших краски, позы и гримасы писателю. Но «Выбранные места» несомненно главная мишень Достоевского. Вспомним, что защиту и некоторое понимание прав Гоголя мы находим, пожалуй, только у князя Вяземского. Позднее «Выбранные места» оценили многие: напомнил двух диаметрально противоположных мыслителей — Л. Толстого и Н. Лосского. Удивило меня и утверждение В. Седура о романтизме, как отличительной и главной характеристике Н. Гоголя: «Село Степанчиково»... «пародия на одного из главнейших представителей русского романтизма в повести 19 века, Н. В. Гоголя». Гоголь же и для Достоевского был создателем «гоголевской натуральной школы». Поручики Пироговы, Акакии Акакиевичи, Чичиковы, Коробочки, Кифы Мокиевичи, Петры Петровичи, Осины и Петрушки не укладываются ни по стилю, ни по идее в ложе романтизма. Двудино соединение в Гоголе романтики и реализма, гениальности и наивной, упрямой ограниченности, доброты и себялюбия. Фома Фомич — удар по идеям Гоголя, а не месть.

P. Плетнев

ОБ А. Ф. ЛОСЕВЕ

В «Зарубежье» № 3-4, 1974 г. напечатана очень интересная статья Игумена Геннадия «Безипотесный принцип» Платона и «абсолют» Гоэнэ-Бронского». Однако в примечании на странице пятой автор неверно утверждает: «У нас нет никаких биографических данных о Лосеве...» Это ошибочно. В 1967 г. в четвертом томе Краткой литературной энциклопедии, том четвертый, стр. 429 читаем об Алексее Федоровиче Лосеве, что он москвич по рождению и не в 1892 г., а в 1893 г. Далее следует, что Лосев окончил еще в 1915 г. историко-филологический факультет Московского университета, что молодой ученый читал курсы по истории философии, по логике и эстетике, а равно и по литературе в вузах Москвы. С 1944 г. стал профессором МГПИ имени В. И. Ленина и т.п.

В энциклопедии отмечен и идеалистический метод диалектики Лосева и то, что в дальнейшем он «переходит на марксистские по-

зии». (Этому я, почитавший и прочитавший ряд трудов Лосева, не поверю, слишком он сведущ и умен!). Лосев очень крупная величина и как грецист и аналитик древних текстов. Замечу, что книгу яркого неогегелианства с налетом платонизма — «Философию Имени» удалось Лосеву напечатать потому, что цензора города Тулы, (там книга была издана), просто не могли понять сущности высказываний ученого. Есть и другие печатные источники для биографии Лосева, этого крупнейшего знатока древней Греции и оригинального мыслителя.

P. Плетнев

ИСПРАВЛЕНИЕ

В книге 120 «Нового Журнала» в статье М. Дубинина «Меркантильные обстоятельства Пушкина» на 160 странице, где подсчитываются долги Пушкина, заплаченные казной по приказу императора Николая I, надо добавить:

«Всего на уплату долгов частным лицам (числом около 50-ти) было истрачено «Опекой над детьми и имуществом Пушкина» 95.600 рублей. Кроме того был списан долг Пушкина казне, достигавший почти 44.000 рублей. Общая сумма задолженности поэта составляла 138.988 рублей 33 коп. (Архив Опеки Пушкина). Если сюда прибавить, во что обошлась казне очистка отцовского имения Болдино от долгов и недоимок — более 210.000 р., Кистенева — около 40.000 р., Михайловского; 10.000 наличными, полученные Наталией Николаевной, да семилетняя (до выхода замуж) вдовья ее пенсия — 35.000 р., да долголетнее содержание на казенный счет ее детей, то можно считать, что все это обошлось казне около 500.000 рублей! В первые три дня после смерти Пушкина книготорговец Смирдин продал его сочинений на 40.000 р. Подписка на посмертное издание (казной) сочинений Пушкина в пользу вдовы и детей дала 262.000 рублей валового дохода.

М. Дубинин.

ПОПРАВКА

В кн. 120 «Н. Ж.», на стр. 30-й, в примечании к повести Анны Герц, к сожалению, выпали строки, что все права на издание по-русски и на переводы сохранены за автором. РЕД.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Александр Дынник. Русская литература до 1837 года. (Обзор и анализы) Изд. Мичиганского Университета. Ист Лансинг. 1975. (199 стр.).
- Лев Закутин. Опыт новой теории восприятия. Париж. 1975. (224 стр.).
- А. Платонов. Шарманка. Пьеса. Изд. Ардис. Анн Арбор. 1975. (59 стр.).
- Владимир Набоков. Дар. Изд. Ардис. Анн Арбор. 1975. (411 стр.).
- Зиннаида Шаховская. Отражения. Изд. Имка Пресс. Париж. 1975. (280 стр.).
- Хроника защиты прав в СССР. Выпуск 14. Март-Апрель 1975. Изд. Хроника. Нью Йорк. (53 стр.).
- Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Том II. Под ред. Д. Иванова и О. Дешарт. С введением и примечаниями О. Дешарт. Изд. Foyer Oriental Chrétien. Брюссель. 1974 (851 стр.).
- В. Марамзин. Блондин обеего цвета. Изд. Ардис. Анн Арбор. 1975 (39 ст.).
- Шаул Черниховский. Стихи и идиллии. Изд. Библиотека «Алия». 1974 (206 ст.).
- Л. Владимиров. Советский космический блеф. Изд. «Посев». Франкфурт а/М. 1973 (209 стр.).
- Т. Мандельштам-Гатинская. Пламень жизни. Стихи. 1975. Париж.
- Л. Шапиро. Комм. партия Сов. Союза. Изд. «Аврора». Флорениция, 1975 (933 стр.).
- П. Л. Лавров. Годы эмиграции. Архивные материалы. Вступ. статья и комментарии Бориса Сапира. Том I (603 стр.). Том II (669 стр.). Изд. Рейдель Паблишинг Ко. Додрехт. Голландия. 1974.
- Г. Озерецковский. «Россия малая». Том II. Война и после войны. Париж. 1975 (198 стр.).
- В. Ингул. В пути. 2-я книга стихов. Изд. «Посев». Франкфурт а/М. 1975 (94 стр.).
- Я. Бергер. Выход. Стихи. Лондон. 1975 (64 стр.).
- The Essential Kropotkin.* Edited by E. Capouya and K. Tompkins W. W. Norton & Co. New York. 1975 (296 p.).
- Robert Payne & Nikita Romanoff. Ivan the Terrible Thomas Crowell Co. New York. 1975 (502 p.).
- Dostoïevski. Crime et châtiment I-II. Gallimard Paris. 1975 (492 p. et 500 p.).
- Mendel Mann. La Tour de Gengis Khan. Calmann-Lévy, Paris 1975 (174 pages).
- Wolfgang Kasack. Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Harald Bold Verlag Boppard. 1974. (134 p.).

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛИ КНИГИ

РОМАНА ГУЛЯ:

«ОДВУКОНЬ»

Советская и эмигрантская литература.

Нью Иорк. 1973 (322 стр.) Цена 6 долларов

«АЗЕФ»

Исторический роман.

Издание 4-е исправленное

Нью Иорк. 1974 (319 стр.) Цена 6 долларов

«ДЕРЖИНСКИЙ»

(Начало террора)

Издание 2-е исправленное

Нью Иорк. 1974 (160 стр.) Цена 4 доллара

«БАКУНИН»

Историческая хроника

Изд. 3-е. Нью Иорк, 1974 (208 стр.) Цена 6 долларов

«КОНЬ РЫЖИЙ»

Автобиография, 2-е издание

Нью Иорк. 1975 (288 стр.) 11 фотографий. Цена 6 долл.

«СОЛЖЕНИЦЫН»

Статьи

Нью Иорк. 1976, (96 стр.) Цена 4 долл.

«КОТОВСКИЙ»

Анархист-Маршал

Изд. 2-е. Нью Иорк. 1976. (66 стр.) Цена 2 долл. 50 ц.

Все эти книги можно заказывать в редакции

«НОВОГО ЖУРНАЛА»

и во всех русских книжных магазинах.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ, Л. РЖЕВСКОГО

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1976 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1976 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня